

# Владимир НАБОКОВ



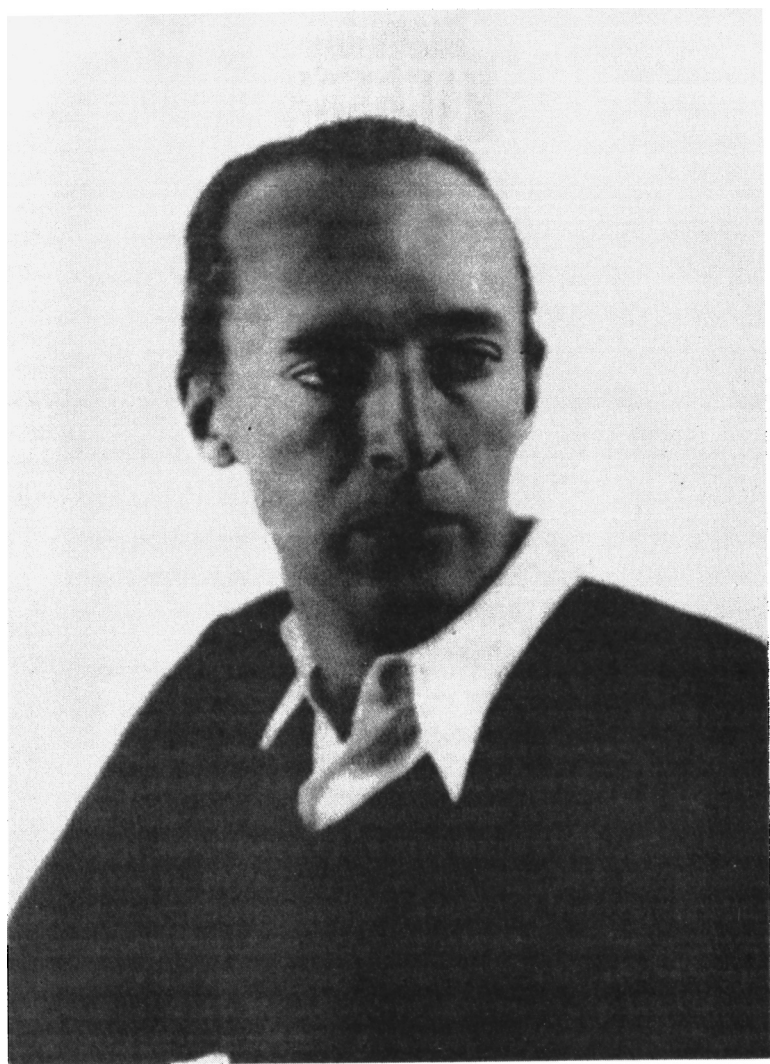
Примечание  
из Казнь



امینہ کا



Владимир  
НАБОКОВ



Владимир Набоков  
1937—1938

# Владимир НАБОКОВ

## Приглашение на казнь

РОМАНЫ

**ас**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва Харьков  
1999

Фолио

УДК 882-054.72-31 Набоков  
ББК 84(2)  
Н 13

Печатается по изданию:  
Набоков В.В. Собрание сочинений: В 4-х т. –  
М.: Правда, 1990. – (Б-ка «Огонек»). – Т. 3, 4;  
Набоков В.В. Романы. – М.: Современник, 1990

Художник А. Неровный  
Комментарии О. Дарка, В. Шохиной

Издатели выражают признательность «Набоковскому Фонду»  
за поддержку в осуществлении настоящего издания

### **Набоков В.В.**

Н13 Приглашение на казнь: Романы / Коммент. О. Дарка, В. Шохиной; Худож. А. Неровный. – М.: ООО «Фирма "Издательство АСТ"»; Харьков: Фолио, 1999. – 480 с.

ISBN 5-237-02776-8 (АСТ)  
ISBN 966-03-0117-0 (Фолио)

В книгу великого писателя Владимира Набокова (1899–1977) вошли романы «Камера обскура», «Приглашение на казнь», «Отчаяние», написанные на русском языке в 20–30-е годы, когда Набоков жил в Берлине и был очевидцем глубокого кризиса европейской культуры и трагедии русской эмиграции.

УДК 882-054.72-31 Набоков  
ББК 84(2)

© О. Дарк, В. Шохина, комментарии, 1997  
© Издательство «Фолио», 1997  
© Художественное оформление.  
ООО «Фирма "Издательство АСТ"», 1999

# Камера обскура

ПОМАН



## I

Приблизительно в 1925 году размножилось по всему свету милое, забавное существо — существо теперь уже почти забытое, но в свое время, т. е. в течение трех-четырех лет, бывшее вездесущим, от Аляски до Патагонии, от Маньчжурии до Новой Зеландии, от Лапландии до мыса Доброй Надежды, словом, всюду, куда проникают цветные открытки, — существо, носившее симпатичное имя Cheery<sup>1</sup>.

Рассказывают, что его (или, вернее, ее) происхождение связано с вопросом о вивисекции. Художник Роберт Горн, проживавший в Нью-Йорке, однажды завтракал со случайным знакомым — молодым физиологом. Разговор коснулся опытов над живыми зверьми. Физиолог, человек впечатлительный, еще не привыкший к лабораторным кошмарам, выразил мысль, что наука не только допускает изощренную жестокость к тем самым животным, которые в иное время возбуждают в человеке умиление своей пухлостью, теплотой, ужимками, но еще входит как бы в азарт — распинает живьем и кромсает куда больше особей, чем в действительности ей необходимо.

«Знаете что, — сказал он Горну, — вот вы так славно рисуете всякие занятные штучки для журналов; возьмите-ка и пустите, так сказать, на волны моды какого-нибудь многострадального маленького

---

<sup>1</sup> Буквально: инсекля (англ.).

зверя, например морскую свинку. Придумайте к этим картинкам шуточные надписи, где бы зтак вскользь, легко упоминалось о трагической связи между свинкой и лабораторией. Удалось бы, я думаю, не только создать очень своеобразный и забавный тип, но и окружить свинку некоторым ореолом модной ласки, что и обратило бы общее внимание на несчастную долю этой, в сущности, милейшей твари». — «Не знаю, — ответил Горн, — они мне напоминают крыс. Бог с ними. Пускай пищат под скальпелем». Но как-то раз, спустя месяц после этой беседы, Горн в поисках темы для серии картинок, которую просило у него издательство иллюстрированного журнала, вспомнил совет чувствительного физиолога — и в тот же вечер легко и быстро родилась первая морская свинка Чипи. Публику сразу привлекло, мало что привлекло — очаровало, хитренькое выражение этих блестящих бисерных глаз, круглота форм, толстый задок и гладкое темя, манера сусликом стоять на задних лапках, прекрасный крап, черный, кофейный и золотой, а главное — неуловимое прелестно-смешное нечто, фантастическая, но весьма определенная жизненность, — ибо Горну посчастливилось найти ту карикатурную линию в облике данного животного, которая, являя и подчеркивая все самое забавное в нем, вместе с тем как-то приближает его к образу человеческого. Вот и началось: Чипи, держащая в лапках череп грызуна (с этикеткой: *Cavia cobaja*) и восклицающая «Бедный Ёрик!»; Чипи на лабораторном столе, лежащая брюшком вверх и пытающаяся делать модную гимнастику, — ноги за голову (можно себе представить, сколь многого достигали ее короткие задние лапки); Чипи стоямя, беспечно обстригающая себе коготки подозрительно тонкими ножницами, — причем вокруг валяются: ланцет, вата, иголки, какая-то тесьма... Очень скоро, однако, нарочитые операционные намеки совершенно отпали, и Чипи начала появляться в другой обстановке и в самых неожиданных положениях — отка-

ливала чарльстон, загорала до полного меланизма на солнце и т. д. Горн живо стал богатеть, зарабатывая на репродукциях, на цветных открытках, на фильмовых рисунках, а также на изображениях Чипи в трех измерениях, ибо немедленно появился спрос на плюшевые, тряпичные, деревянные, глиняные подобию Чипи. Через год весь мир был в нее влюблен. Физиолог не раз в обществе рассказывал, что это он дал Горну идею морской свинки, но ему никто не верил, и он перестал об этом говорить.

В начале 1928 года в Берлине знатоку живописи Бруно Кречмару, человеку, очень, кажется, сведущему, но отнюдь не блестящему, пришлось быть экспертом в пустячном, прямо даже глупом деле. Модный художник Кок написал портрет фильмовой артистки Дорианны Карениной. Фирма личных кремов приобретала у нее право помещать на плакатах репродукцию с портрета в виде рекламы своей губной помады. На портрете Дорианна держала прижатой к голому своему плечу большую плюшевую Чипи. Горн из Нью-Йорка тотчас предъявил фирме иск.

Всем прикосновенным к этому делу было в конце концов важно только одно — побольше пошуметь: о картине и об актрисе писали, помаду покупали, а Чипи — уже теперь тоже — увы! — нуждавшаяся в рекламе, дабы оживить хладевшую любовь, появилась на новом рисунке Горна со скромно опущенными глазами, с цветком в лапке и с лаконической надписью «Noli me tangere»<sup>1</sup>. «Он, видимо, любит своего зверя, этот Горн», — заметил однажды Кречмар, обращаясь к своему шурину Максу, добрейшему, тучному человеку с угреватыми складками кожи сзади над воротником. «Ты что, его лично знаешь?» — спросил Макс. «Нет, конечно, нет, откуда же мне его знать? Он живет постоянно в Америке. А дело он выиграет, если дока-

---

<sup>1</sup> Не тронь меня (*лат.*).

зять, что взоры глядящих на рекламу привлекаются больше зверьком, чем дамой». — «Какое дело?» — спросила Аннелиза, жена Кречмара.

Эта ее привычка задавать зря вопросы о предметах, не раз в ее присутствии обсуждавшихся, была следствием скорее нервности мысли, чем невнимания. Часто, задав рассеянный вопрос, Аннелиза, еще говоря, еще на разгоне слова, понимала уже, что давно сама знает ответ. Муж хорошо изучил эту привычку, и нисколько прежде она не сердила его, а лишь умиляла и смешила, и он, не отвечая, продолжал разговор с выжидательной улыбкой на губах, и ожидание обыкновенно оправдывалось — жена почти сразу отвечала сама на свой вопрос. Но теперь, в этот именно день, в этот мартовский день, Кречмар, трепещущий от странных, тайных переживаний, вот уже неделю мучивших его, проникся вдруг необычайным раздражением. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — воскликнул он, а жена махнула рукой и сказала: «Ах, да, я уже вспомнила. Не так быстро, мое дитя, не так быстро», — тут же обратилась она к дочке, восьмилетней Ирме, которая пожирала свою порцию шоколадного крема. «С точки зрения юридической...» — начал Макс, пыхтя сигарой. Кречмар подумал: «Какое мне дело до этого Горна, до рассуждений Макса, до шоколадного крема... Со мной происходит нечто невероятное. Надо затормозить, надо взять себя в руки...»

Было это и впрямь невероятно — особенно невероятно потому, что Кречмар в течение девяти лет брачной жизни не изменил жене ни разу, по крайней мере действительно ни разу не изменил. «Собственно говоря, — подумал он, — следовало бы Аннелизе все сказать, или ничего не сказать, но уехать с ней на время из Берлина, или пойти к гипнотизеру, или наконец как-нибудь истребить, изничтожить...» Это была глупая мысль. Нельзя же в самом деле взять браунинг и застрелить незнакомку только потому, что она приглянулась тебе.

## II

Кречмар был несчастен в любви, несчастен и неудачлив, несмотря на привлекательную наружность, на веселость обхождения, на живой блеск синих выпуклых глаз, несмотря также на умение образно говорить (он слегка заикался, и это придавало его речи прелесть), несмотря, наконец, на унаследованные от отца земли и деньги. В студенческие годы у него была связь с пожилой дамой, тяжело обожавшей его и потом во время войны посылавшей ему на фронт носки, фуфайки и длинные, страстные, неразборчивые письма на шершаво-желтой бумаге. Затем была история с женой одного врача, которая была довольно хороша собой, томна и тонка, но страдала пренеприятной женской болезнью. Затем в Бад-Гомбурге — молодая русская дама с чудесными зубами, которая как-то вечером, в ответ на любовные увещевания, вдруг сказала: «А ведь у меня вставная челюсть, я ее на ночь вынимаю. Хотите сейчас покажу, если не верите». — «Не надо, зачем же», — пробормотал Кречмар и на следующий день уехал. Наконец, в Берлине, была некрасивая навязчивая женщина, которая приходила к нему ночевать три раза в неделю и рассказывала подробно и длительно все свое прошлое, без конца возвращаясь к одному и тому же и скучно вздыхая в его объятиях и повторяя при этом единственное французское словцо, которое она знала: «C'est la vie». Между этими, довольно неудачными, вялыми романами, и во время них, были сотни женщин, о которых он мечтал, с которыми не удавалось как-то познакомиться и которые проходили мимо, оставив на день, на два ощущение невыносимой утраты.

Он женился не то чтоб не любя жену, но как-то мало ею взволнованный: это была дочь театрального антрепренера, миловидная, бледноволосая барышня, с бесцветными глазами и прыщиками на переносице — кожа у нее была так нежна, что от малейшего прикосновения оставались на ней розовые отпечатки. Он женился

потому, что как-то так вышло, — чрезвычайно пособила и поездка в горы с нею, с ее братом и с какой-то их необыкновенно атлетической теткой, сломавшей себе наконец ногу в Понтрезине. Что-то такое милое, легкое было в Аннелизе, так она хорошо смеялась, словно тихо переливалась через край. Они повенчались в Мюнхене, дабы избежать наплыва берлинских знакомых. Цвели каштаны. Один из лакеев в гостинице умел говорить на восьми языках. У жены был нежный маленький шрам — след аппендицита.

Она была ласкова, послушна, тиха, но изредка на нее находили припадки стыдливой, нервной страстности, и тогда Кречмару казалось, что никаких других женщин ему не надобно. Вскоре она забеременела, заходила вразвалку, пристрастилась к снегу, который ела пригоршнями, быстро сгребая его с перил палисадника или со спинки скамьи, когда никто не смотрел. Он испытывал к ней мучительную безвыходную нежность, заботился о ней, — чтоб она ложилась рано, не делала резких движений, — а по ночам ему снились какие-то молоденькие полуголые вены, и пустынный пляж, и ужасная боязнь быть застигнутым женой. По утрам Аннелиза рассматривала в зеркале свой конусообразный живот, удовлетворенно и таинственно улыбаясь. Наконец ее увезли в клинику, и Кречмар недели три жил один, терзаясь, не зная, что делать с собой, шалея от двух вещей, — от мысли, что жена может умереть, и от мысли, что, будь он не таким трусом, он нашел бы в каком-нибудь баре женщину и привел бы ее в свою пустую спальню.

Она рожала очень долго и болезненно. Кречмар ходил взад и вперед по длинному белому коридору больницы, отправлялся курить в уборную и потом опять шагал, сердясь на румяных шуршащих сестер, которые все пытались загнать его куда-то. Наконец, из ее палаты вышел ассистент и угрюмо сказал одной из сестер: «Все кончено». У Кречмара перед глазами появился мелкий черный дождь вроде мерцания очень старых кинематографических лент. Он ринулся в па-

лату. Оказалось, что Аннелиза благополучно разрешилась от бремени.

Девочка была сперва красненькая и сморщенная, как воздушный шарик, когда он уже выдыхается. Скоро она обтянулась, а через год начала говорить. Теперь, спустя восемь лет, она говорила гораздо меньше, ибо унаследовала приглушенный нрав матери, — и веселость у нее была тоже материнская — особая, ненавязчивая веселость, когда человек словно радуется самому себе, тихо развлекается собственным существованием.

И в продолжение всех этих лет Кречмар оставался верен жене. Он дивился своей двойственности, он чувствовал, что, поскольку может любить человека, он любит жену по-настоящему, крепко и нежно, — и во всех вещах, кроме сокровенной, бессмысленной жажды обладания какими-то молоденькими красавицами, которых все равно никогда, никогда не коснешься, Кречмар был с женой откровенен: она читала все его письма, получаемые и отправляемые, так как была по-житейски любопытна, спрашивала о подробностях его довольно случайных дел, связанных с аукционами картин, экспертизами, выставками, — и потом задавала обычные свои вопросы, на которые сама отвечала. Были очень удачные поездки за границу, в Италию, на юг Франции, были детские болезни Ирмы, были, наконец, прекрасные, нежные вечера, когда Кречмар с женой сидел на балконе и думал о том, как незаслуженно счастлив. И вот после этих выдержанных лет, в расцвете тихой и мягкой жизни, близясь к концу своего четвертого десятка, Кречмар вдруг почувствовал, что на него надвигается то самое невероятное, сладкое, головокружительное и несколько стыдное, что подстерегало и дразнило его с отроческих лет.

Как-то в марте (за неделю до разговора о морской свинке), Кречмар, направляясь пешком в кафе, где должен был встретиться в десять часов вечера с деловым знакомым, заметил, что часы у него непостижимым образом спешат, что теперь только половина

девятого. Возвращаться домой на другой конец города было, конечно, бессмысленно, сидеть же полтора часа в кафе, слушать громкую музыку и мучась, исподтишка смотреть на чужих любовниц, нimalo его не прельщало. Через улицу горела красными лампочками вывеска маленького кинематографа, обливая сладким малиновым отблеском снег. Кречмар мельком взглянул на афишу (пожарный, несущий желтоволосую женщину) и взял билет. К кинематографу он вообще относился серьезно и даже сам собирался кое-что сделать в этой области — создать, например, фильму исключительно в рембрандтовских или гойевских тонах. Как только он вошел в бархатный сумрак зальца (первый сеанс подходил к концу), к нему было скользнул круглый свет электрического фонарика, так же плавно и быстро повел его по чуть пологой темноте. Но в ту минуту, когда фонарик направился на билет в его руке, Кречмар заметил озаренное сбоку лицо той, которая наводила свет, и, пока он за ней шел, смутно различал ее фигуру, походку, чуял шелестящий ветерок. Садясь на крайнее место в одном из средних рядов, он еще раз взглянул на нее и увидел опять, что так его поразило, — чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров. Она, отступив, смешалась с темнотой, и Кречмара охватили вдруг скука и грусть. Глядеть на экран было сейчас ни к чему — все равно это было непонятное разрешение каких-то событий, которых он еще не знал (...кто-то, плечистый, слепо шел на пятившуюся женщину...). Было странно подумать, что эти непонятные персонажи и непонятные действия их станут понятными и совершенно иначе им воспринимаемыми, если он посмотрит картину с начала. Интересно знать, вдруг подумал Кречмар, смотрят ли вообще капельдинерши на экран или все им осточертело?

Как только замолк рояль и в зальце рассвело, он опять ее увидел: она стояла у выхода, еще касаясь складки портьеры, которую только что отдернула,

и мимо нее, теснясь, проходили люди, уже насытившиеся световой простоквашей. Одну руку она держала в кармане узорного передника. На лицо ее Кречмар смотрел прямо с каким-то испугом. Прелестное, мучительно прелестное лицо. Ничего оно не выражало, кроме, быть может, утомления. Ей было с виду пятнадцать — шестнадцать лет.

Затем, когда зальце почти опустело и начался прилив свежих ясноглазых людей, она несколько раз проходила совсем рядом, и вблизи она была еще милее. Он отворачивался, смотрел по сторонам, так как было слишком тягостно длить взгляд, направленный на нее, и ему вспомнилось, сколько раз красота проходила мимо него и пропадала бесследно.

С полчаса он просидел в темноте, выпуклыми глазами уставившись на экран. Она приподняла для него складку портьеры. «Взгляну!» — подумал он с некоторым отчаянием. Ему показалось, что губы у нее легонько дрогнули. Она опустила складку. Кречмар вышел и вступил в малиновую лужу — снег таял, ночь была сырая, с теплым ветром.

Через три дня он не стерпел и, чувствуя стыд, раздражение и вместе с тем какой-то смутно рокошующий восторг, отправился вновь в «Аргус» и опять попал к концу сеанса. Все было, как в первый раз: фонарик, продолговатый луиниевский глаз, ветерок, темнота, потом очаровательное движение руки, откидывающей рывком портьеру. «Дюжинный донжуан сегодня же с ней бы познакомился», — беспомощно подумал Кречмар. На экране, одетая в тютю, резвилась морская свинка Чипи, изображая русский балет. За этим следовала картина из японской жизни «Когда цветут вишни». Выходя, Кречмар хотел удостовериться, узнает ли она его.

Взгляда ее он не поймал. Шел дождь, блеснул красный асфальт.

Если б он не сделал того, чего раньше не делал никогда, — попытки удержать мелькнувшую красоту, не сразу сдаться, чуть-чуть на судьбу принажать, —

если б он второй раз не пошел в «Аргус», то, быть может, ему удалось бы осадить себя вовремя.

Теперь же было поздно. В третье свое посещение он твердо решил улыбнуться ей, однако так забилося сердце, что он не попал в такт, промахнулся. На другой день был к обеду его шурин, говорили как раз об иске Горна, дочка с некрасивой жадностью пожирала шоколадный крем, жена ставила вопросы не впопад. «Что ты, с луны, что ли, свалилась?» — сказал он и запоздалой улыбкой попытался смягчить выказанное раздражение. После обеда он сидел с женой рядом на широком диване, мелкими поцелуями мешал ей рассматривать «Die Dame» и глухо про себя думал: «Какая чепуха... Ведь я счастлив... Чего же мне еще? Никогда больше туда не пойду».

### III

Ее звали Магда Петерс, и ей было вправду только шестнадцать лет. Ее родители промышляли швейцарским делом. Отец, контуженный на войне, уже седоватый, постоянно дергал головой и впадал по пустякам в ярость. Мать, еще довольно молодая, но рыхлая женщина, холодного и грубого нрава, с ладонью, всегда полной потенциальных оплеух, обычно ходила в тугом платочке, чтобы при работе не пылились волосы, но после большой уборки (производимой главным образом пылесосом, который остроумно совокуплялся с лифтом) наряжалась и отправлялась через улицу в гости. Жильцы недолюбливали ее за надменность, за деловую манеру требовать у входящего, чтобы он вытирал ноги о мат и не ступал по мрамору (которого, впрочем, было немного). Ей часто снилась по ночам сказочно-великолепная, белая, как сахар, лестница и маленький силуэт человека, уже дошедшего доверху, но оставившего на каждой ступени большой черный подошвенный отпечаток, левый, правый, левый, правый... Это был мучительный сон.

Отто, Магдин брат, был старше сестры на три года, работал теперь на велосипедной фабрике, презрительно относился к бюргерскому республиканству отца и, сидя в ближайшем кабаке, рассуждал о политике, опускал с громовым стуком кулак на стол, восклицая: «Человек первым делом должен жрать, да!» Такова была главная его аксиома — сама по себе довольно правильная.

Магда в детстве ходила в школу, и там ей было легче, чем дома, где ее били много и зря, так что оборонительный подъем локтя был самым обычным ее жестом. Это, впрочем, не мешало ей расти веселой и бойкой девочкой. Когда ей было лет восемь, ее до боли ущипнул без всякой причины почтенный старик, живший в партере. О ту пору она любила участвовать в крикливой и бурной футбольной игре, которую затевали мальчишки посреди мостовой. Десяти лет она научилась ездить на велосипеде брата и, голорукая, со взлетающей черной косичкой, мчалась взад и вперед по своей улице, весело вскрикивая, а потом останавливалась, уперевшись одной ногой в край панели и о чем-то раздумывая. В двенадцать лет она немного уgomонилась, и любимым ее занятием сделалось стоять у двери, шептаться с дочкой угольщика о женщинах, шлявшихся к одному из жильцов, или смотреть на прохожих, отмечать платья и шляпы. Как-то она нашла на лестнице потрепанную сумочку, а в сумочке мыльце с приставшим волоском и полдюжины непристойных открыток. Как-то ее поцеловал в открытую шею один из гимназистов, еще недавно старавшихся сбить ее с ног во время игры. Как-то, среди ночи, с ней случилась истерика, и ее облили водой, а потом драли.

Через год она уже была чрезвычайно мила собой, носила короткое ярко-красное платьице и была без ума от кинематографа. Появился в супротивном доме молодой человек, кудрявый, в пестрой фуфайке, который по вечерам облакачивался в окне на подушку и улыбался ей издали, — но скоро он съехал.

Впоследствии она вспоминала то время жизни с томительным и странным чувством — эти светлые, теплые, мирные вечера, треск запираемых лавок, отец сидит верхом на стуле и курит трубку, поминутно дергая головой, словно энергично отрицая что-то, мать судачит о причудах жильцов с соседней швейцарихой («я ему тогда сказала... он мне тогда сказал...»), госпожа Брок возвращается домой с покупками в сетке, погода проходит горничная Лизбет с левреткой и двумя жесткошерстными фоксами, похожими на игрушки... Вечереет. Вот брат с двумя-тремя товарищами, они мимоходом обступают ее, немного теснят, хватают за голые руки, у одного из них глаза, как у Файта. Улица, еще освещенная низким солнцем, затихает совсем. Только напротив двое лысых играют на балконе в карты — и слышен каждый звук.

Ей было едва четырнадцать лет, когда, подружившись с приказчицей из писчебумажной лавки на углу, Магда узнала, что у этой приказчицы есть сестра натурщица — совсем молоденькая девочка, а уже недурно зарабатывающая. У Магды появились прекрасные мечты. Каким-то образом путь от натурщицы до фильмовой дивы показался очень коротким. В то же приблизительно время она научилась танцевать и несколько раз посещала с подругой заведение «Парадиз», бальный зал, где, под цимбалы и улюлюкание джаза, пожилые мужчины делали ей весьма откровенные предложения.

Однажды она стояла на углу своей улицы; к панели, резко затормозив, пристал несколько раз уже виденный молодой мотоциклист с зачесанными назад бледными волосами, одетый в необыкновенную кожаную куртку, и предложил ее покатать. Магда улыбнулась, села сзади верхом, поправила юбку и в следующее мгновение едва не задохнулась от быстроты. Он повез ее за город и там остановился. Был солнечный вечер, толклась мошकारа. Кругом были вереск да сосны. Мотоциклист слез и сел рядом с ней на краю дороги. Он рассказал ей, что ездил недавно, вот так как есть,

в Испанию, рассказал, что прыгал несколько раз с парашютом. Затем он ее обнял, стал тискать и очень мучительно целовать, и у нее было чувство, что все внутри тает и как-то разливается. Ей вдруг сделалось нехорошо, она побледнела и заплакала. «Можно целовать, — сказала она, — но нельзя так тормошить, у меня голова сегодня болит, я нездорова». Мотоциклист рассердился, молча пустил машину, довез Магду до какой-то улицы и там оставил. Домой она вернулась пешком. Брат, видевший, как она уезжала, треснул ее кулаком по шее да еще пнул сапогом так, что она упала и больно стукнулась о швейную машину.

Зимой она, наконец, познакомилась с натурщицей, сестрой приказчицы, и с какой-то пожилой, важной на вид дамой, у которой было малиновое родимое пятно во всю щеку. Ее звали Левандовская. У этой Левандовской Магда и поселилась, в комнатке для прислуги. Родители, давно корившие ее дармоедством, были теперь довольны, что от нее освободились. Мать находила, что всякий труд, приносящий доход, честен. Брат, который, бывало, поговаривал не без угроз о капиталистах, покупающих дочерей бедняков, временно работал в Бреславле и к Левандовской нагрянул только гораздо позже, гораздо позже...

Она позировала сперва в большой классной комнате какой-то женской школы, а потом в настоящем ателье, где рисовали ее не только женщины, но и мужчины, некоторые совсем молодые. Все было, впрочем, очень чинно. Темно-головая, стриженная, совершенно голая, она боком сидела на коврике, опираясь на выпрямленную руку — так что на месте локтя был нежный морщинистый глазок — сидела, чуть склонив худенький стан, в позе задумчивого изнеможения, и смотрела исподлобья, как рисовальщики поднимают и опускают глаза, и слушала легкий шорох карандашной штриховки или попискивание угля, — и скоро ей становилось скучно разбирать, кто сейчас воспроизводит ляжку, а кто голову, и было одно только желание: переменить положение тела. От скуки она выискивала самого

привлекательного из художников, едва заметно шурилась всякий раз, когда он, с полуоткрытым от прилегания ртом, поднимал лицо. Ей никогда не удавалось смутить его, переключить его ум на другие, менее строгие мысли, и это ее немножко сердило. Когда она прежде думала о том, как вот будет сидеть одинокая и голая под восходящими взорами многих глаз, ей сдавалось, что будет стыдновато, но вместе с тем довольно приятно, как в теплой ванне. Оказывалось, что это вовсе не стыдно, а только утомительно и однообразно. Тогда она начала придумывать всякие штучки для своего развлечения, не снимала ожерелья с шеи, мазала губы, подводила свои и так подведенные тенью, и так очаровательные глаза, и раз даже чуть-чуть оживила кармином бледные кончики груди. Ей за это сильно влетело от Левандовской, которой кто-то насплетничал.

Магда, впрочем, лишь смутно понимала, чего именно добивается. Далеко-далеко маячил образ фильмовой дивы. Господин в нарядном пальто с котиковым воротником шалью подсаживал ее в лаковый автомобиль. Она покупала переливчатое, прямо-таки журчащее платье, которое сияло и лилось в витрине баснословного магазина. Сидеть часами нагишом и даже не получать в свою собственность портреты, которые с нее пишут, было довольно пресным уделом. Она не замечала, что в каком-то смысле гений ее судьбы — гений кинематографический. Присутствия и мановения его она не заметила даже в тот весенний вечер, когда Левандовская впервые упомянула о «влюбленном провинциале».

— Нельзя тебе жить без друга, — спокойно сказала Левандовская, попивая кофе. — Ты — бойкое дитя, ты — попрыгунья, ты без друга пропадешь. Он скромный человек, провинциальный житель, и ему нужна тоже скромная подруга в этом городе соблазнов и скверны.

Магда держала на коленях собаку Левандовской — толстую желтую таксу с сединой на морде и с длинной

бородавкой на щеке. Она взяла в кулак шелковое ухо собаки и, не поднимая глаз, ответила:

— Ах, это успеется. Мне только пятнадцать. И зачем? Все это будет так — зря, я знаю этих господ.

— Ты дура, — сказала Левандовская с раздражением, — я тебе рассказываю не о шалопае, а о добром щедром человеке, который видел тебя на улице и с тех пор только тобой и бредит.

— Какой-нибудь старичок, — заметила Магда и поцеловала собаку в лоб.

— Дура, — повторила Левандовская. — Ему тридцать лет, он бритый, шикарный — шелковый галстук, золотой мундштук. У него только душа скромная.

— Гулять, гулять, — сказала Магда собаке, — та сползла на пол и потом, в коридоре, затрусил, держа тело бочком, как это делают все старые таксы.

Господин, о котором шла речь, не был ни провинциалом, ни скромным человеком, ни даже Мюллером (фамилия, под которой он представился). С Левандовской он познакомился через двух темпераментных коммивояжеров, с которыми играл в покер по дороге из Гамбурга в Берлин. О цене сначала не упоминалось: сводня показала фотографию улыбающейся девочки, и Мюллер потребовал смотрин. В назначенный день Левандовская накупила пирожных, наварила много кофе, посоветовала надеть как раз то красное платье, которое Магде теперь казалось таким потрепанным, таким детским, и около шести раздался жданный звонок. «Чем я рискую, — в последний раз подумала Магда. — Если он собой дурен, то я ей так и скажу, а если нет, то я еще успею решить».

К сожалению, нельзя было так просто установить, дурен ли или хорош Мюллер. Странное, своеобразное лицо. Матово-черные волосы были небрежно причесаны на пробор сухой щеткой, на слегка впалые щеки как будто лег тонкий слой рисовой пудры. Блестящие рысьи глаза и треугольные ноздри ни минуты не оставались спокойными, между тем как нижняя часть лица с двумя мягкими складками по бокам рта была,

напротив, весьма неподвижна, — изредка только он облизывал глянцевиные толстые губы. На нем были замечательная голубая рубашка, яркий, как тропическое небо, галстук и сине-вороной костюм с широчеными панталонами. Он великолепно двигался, поводя крепкими квадратными плечами, — это был высокий и стройный мужчина, Магда ждала совсем не такого и несколько потерялась, когда, сидя со скрещенными руками на твердом стуле и сквозь зубы разговаривая с Левандовской о достопримечательностях Берлина, Мюллер принялся ее, Магду, потрошить взглядом; вдруг, перебив самого себя на полслове, он спросил ее резким, звенящим голосом, как ее зовут. Она сказала. «Ага, Магдалина», — произнес он с коротким смешком и, так же внезапно освободив ее от напора своего взгляда, продолжал свой глухой разговор с Левандовской.

Погодя он замолк, закурил и, отдирая прилипший к яркой, словно воспаленной губе кусочек папиросной бумаги, сказал: «Идея, госпожа Левандовская. Возьмите на мой счет автомобиль и поезжайте в оперу — у меня вот оказался свободный билет, вы как раз успеете».

Левандовская поблагодарила, степенно возразив, что сегодня устала и остается дома. «Можно вам сказать два слова?» — недовольно проговорил Мюллер и встал со стула. «Выпейте еще чашку», — спокойно предложила Левандовская. Он пожал плечами, окинул Магду каким-то хлещущим взглядом, но вдруг просиял добродушной улыбкой, сел на диван рядом с ней и принялся рассказывать серию анекдотов о каком-то своем приятеле певце, который в «Лоэнгрине» не успел сесть на лебедя и решил ждать следующего. Магда кусала губы и вдруг наклоняла голову, помирая со смеху. У Левандовской уютно трясся бюст.

Он позволил себе роскошь медленного подступа, осторожных и ласковых взглядов, даже вздохов. Левандовская, получившая только небольшой задаток, а заломившая неслыханную цену, не отходила ни на шаг.

С ее согласия Магда перестала позировать и проводила целые дни за вышивкой. Иногда, когда она вечером выводила собаку, Мюллер выросал из сумерек и шел рядом с нею, и ее это так волновало, что она невольно ускоряла шаг, и забытая такса отставала, упорно и грустно ковыляя, бочком, бочком. Левандовская вскоре почуяла эти встречи и стала выводить собаку сама.

Так прошло больше недели со дня знакомства. Однажды Мюллер решил принять чрезвычайные меры. Платить огромную сумму, которую просила сводня, было нелепо, раз дело выходило само собою. Придя вечером, он много наговорил смешного, выпил три чашки кофе, затем, улучив мгновение, подошел к Левандовской, поднял ее, быстрой, мелкой рысцой понес в ванную и, ловко переставив ключ, запер дверь. Левандовская была так поражена, что первые полминуты молчала, — потом, впрочем, принялась вопить, стучать и ухаться всем телом в дверь. «Забирай свои вещи и айда», — обратился он к Магде, которая стояла среди гостиной, держась за голову.

Они поселились в хорошей комнате, снятой им накануне, и, едва переступив порог, Магда с охотой, с жаром, даже с какой-то злостью предалась судьбе, осаждавшей ее так давно, так упорно. Мюллер, впрочем, нравился ей совсем по-особенному, — было что-то неотразимое в его глазах, в голосе, в ухватках, в его манере толстыми жаркими губами ездить вверх и вниз по ее спине, между лопатками. Он мало с ней разговаривал, часами сидел, держа ее у себя на коленях, посмеиваясь и о чем-то думая. Она не знала, какие у него дела в Берлине, кто он, — и каждый раз, когда он уходил, боялась, что он не вернется. Если не считать этой боязни, она была счастлива, до глупости счастлива, она мечтала, что сожитительство их будет длиться всегда. Кое-что он ей подарил — парижскую шляпу, часики, — впрочем, не был чрезмерно щедр на подарки, зато водил ее в хорошие рестораны и в большие кинематографы, где она до слез хохотала над похож-

дениями Чипи. Он так пристрастился к Маге, что часто, уже собираясь уходить, вдруг бросал шляпу в угол (эта привычка обращаться с дорогой шляпой ее немножко удивляла) и оставался. Все это продолжалось ровно месяц. Как-то утром он встал раньше обыкновенного и сказал, что должен уехать. Она спросила, надолго ли. Он устоял на нее, потом заходил по комнате в своей ослепительной малиново-лазурной пижаме, потирая руки, словно намыливал их. «Навсегда, навсегда», — сказал он вдруг и, не глядя на нее, стал одеваться. Она подумала, что он, может быть, шутит, и решила выждать — откинула одеяло, так как было очень душно в комнате, и, вытянувшись, повернулась к стенке. «У меня нет твоей фотографии», — проговорил он, со стуком надевая башмаки. Потом она слышала, как он возится с чемоданом, защелкивает его. Еще через несколько минут: «Не двигайся, — сказал он, — и не смотри, что я делаю». «Застрелит», — почему-то подумала она, но не шелохнулась. Что он делал? Тишина. Она чуть двинула голым плечом. «Не двигайся», — повторил он. «Целится», — подумала Магда без всякого страха. Тишина продолжалась минут пять. В этой тишине бродил, спотыкаясь, какой-то маленький шуршащий звук, который казался ей знакомым, но почему знакомым? «Можешь повернуться», — проговорил он с грустью, но Магда лежала неподвижно. Он подошел, поцеловал ее в щеку и быстро вышел. Она пролежала в постели весь день. Он не вернулся.

На другое утро она получила телеграмму из Гамбурга: «Комната оплачена до июля прощай доннерветтер прощай». «Господи, как я буду жить без него?» — проговорила Магда вслух. Она мигом распахнула окно, решив одним прыжком с собою покончить. К дому напротив, звеня, подъехал красно-золотой пожарный автомобиль, собиралась толпа, из верхних окон валил бурый дым, летели какие-то черные бумажки. Она так заинтересовалась пожаром, что отложила свое намерение.

У нее оставалось очень мало денег; с горя, как в хороших фильмах, она пошла шататься по танцевальным кафе. Вскоре она познакомилась с двумя японцами и, будучи слегка навеселе, согласилась у них переночевать; утром она попросила двести марок, они ей дали три с полтиной и вытолкали вон, — после чего она решила быть осмотрительнее.

Однажды к ней подсел толстый старый человек, с носом, как гнилая груша, и с коричневыми точками сплошь по всей лысине, и сказал: «Приятно опять встретиться, помните, барышня, как мы резвились на пляже в Герингсдорфе?» Она, смеясь, ответила, что он ошибается. Старик спросил, что она желает пить. Потом он поехал ее провожать и в темноте таксомотора сделался очень косноязычен и гадок. Она выскочила. Старик вышел тоже и, не смущаясь присутствием шофера, умолял о свидании. Она дала ему номер своего телефона. Когда он ей оплатил комнату до ноября да еще дал денег на котиковое пальто, она позволила ему остаться у нее на ночь. С ним оказалось сначала очень легко, он сразу засыпал, после краткого и слабого объятья, и спал непробудно до рассвета. Потом он начал требовать всяких странных новшеств. Гардероб ее пополнился двумя новыми платьями. Неожиданно он пропустил назначенное свидание, через несколько дней она позвонила к нему в контору и узнала, что он скончался.

Воспоминание о старике было омерзительно. Такого опыта она решила не повторять. Продав шубу, она дотянула до февраля. Накануне этой продажи ей страстно захотелось показаться родителям. Она подъехала к дому в таксомоторе. День был субботний, мать полировала ручку входной двери. Увидев дочь, она так и замерла. «Боже мой!» — воскликнула она с чувством. Магда молча улыбнулась; села снова в таксомотор и уже в окно увидела брата, который выбежал на панель, кричал ей что-то вслед — вероятно, угрозы.

Она переехала в комнату подешевле, вечерами неподвижно сидела на краю кушетки в нарастающей

темноте, подпирая виски ладонями и пыхтя папирсой. Хозяйка, пожилая, неопределенных занятий, заглядывала к ней, сердобольно ее расспрашивала, рассказывала, что у ее родственника маленький кинематограф, приносящий неплохой доход. Зима была холодная, деньги шли на убыль. «Что же будет дальше?» — думала Магда. Как-то в бодрый и дерзкий день она ярко нарядилась и, выбрав самую звучную по названию кинематографическую контору на Фридрихштрассе, добилась того, что директор ее принял. Он оказался пожилым господином с черной повязкой на правом глазу и с пронзительным блеском в левом. Магда начала с того, что, дескать, уже много играла в провинции, получала хорошие роли... «В кино»? — спросил тот, ласково глядя на ее возбужденное лицо. Она назвала какую-то фирму, какую-то картину — очень убедительно и даже надменно, — оттого что все повторяла про себя: «Как он смеет не знать меня, как он смеет сомневаться...» Последовало молчание. Директор прищурил единственный видимый глаз и сказал: «А знаете, ведь вам повезло, что вы попали именно ко мне. Любой мой коллега соблазнился бы вашей молодостью, наобещал бы вам горы добра и потребовал бы от вас очень определенного, очень банального задатка. Затем он бы вас бросил. Я человек немолодой, много видевший, у меня дочка, вероятно старше вас, — и вот позвольте мне вам сказать: вы никогда актрисой не были и, вероятно, не будете. Пойдите домой, подумайте хорошенько, посоветуйтесь с вашими родителями...»

Магда хлестнула перчаткой по краю стола, встала и с искаженным лицом вышла вон. В том же доме была еще одна фирма. Там ее просто не приняли. В третьем месте ей сказали, чтобы как-нибудь отделаться от нее: «Оставьте ваш телефон». Она вернулась домой в бешенстве. Хозяйка сварила ей два яйца, гладила ее по плечу, пока Магда жадно и сердито ела, потом принесла бутылку коньяку, две рюмки и, налив их до краев, унесла бутылку. «Ваше

здоровье, — сказала она, опять садясь за стол. — Все будет благополучно. Я как раз завтра увижу моего деверя, я с ним поговорю...»

Первое время Магду забавляла новая должность. Было, правда, немного обидно начинать кинематографическую карьеру не актрисой, даже не статисткой... К концу первой же недели ей уже казалось, что она всю жизнь только и делала, что указывала людям места. В пятницу, впрочем, была перемена программы, это ее оживило. Стоя в темноте, прислонясь к стенке, она смотрела на Грету Гарбо. Через два-три сеанса ей стало опять нестерпимо скучно. Прошла еще неделя. Какой-то посетитель, замешкав в дверях, странно посмотрел на нее — застенчивым и жалобным взглядом. Через два-три вечера он появился опять. Выглядел он довольно молодо, был отлично одет, косил на нее жадным голубым глазом... «Человек очень приличный, но размазня», — подумала Магда. Когда, появившись в четвертый или пятый раз, он пришел невпопад, то есть на фильм, которую уже раз видел, Магда почувствовала некоторое возбуждение. Вместе с тем ей было памятно предупреждение хозяина: «Один раз глазки — и вышвырну». Посетитель, однако, был удивительно робок. Выйдя как-то из кинематографа, чтобы отправиться домой, Магда увидела его неподвижно стоящим на той стороне улицы. Она засеменила, не оглядываясь, рассчитывая, что он перейдет наискосок и последует за ней. Этого, однако, не случилось: он исчез. Когда через два дня он опять пришел в «Аргус», был у него какой-то больной, затравленный, очень интересный вид. По окончании последнего сеанса Магда вышла, раскрывая зонтик. «Стоит», — отметила она про себя и перешла к нему, на ту сторону. Он двинулся, уходя от нее, как только заметил ее приближение. Сердце у него билось в гортани, не хватало воздуха, пересохли губы. Он чувствовал, как она идет сзади, и боялся ускорить шаг, чтобы не потерять счастья, и боялся шаг замед-

лить, чтобы счастье не перегнало его. Но, дойдя до перекрестка, Кречмар принужден был остановиться: проезжали гуськом автомобили. Тут она его перегнала, чуть не попала под автомобиль и, отскочив, ухватилась за его рукав. Засветился зеленый диск. Он нащупал ее локоть, и они перешли. «Началось, — подумал Кречмар, — безумие началось».

— Вы совершенно мокрый, — сказала она с улыбкой; он взял из ее руки зонтик, и она еще теснее прижалась к нему, и сверху барабанило счастье. Одно мгновение он побоялся, что лопнет сердце, — но вдруг полегчало, он как бы разом привык к воздуху восторга, от которого сперва задыхался, и теперь заговорил без труда, с наслаждением.

Дождь перестал, но они все шли под зонтиком. У ее подъезда остановились, зонтик был отдан ей и закрыт.

— Не уходите еще, — взмолился Кречмар и, держа руку в кармане пальто, попробовал большим пальцем снять с безымянного обручальное кольцо — так, на всякий случай.

— Пойдите, не уходите, — повторил он и наконец судорожным движением освободился от кольца.

— Уже поздно, — сказала она, — моя тетя будет сердиться.

Кречмар подошел к ней вплотную, взял за кисти, хотел ее поцеловать, но попал в ее шапочку.

— Оставьте, — пробормотала она, наклоня голову. — Оставьте, это нехорошо.

— Но вы еще не уйдете, у меня никого нет в мире, кроме вас.

— Нельзя, нельзя, — ответила она, вертя ключом в замке и напирая на дверь.

— Завтра я буду опять ждать, — сказал Кречмар. Она улыбнулась ему сквозь стекло.

Кречмар остался один, он, отдуваясь, расстегнул пальто, почувствовал вдруг легкость и наготу левой руки, поспешно надел еще теплое кольцо и пошел к таксомоторной стоянке.

## IV

Дома ничего не изменилось, и это было странно: жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохе, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Кречмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпигельному гобелену в столовой.

Кречмар, отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретится с женой, с Максом, — не почувствуют ли они измену (ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой — все прежнее было только вымыслом и снами), быть может, его уже заметили, выследили, — и он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку... Тем живее он ощутил переход в другую, ясную, эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил, — и, после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максова пальто, любовно надетого горничной на плюшевую вешалку, от всех этих домашних знакомых примет наступило успокоение: все хорошо, никто ничего не знает. Он пошел в гостиную: Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой да еще старая знакомая, вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами... Неважно, что говорили, — важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом, в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой, Кречмар дивился своей двойственности, отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, — и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра...

Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в следующие Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного — только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу. Кречмар назвался Шиффермюллером, и Магда с раздражением подумала: «Везет мне на мельников», — а затем: «Ой, врешь». Март был дождливый, ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара, он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы «Б.К.». Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой, разгильдяйской походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию (необходимая мера против рассеянности художников при шапочном разборе). Кречмар, нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размякший голубой том.

— Сними пальто, — тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на «ты». Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоня плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром, пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки смугловатой кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла и шляпу, посмотрелась в зеркало и, посклонив палец, пригладила на висках темно-каштановые акрошкеры. Кречмар сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно: и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлинённых карих глаз, и чуть заметное пятнышко на чуть

пушистой скуле. «Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят, — подумал он, — я все равно бы на нее смотрел». Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, — и, смеясь, она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она и этого не позволила.

— Ты сведешь меня с ума, — пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала, тоже на «ты»:

— Веди себя хорошо, будь послушным.

Первой мыслью Кречмара на другое утро было: «Так дальше невозможно. Следует взять для нее комнату — без тетки. Так устроить, чтобы ей не служить. Мы будем одни, мы будем одни. Обучать арсу аморису. Она еще так молода. Удивительно, как это у нее нет жениха или друга...»

— Ты спишь? — тихо спросила Аннелиза. Он притворно зевнул и открыл глаза. Аннелиза, в голубой ночной сорочке, сидела на краю постели и читала письма.

— Что-нибудь интересное? — спросил Кречмар, глядя на ее пресно-белое предплечье.

— Он просит у тебя опять денег. Говорит, что жена и теща больны; что против него интригуют, — нужно дать.

— Да-да, непременно, — отвечал Кречмар, необычайно живо представив себе покойного отца Магды, — тоже, вероятно, старого, малодаровитого, разжеванного жизнью художника.

— А это — приглашение в «Палитру», придется пойти. А это — из Америки.

— Прочти вслух, — попросил он.

— «Глубокоуважаемый господин Кречмар. Мой поверенный сообщает мне о том живом и беспристрастном внимании, которое вы уделили делу о нарушении моих прав. Я предполагаю...»

Тут затрещал телефон на ночном столике. Аннелиза цокнула языком и взяла трубку. Кречмар, растерянно глядя на ее белые пухлые пальцы, сжимающие черную

трубку, вчуже слушал микроскопический голос, говоривший с другого конца.

— А, здравствуйте, — воскликнула Аннелиза и сделала мужу ту определенную, пучеглазую гримасу, по которой он всегда знал, что звонит баронесса, большая телефонница. Он потянулся за письмом из Америки, лежащим на перине, и посмотрел на подпись. Вошла Ирма, всегда приходившая по утрам здороваться с родителями. Она молча поцеловала отца, молча поцеловала мать, которая то слушала, то восклицала и порою кивала вместе с трубкой.

— Чтобы никаких сюрпризов няне сегодня не было, — тихо сказал Кречмар дочке, намекая на какое-то недавнее прегрешение. Ирма улыбнулась. Она была некрасивая, со светлыми ресницами, с веснушками над бледными бровями и очень худенькая.

— До свидания, спасибо, до свидания, — облегченно проговорила Аннелиза и звонко повесила трубку. Кречмар принялся за чтение письма. Аннелиза держала дочь за руки и что-то ей говорила, смеясь, целуя ее и слегка подергивая после каждой фразы. Ирма все улыбалась и скребла ногой по полу.

Опять затрещал телефон. Кречмар приложил трубку к уху.

— Здравствуй, Бруно Кречмар, — сказал незнакомый женский голос.

— Кто говорит? — спросил Кречмар и вдруг почувствовал, словно спускается на очень быстром лифте.

— Нехорошо было меня обманывать, — продолжал голос, — но я тебя прощаю. Ты слушаешь? Я хотела только тебе сказать, что...

— Ошибка, это другой, — хрипло сказал Кречмар и разъединил. В то же мгновение с ужасом подумал, что, как он давеча слышал голос, просачивавшийся с того конца, и даже как будто различал слова, так и Аннелиза теперь могла все слышать.

— Что это было? — с любопытством спросила она. — Отчего ты такой красный?

— Какая-то дичь! Ирма, уходи, нечего тебе тут валандаться. Совершенная дичь. Уже десятый раз попадают ко мне по ошибке. Он пишет, что, вероятно, приедет зимой в Берлин и хочет со мной познакомиться.

— Кто пишет?

— Ах, господи, никогда ничего сразу не понимаешь. Ну вот этот самый, карикатурист, из Америки. Этот самый Горн...

— Какой Горн? — уютно спросила Аннелиза.

## V

Вечерняя встреча выдалась довольно бурная. Весь день Кречмар пробыл дома, боясь, что Магда позвонит опять. Это следовало в корне пресечь. Когда она вышла из «Аргуса», он прямо с того начал:

— Послушай, Магда, я запрещаю тебе звонить ко мне. Это черт знает что такое. Если я тебе не сообщил моей фамилии, значит, были к тому основания.

— Всего лучшего, — спокойно проговорила Магда и пошла не оглядываясь. Он дал ей отойти, постоял, беспомощно глядя ей вслед. Какой промах — надо было смолчать, она в самом деле подумала бы, что ошиблась... Тихонько обогнав ее, Кречмар пошел рядом.

— Прости меня, — сказал он. — Не нужно на меня сердиться, Магда. Я без тебя не могу. Вот я все думал: брось службу, это так утомляет тебя. Я богат. У тебя будет своя комната, квартира, все что хочешь.

— Я понимаю, в чем дело, — проговорила Магда холодным голосом. — Ты, вероятно, все-таки женат, как я и думала сначала. Иначе ты не был бы со мной так груб по телефону.

— А если я женат, — спросил Кречмар, — ты со мной больше не будешь встречаться?

— Мне какое дело? Надувай ее, ей должно быть полезно.

— Магда, не надо! — воскликнул Кречмар опешив.

— А ты меня не учи.

— Магда, послушай, это правда — у меня жена и ребенок, но я прошу тебя, эти насмешки лишние... Ах, погоди, Магда! — добавил он, всплеснув руками.

— Поди ты к дьяволу! — крикнула она и захлопнула ему дверь в лицо.

— Погадайте мне, — сказала она хозяйке.

Та вынула из ящика колоду карт, столь сальных, что из них можно было сварить суп. Появился богатый брюнет, потом козни, хлопоты, какая-то пирушка... «Надо посмотреть, как он живет, — думала Магда, облокотясь на стол. — Может быть, он все-таки шантрапа, и не стоит связываться. Согласиться? Не рано ли?»

Через день она позвонила ему снова. Аннелиза была в ванной. Кречмар заговорил почти шепотом, посматривая на дверь. Несмотря на боязнь, он испытывал большое счастье оттого, что Магда его простила. «Мое счастье, — сказал он, вытягивая губы, — мое счастье». — «Слушай, когда твоей жены сегодня не будет дома?» — спросила она его смехом. «Не знаю, — ответил Кречмар похолодев, — а что?» — «Я хочу к тебе прийти на минутку». Он помолчал. Где-то стукнула дверь. «Я боюсь дольше говорить», — пробормотал Кречмар. «Какой ты трус. Помни, что если я к тебе приду, то поцелую». — «Сегодня не знаю, не выйдет, — сказал он через силу. — Если я сейчас повешу трубку, не удивляйся, вечером тебя увижу, мы тогда...» Он повесил трубку и некоторое время сидел неподвижно, слушая гром сердца. «Я действительно трус, — подумал он. — Она в ванной еще провозится с полчаса...»

— У меня маленькая просьба, — сказал он Магде при встрече. — Сядем в автомобиль, покатаемся.

— В открытый, — вставила Магда.

— Нет, это опасно. Обещаю тебе хорошо себя вести, — добавил он, любясь при свете фонаря ее по-детски поднятым к нему лицом.

— Вот что, — заговорил он, когда они очутились в таксомоторе. — Я на тебя, конечно, не в претензии за то, что ты мне звонишь, но я прошу и даже умоляю тебя больше этого не делать, моя прелесть, мое сокровище («давно бы так», — подумала Магда); во-вторых, объясни мне, как ты узнала мою фамилию.

Она без всякой надобности солгала, что его, дескать, знает в лицо одна ее знакомая, которая их видела вместе на улице.

— Кто такая? — спросил с ужасом Кречмар.

— Ах, простая женщина, родня, кажется, кухарки или горничной, служившей у тебя когда-то. — Кречмар мучительно напряг память.

— Я, впрочем, сказала ей, что она обозналась, — я умная девочка.

В автомобиле переливались пятнистые потемки, она сидела до одури близко, от нее шло какое-то блаженное, животное тепло, мимо окон проносился шумный сумрак ночного Тиргартена... «Я умру, если не буду ею обладать, или свихнусь», — подумал Кречмар и сказал:

— В-третьих, насчет твоего переселения. Найди себе квартиру в две-три комнаты с кухней. Я за все заплачу. С условием, что ты мне позволишь к тебе заглядывать.

— Ты, кажется, забыл, Бруно, наш утренний разговор.

— Но это так опасно, — воскликнул Кречмар. — Вот, например, завтра я буду один приблизительно с четырех до шести. Но мало ли что может случиться... — Он себе представил, как жена ненароком воротится с дороги... Молодая художница, нужно ей помочь устроить выставку.

— Но я же тебя поцелую, — тихо сказала Магда. — И знаешь, все в жизни всегда можно объяснить.

Всякая мысль о Магде, о ее тонком отроческом сложении и шелковистой коже всегда вызывала у него дрожь в ногах, желание застонать. Обещанное прикосновение казалось таким блаженством, что дальше не-

куда. Однако за этим еще открывалась новая, невероятная даль: там ждал его взгляда тот самый образ, который еще недавно множество молодых живописцев так равнодушно и плохо рисовали, поднимая и опуская глаза. Но об этих скучных солнечных часах в студиях Кречмар ровно ничего не знал. Мало того, на днях старый доктор Ламперт показывал ему папку рисунков углем, сделанных за последний год его сыном, и среди них был портрет голой стройной девочки с ожерельем на шее и с темной прядью вдоль склоненного лица. «Горбун вышел лучше», — заметил Кречмар, вернувшись к другому листу, где был изображен бородатый урод со смело прочерченными морщинами. «Да, талантлив», — добавил он, захлопнув папку. И все. Он ничего не понял.

И сейчас его тряс озноб, он ходил по кабинету и смотрел в окно, и справлялся о времени у всех часов в доме, Магда уже опоздала на двадцать минут. «Подожду до половины и спущусь на улицу, — прошептал он, — а то уже будет поздно, поздно, — у нас так мало времени...»

Окно было открыто. Сиял мокрый весенний день, по желтой стене дома напротив струилась тень дыма из теневой трубы. Кречмар высунулся по пояс, опираясь пальцами о подоконник. «Боже мой, следовало ей твердо сказать: ко мне нельзя». В это мгновение он завидел ее — она переходила улицу, без пальто, без шляпы, словно жила поблизости.

«Есть еще время сбежать, не пустить», — подумал он, но вместо этого вышел в прихожую и, когда услышал ее легкий шаг на лестнице, бесшумно открыл дверь.

Магда, в коротком ярко-красном платье, с открытыми руками, улыбаясь, взглянула в зеркало, потом повернулась на одной ноге, приглаживая затылок.

— Ты роскошно живешь, — сказала она, сияющими глазами окидывая широкую прихожую, пистолеты и сабли на стене, прекрасную темную картину, кремовый кретон вместо обоев. — Сюда? — спросила она, толк-

нув дверь, и, войдя, продолжала бегать глазами по сторонам.

Он, замирая, взял ее одной рукой за талию и вместе с ней глядел на люстру, на шелковую мебель, словно и сам был чужой здесь, — но видел, впрочем, только солнечный туман, все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше.

— Однако, — сказала она, перейдя в следующую комнату, — я не знала, что ты так богат, какие ковры...

Буфет в столовой, хрусталь и серебро так на нее подействовали, что Кречмару удалось незаметно нащупать ее ребра и — повыше — горячую, нежную мышцу.

— Дальше, — сказала она облизнувшись. Зеркало отразило: бледного, серьезного господина, идущего рядом с девочкой в красном платье. Он осторожно погладил ее по голой руке, теплой и удивительно ровной, — зеркало затуманилось... — Дальше, — сказала Магда.

Он жаждал поскорее привести ее в кабинет, сесть с ней на диван; вернись жена, все было бы просто: посетительница, по делу...

— А там что? — спросила Магда.

— Там детская. Ты все уже осмотрела, пойдем в кабинет.

— Пусти, — сказала она, заиграв ключицами.

Он всей грудью вздохнул, словно не дышал все то время, пока держал ее, идя с нею рядом.

— Детская, Магда, — я тебе говорю: детская.

Она и туда вошла. У него было странное желание вдруг крикнуть ей: пожалуйста, ничего не трогай. Но она уже держала в руках толстую морскую свинку из плюша. Он взял это из ее рук и бросил в угол. Магда засмеялась.

— Хорошо живется твоей девочке, — сказала она и открыла следующую дверь.

— Магда, полно, — сказал с мольбой Кречмар. — Не юли так. Отсюда не слышно, кто-нибудь может прийти. Все это страшно рискованно.

Но она, как взбалмошный ребенок, увернулась, через коридор вошла в спальню. Там она села у зеркала, перекинула ногу на ногу, повертела в руках щетку с серебряной спинкой, понюхала горлышко флакона.

— Пожалуйста, оставь, — сказал Кречмар. Тогда она вскочила, отбежала к двуспальной кровати и села на край, по-детски поправляя подвязку и показывая кончик языка.

«...А потом застрелюсь...» — быстро подумал Кречмар.

Но она опять отскочила и, увильнув от его рук, выбежала из комнаты. Он кинулся за ней. Магда захлопнула дверь и, громко дыша и смеясь, повернула снаружи ключ (ах, как колотила в дверь бедная Левандовская!..)

— Магда, отопри, — тихо сказал Кречмар. Он услышал ее быстро удаляющиеся шаги. — Отопри, — повторил он громче. Тишина. Полная тишина. «Опасное существо, — подумал он. — Какое, однако, фарсовое положение». Он испытывал страх, досаду, мучительное чувство обманутой жажды... Неужели она ушла? Нет, кто-то ходил по квартире. Кречмар легонько стукнул кулаком и крикнул:

— Отопри, слышишь! — Шаги приблизились. Это была не Магда.

— Что случилось? — раздался неожиданный голос Макса. — Что случилось? Ты заперт — (Боже мой, ведь у Макса был ключ от квартиры!). Дверь открылась. Макс был очень красен. — В чем дело, Бруно? — спросил он с тревогой.

— Глупейшая история... Я сейчас тебе расскажу... Пойдем в кабинет, выпьем по рюмке.

— Я испугался, — сказал Макс. — Я думал, бог знает что случилось. Хорошо, знаешь, что я зашел. Аннелиза мне говорила, что будет дома к шести. Хорошо, что я пришел раньше. Хорошо, знаешь. Я думал, прямо не знаю что. Кто тебя запер?

Кречмар стоял к нему спиной, доставая бутылку коньяку из шкапа.

— Ты никого не встретил на лестнице? — спросил он, стараясь говорить спокойно.

— Нет, я приверженец лифта, — ответил Макс.

«Пронесло», — подумал Кречмар и очень оживился.

— Понимаешь, какая штука, — сказал он, наливая коньяк, — был вор. Этого не следует, конечно, сообщать Аннелизе, но был вор. Понимаешь, он думал, очевидно, что никого нет дома, знал, что ушла прислуга. Вдруг слышу шум. Выхожу в коридор, вижу: бежит человек — вроде рабочего. Я за ним. Хотел его схватить, но он оказался ловче и запер меня. Потом я слышал, как стукнула дверь, — вот я и думал, что ты его встретил.

— Ты шутишь, — сказал Макс с испугом.

— Нет, совершенно серьезно...

— Но ведь он, вероятно, успел стащить что-нибудь. Нужно проверить. Нужно заявить в полицию.

— Ах, он не успел, — сказал Кречмар. — Все это произошло мгновенно, я его спугнул.

— Но как же он проник? С отмычкой, что ли? Невероятно! Пойдем посмотрим.

Они прошли по всем комнатам, проверили замки дверей и шкапов. Все было чинно и сохранно. Уже к концу их исследования, когда они проходили через библиотечную, у Кречмара вдруг потемнело в глазах, ибо между шкапами, из-за вертучей этажерки, выглядывал уголок ярко-красного платья. Каким-то чудом Макс ничего не заметил, хотя рыскал глазами по сторонам. В столовой он распахнул створки буфета.

— Оставь, Макс, довольно, — сказал Кречмар хрипло. — Ясно, что он ничего не взял.

— Какой у тебя вид, — сказал Макс. — Бедный! Я понимаю, такие вещи действуют на нервы.

Донеслись звуки голосов. Явились: Аннелиза, бонна, Ирма, подруга Ирмы — толстая, с неподвиж-

ным кротким лицом, но аховая озорница. Кречмару казалось, что он спит, и вот — тянется, тянется самый страшный сон, который он когда-либо видел. Присутствие Магды в доме было чудовищно, невыносимо. Он предложил всем отправиться в театр, но Аннелиза сказала, что утомлена. За ужином он напрягал слух и не замечал что ест. Макс все посматривал по сторонам — только бы сидел на месте, только бы не разгуливал. Была ужасная возможность: дети начнут резвиться по всем комнатам. Но, к счастью, подруга Ирмы скоро ушла. Ему казалось, что все они — и Макс, и жена, и прислуга, и он сам — беспрестанно как-то расползаются по всей квартире и не дают Магде выскользнуть, выбраться, — если вообще она собирается это сделать. Больше компактности, сыграем, что ли, в преферанс. В десять Макс наконец ушел. Прислуга замкнула за ним дверь на цепочку, задвинула стальной засов, включила контрольный звонок — теперь не выбраться, заперта.

— Спать, спать, — сказал Кречмар жене, нервно зевая. Они легли. Все было тихо в доме. Вот Аннелиза собралась потушить свет.

— Ты спи, — сказал он, — а я еще пойду почи-таю. У меня сон пропал. — Она дремотно улыбнулась.

— Только потом не буди меня, — пробормотала она. В спальне потемнело.

Все было тихо, выжидательно тихо, казалось, что тишина не выдержит и вот-вот рассмеется. В пижаме и в мягких туфлях Кречмар бесшумно пошел по коридору. Странно сказать: страх рассеялся; кошмар теперь перешел в то несколько бредовое, но блаженное состояние, когда можно сладко и свободно грешить, ибо жизнь есть сон. Кречмар на ходу расстегнул ворот пижамы: все в нем содрогалось, — ты сейчас, вот сейчас будешь моей. Он тихо открыл дверь библиотечной и включил свет.

— Магда, сумасшедшая, — сказал он жарким шепотом. Это была красная шелковая подушка с волана-

ми, которую он сам же на днях принес, чтобы на полу, у низкой полки, просматривать фолианты.

## VI

Магда сообщила хозяйке, что скоро переезжает. Все складывалось чудесно — она и не мечтала, что Кречмар столь богат. В воздухе его жилья она почуяла добротность и основательность его богатства. Жена, судя по портретам, нимало не походила на даму с властным лицом, опухшими ногами и тяжелым характером, которую Магда представляла себе; напротив, это, видно, была смирная, нехваткая женщина, которую можно отстранить без труда. Сам Кречмар не только не был Магде противен — он даже нравился ей. У него была мягкая, благородная наружность, от него веяло душистым тальком и хорошим табаком. Разумеется, густое счастье ее первой любви было неповторимо. Она запрещала себе вспоминать Мюллера, меловую бледность его щек, горячий мясистый рот, длинные, всепонимающие руки. Когда она все-таки вспоминала, как он покинул ее, ей сразу опять хотелось выпрыгнуть из окна или открыть газовый кран. Кречмар мог до некоторой степени успокоить ее, утолить жар, — как те прохладные листья подорожника, которые так приятно прикладывать к воспаленному месту. А кроме всего — Кречмар был не только прочно богат, он еще принадлежал к тому миру, где свободен доступ к сцене, к кинематографу. Нередко, заперев дверь, Магда делала перед зеркалом страшные глаза или расслабленно улыбалась, а не то прижимала к виску подразумеваемый револьвер, и ей сдавалось, что у нее это выходит вовсе не хуже, чем в Холливуде.

После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру. Кречмар так растерялся и обмяк после ее визита, что она пожалела его, сразу взяла деньги, которые он ей сунул во время обычной прогулки, — и в подъезде поцеловала его. Пламя этого поцелуя осталось при нем и во-

круг него, будто смутный, цветной ореол, в котором он вернулся домой и который он не мог оставить в передней, как шляпу, и, войдя в спальню, он недоумевал, неужто жена не увидит по его глазам, что случилось.

Но Аннелиза, тридцатипятилетняя, мирная Аннелиза ни разу не подумала о том, что муж может ей изменить. Она знала, что у Кречмара были до женитьбы мелкие увлечения, она помнила, что и сама, девочкой, была тайно влюблена в старого актера, который приходил в гости к отцу и смешно изображал говор саксонца; она слышала и читала о том, что мужья и жены вечно изменяют друг другу, — об этом были и сплетни, и поэмы, и анекдоты, и оперы. Но она была совершенно просто и непоколебимо убеждена, что ее брак — особенный брак, драгоценный и чистый, из которого ни анекдота, ни оперы не сделаешь. Раздражительность и нервность мужа она объясняла погодой — май выдался необыкновенно странный, то жарко, то ледяные дожди с градом, который звякал о стекла и таял на подоконниках.

— Не поехать ли нам куда-нибудь? — вскользь предложила она. — В Тироль, скажем, или в Рим?

— Поезжай, если хочешь, — ответил Кречмар. — У меня дела по горло, ты отлично знаешь.

— Да нет, я просто так, — примирительно сказала Аннелиза и отправилась с дочкой смотреть слоненка в Зоологическом саду.

Другое дело Макс. История с запертой дверью оставила в нем неприятный осадок. Кречмар не только не заявил в полицию, но даже как будто рассердился, когда Макс об этом опять заговорил. Человек, который вступает врукопашную со взломщиком, не так-то легко примиряется с этим. Макс невольно задумывался — старался установить, не заметил ли он все-таки кого-нибудь подозрительного, когда входил в дом, направляясь к лифту. Ведь он был наблюдателен, — он заметил, например, кошку, которая выскочила из па-

лисадника, девочку в красном платье, для которой придержал дверь, пучок звуков, доносившихся из швейцарской, где играло радио. Очевидно, взломщик притаился, пока полз вверх тонкостенный лифт. Но откуда все-таки это зыбкое, неприятное чувство?

В молодости он как-то упустил жениться, жил один, был давно в связи с пожилой, увядшей актрисой, которая все еще ухитрялась ему изменять и потом всякий раз валялась у него в ногах, несказанно его этим смущая; дельно заведовал театральной конторой, слыл отличным гастрономом и немного этим гордился; писал, несмотря на свою толщину, стихи, которых никому не показывал, и состоял в обществе покровительства животных. Супружеское счастье Кречмаров было для него чем-то пленительно святым. Когда, через несколько дней после истории со взломщиком, телефонная Парка соединила его с Кречмаром, пока тот говорил с кем-то другим, Макса так ошеломили невольно перехваченные слова, что он проглотил кусочек спички, которой копал в зубах. Слова были такие: «не спрашивай, а покупай, что хочешь, только не звони мне....» — «Но ты не понимаешь, Бруно...» — привередливо и нежно проговорил женский голос. Тут Макс повесил трубку, судорожным движением, словно нечаянно схватил змею.

Вечером, сидя в смугло-озаренной гостиной с сестрой и зятем, Макс не знал, как держаться, о чем говорить. Он был из тех впечатлительных людей, которые краснеют до слез от чужой неловкости. Теперь же случилось нечто, во сто крат худшее.

«Нет, нет, это ошибка, это глупое недоразумение», — уговаривал он себя, глядя на спокойное лицо Кречмара, читавшего журнал, на его мягкие домашние туфли, на тщательность, с которой он разрезал страницы ножом из слоновой кости... «Не может быть... Меня навела на эти мысли тогдашняя история. Слова, которые я выхватил из воздуха, объясняются как-нибудь очень просто. И как же можно обманывать Аннелизу?» Она сидела в углу дивана и подробно, добро-

совестно рассказывала содержание пьесы, которую недавно видела. У нее были светлые, пустые глаза, лоснился нос — тонкий, милый нос. Макс кивал и улыбался. Он, впрочем, не понимал ни слова, точно она говорила по-русски или по-испански.

## VII

Между тем Магда сняла приглянувшуюся ей квартиру, наняла кухарку, накупила немало хозяйственных вещей, начиная с сервиза и кончая туалетной бумагой, заказала визитные карточки и занялась прихорашиванием комнат. Любопытно, что невзирая на то, что Кречмар щедро и даже с каким-то умилением — раскошелится, платил-то он, собственно, вслепую, ибо не только не видал снятой квартирki, но даже не знал адреса: Магда уговорила его, что этак гораздо забавнее, будет ему сюрприз, ничего, что несколько дней пройдет без встреч, она по телефону сообщит ему адрес, когда все будет готово, и тогда он сразу примчится. Прошла неделя, предполагалось, что она позвонит в четверг и он весь день сторожил телефон. Но телефон блестел и молчал. В пятницу он решил, что Магда надула его и навсегда исчезла. Под вечер явился Макс (эти посещения были теперь адом для Макса), Аннелизы не было дома. Макс сел в кабинете против Кречмара и не знал, о чем говорить. Кречмар давно заметил, что Макс держится странно. «Вероятно, с делами неурядицы», — смутно подумал он. Макс курил и смотрел на кончик своей сигары. Он даже как будто похудел за последнее время. «Выследил, — с минутным содроганием подумал Кречмар. — Ну и пускай. Он мужчина, он должен понять». (Это была очень фальшивая мысль.) Вошла Ирма, и Макс оживился, посадил ее к себе на колени, смешно екнул, когда она, садясь, нечаянно въехала кулачком в его упругий живот. Аннелиза вернулась. Кречмару вдруг показалась невыносимой перспектива ужина, длинного вечера. Он объявил, что не ужинает дома, пожал

плечами, когда жена ласково спросила, почему он раньше не предупредил, поцеловал дочку в лоб и, торопясь, вышел.

Им владело одно желание: во что бы то ни стало, сейчас же, разыскать Магду — судьба не имела права, посулив такое блаженство, притвориться, что ничего не обещано. Его охватило такое отчаяние, что он решился на довольно опасный шаг. Он знал, что прежняя ее комната выходила во двор, он знал также, что она там жила со своей теткой. Туда-то он и направился. Проходя через двор, он увидел какую-то горничную, стелившую в одной из нижних комнат у открытого окна постель.

— Фрейлейн Петерс? — переспросила она. — Кажется, съехала. Впрочем, посмотрите сами. Пятый этаж, левая дверь.

Кречмару открыла растрепанная женщина с красными глазами, но цепочки не сняла, говорила с ним через шелку.

— Я хочу узнать новый адрес фрейлейн Петерс, — сказал Кречмар. — Она тут жила со своей теткой.

— С теткой? — не без интереса произнесла женщина и только тогда сняла цепочку. Она его ввела в крохотную комнату, где все дрожало и звякало от малейшего движения и где на клеенчатой скатерти стояли тарелка с картофельным пюре, соль в прорванном мешочке, три пустые бутылки из-под пива, и, как-то загадочно улыбаясь, предложила ему сесть.

— Если бы я была ее теткой, — сказала она, подмигнув, — то, вероятно, я не знала бы ее адреса. Тетки, — добавила она, — никакой, собственно, у нее нет. «Пьяна», — подумал с тоской Кречмар.

— Послушайте, — проговорил он, — я вас прошу сказать мне, куда она переехала.

— Она у меня снимала комнату, — задумчиво сказала та, с горечью размышляя о неблагодарности Магды, скрывшей и богатого друга, и новый свой адрес, который, впрочем, оказалось нетрудно вынюхать.

— Как же быть? — воскликнул Кречмар. — Где же я могу узнать?

Хозяйке стало жаль его. Она не могла решить, удовольствие или неприятность доставит она Магде тем, что сообщит адрес этому нарядному, взволнованному синеглазому господину, — но было так грустно смотреть на него, что она, вздохнув, дала ему нужную справку.

— И за мной раньше охотились, и за мной, — бормотала она, провожая его, — да-да, и за мной...

Было около восьми, легкие сумерки оживлялись нежными оранжевыми огнями, небо было еще совсем голубое, и от него кружилась голова. «Сейчас будет рай», — думал Кречмар, летя в таксомоторе по дымчатому асфальту.

На двери была ее визитная карточка. Угрюмая бабища с красными, как сырое мясо, руками пошла о нем доложить. «Уже кухарку завела, — восторженно подумал Кречмар. — Вот мы какие». «Пожалуйста», — сказала та вернувшись. Он пригладил волосы и вошел. Магда в кимоно лежала на цветистой кушетке, заломив обнажившиеся руки; на животе у нее покоилась корешком вверх открытая книга. Комната была донельзя безвкусно обставлена, и это его растрогало.

— Ну, здравствуй, — сказала Магда, протягивая руку с несвойственной ей ленивой томностью.

— Ты как будто знала, что я сегодня приду, — прошептал он, сдерживая смех. — Спроси, как я выглядел твой адрес.

— Я ж тебе написала адрес, — проговорила она, держа его за пальцы.

— Нет, это было уморительно, — продолжал Кречмар, не слушая ее и с нарастающим чувством наслаждения глядя на эти подвижные губы, которые он сейчас поцелует. — Это было уморительно... И ты очень гадкая, что выдумала тетку.

— Зачем ты ходил туда? — произнесла Магда недовольно. — Ведь я же написала тебе мой адрес. Справа наверху, совершенно отчетливо.

— Наверху? Отчетливо? — удивленно повторил Кречмар. — О чем ты?

Она хлопнула по книге и слегка привстала.

— Да ведь письмо ты получил?

— Какое письмо? — спросил Кречмар и вдруг приложил ладонь ко рту, и глаза его расширились.

— Я сегодня утром послала тебе письмо, — сказала Магда, глядя на него с любопытством. — Я так и рассчитала, что ты с вечерней почтой получишь его и сразу придешь.

— Не может быть, — выговорил Кречмар.

— Ах, я могу тебе пересказать. Дорогой, любимый Бруно, гнездышко свито, и я жду тебя. Только не целуй слишком крепко, а то у твоей девочки может закружиться голова... Все.

— Магда, — сказал он тихо. — Магда, что ты наделала... Ведь я ушел раньше. Ведь почта приходит в без четверти восемь. Ведь сейчас...

— Опять я виновата, — сказала она. — Не смей на меня сердиться. Я ему так мило пишу, а он... Прямо обидно.

Она дернула плечами, взяла книгу и повернулась набок. На левой странице была картинка: Грета Гарбо, гримирующаяся перед зеркалом.

Кречмар мельком подумал: «Как странно, — случается катастрофа, а человек замечает какую-то картинку». Часы показывали без двадцати восемь. Магда лежала, изогнутая и неподвижная, как ящерица.

— Ты же меня погубила.. Ты меня, — начал он, но не dokonчил и выбежал из комнаты, загремел вниз по лестнице, замахал проезжавшему таксомотору, вскочил в него и, сидя на краешке, подавшись вперед, глядел на спину шофера и бормотал: «Что же это такое, господи... я не успею... я не успею...»

Автомобиль остановился. Он выпрыгнул. Близ палисадника знакомый почтальон, расставив ноги хером, говорил с толстяком швейцаром.

— Мне есть письма? — задыхаясь, спросил Кречмар.

— Только что отнес к вам наверх, — ответил почтальон с дружелюбной улыбкой.

Кречмар поднял глаза. Окна его квартиры были нежно освещены. Он почувствовал, что теряет власть над собой, и, чтобы только не оставаться на одном месте, вошел в дом, начал подниматься. Одна площадка. Вторая. Молодая художница, ей нужно устроить выставку. Знаешь, был вор, я хотел его схватить... Землетрясение, бездна,.. Она уже прочла, она уже все знает. Кречмар, не дойдя до своей двери, вдруг повернул и побежал вниз. Мелькнула кошка, гибко скользнула сквозь решетку.

Через пять минут он опять вошел в ту комнату, в которую недавно входил с таким счастливым трепетом. Магда лежала на кушетке все в той же позе застывшей ящерицы. Книга была открыта все на той же странице — гримирующаяся Грета. Он сел поодаль на стул и принялся трещать суставами пальцев.

— Перестань, — сказала Магда, не поднимая головы. — Ну что же, письмо пришло?

— Ах, Магда... — тихо произнес он и прочистил горло. Потом снова прочистил еще громче и сказал пегушиным голосом: — Поздно, поздно, почтальон уже выходил.

Он встал, прошелся раза два по комнате, высморкался и сел снова на то же место.

— Она читает все мои письма, ты ведь это знаешь... — проговорил он, глядя сквозь дрожащий туман на носок своего башмака и легонько топая им по расплывчатому узору на ковре.

— Ты бы ей запретил.

— Ах, Магда, что ты понимаешь в этом... Так было заведено, так было всегда... Особенно по вечерам. Были всякие смешные письма... Как ты могла... Я просто не знаю, что она сделает теперь. Ведь не может быть такого чуда... Ну, хоть этот раз, хоть этот, — была занята другим, отложила, забыла... Ты понимаешь, Магда, что это бессмысленно, — чудес не бывает.

— Ты только не выходи в прихожую, когда она прикатит. Я одна к ней выйду.

— Кто? Когда? — спросил он, неясно представив себе почему-то давешнюю полупьяную женщину.

— Когда? Вероятно, сейчас. У нее ведь теперь есть мой адрес.

Кречмар все не понимал.

— Ах, ты вот о чем, — сказал он наконец. — Вот о чем... Боже мой, какая же ты глупая, Магда. Поверь, что как раз это никак не может случиться. Все — но только не это...

«Тем лучше», — подумала Магда, и ей стало вдруг чрезвычайно весело. Посылая письмо, она рассчитывала на гораздо меньшее: муж не показывает, жена злится, топает ногой, старается вырвать... Первая брешь сомнения была бы пробита, и это облегчило бы Кречмару дальнейший путь. Теперь же случай помог, все разрешилось одним махом. Она отложила книгу и посмотрела с улыбкой на его дрожащие губы. С ним происходило неладное, — наступила чрезвычайно важная минута, — и если не принять должных мер... Магда вытянулась, хрустнула плечами, почувствовала в своем стройном теле вполне приятное предвкушение и сказала, глядя в потолок:

— Пойди сюда, Бруно.

Он подошел; сокрушенно мотая головой, сел на край кушетки.

— Обними же меня, — произнесла она жмурясь, — уж так и быть — я тебя утешу.

## VIII

Берлин, майское утро, еще очень рано. В плюше егозят воробы. Толстый автомобиль, развозящий молоко, шелестит шинами, словно по шелку. В слуховом окошке на скате черепичной крыши отблеск солнца. Воздух еще не привык к звонкам и гудкам и принимает, и носит эти звуки как нечто новое, ломкое, дорогое. В палисадниках цветет сирень; белые бабочки, несмотр-

ря на утренний холодок, летают там и сям, будто в деревенском саду. Все это окружило Кречмара, когда он вышел из дома, где провел ночь.

Он чувствовал мертвую зыбь во всем теле — и есть хотелось, и вместе с тем слегка поташнивало, и все было какое-то чужое: неуютное прикосновение белья к коже, нервное ощущение небритости. Не диво, что был он так опустошен: эта ночь явилась той, о которой он, в конце концов, только и думал с маниакальной силою всю жизнь. Разнузданность этой шестнадцатилетней девочки лишь обострила его счастье — уже по тому, как она сводила лопатки, мурлыкала, закидывала голову, когда он только еще раздевал ее, щекотал ее губами, Кречмар понял, что не холодноватая поволока невинности ему нужна, а вот именно эта резвая природная отзывчивость. Тогда и он сразу, как в самых своих распущенных снах, сбросил с себя привычное бремя робкой и неуклюжей сдержанности. В этих снах, посещавших его так давно, ему постоянно мерещилось, что он выходит из-за скалы на пустынный пляж, и вдруг навстречу — молоденькая купальщица. У Магды был точь-в-точь снившийся ему очаровательный очерк, — развязная естественность наготы, точно она давно привыкла бегать раздетой по взморью его снов. Она была подвижна и неугомонна — жаркое дыхание, акробатические ласки, после краткого полубоморока она оживлялась снова, — подпрыгивала на матраце и, смеясь, перелезала через грядку кровати и ходила по комнате, нарочито виляя отроческими бедрами, глядясь в зеркало и грызя сухую, оставшуюся с утра булочку.

Заснула она как-то вдруг — будто замолкла на полуслове, — уже тогда, когда в комнате электричество стало оранжевым, а окно дымно-синим. Кречмар направился в ванную каморку, но, добыв из крана только несколько капель ржавой воды, вздохнул, двумя пальцами вынул из ванны мочалку, посмотрел на подозрительно розовое мыло, подумал, что прежде всего придется научить Магду чистоте. Брезгливо оде-

шись и положив на столике записку, он полюбовался, как спит Магда, прикрыл ее периной, поцеловал в теплые, растрепанные, темные волосы и тихо вышел.

И теперь, шагая вдоль пустой улицы и проникаясь жалостью к прозрачному, невинному утру, он понимал, что начинается расплата, — и постепенно, тяжелыми волнами, приливали думы о жене, о дочери. Когда он увидел дом, где прожил с Аннелизой так долго, когда тронулся лифт, в котором лет девять тому назад поднялись румяная мамка с его ребенком на руках и очень бледная, очень нежная Аннелиза, когда он остановился перед дверью, на которой холодно и безгрешно золотилась его фамилия, Кречмар почти был готов отказаться от повторения этой ночи, только бы случилось чудо. Он говорил себе, что если все-таки Аннелиза письма не прочла, ночное свое отсутствие он объяснит как-нибудь — даже пожертвует своей репутацией трезвенника, — напился пьян, буянил, мало ли что бывает... Однако следовало отпереть вот эту дверь и войти, и увидеть... что увидеть? Это просто нельзя было представить себе. «Может быть, не войти вовсе, оставить все так, как есть, уехать, зарыться...» Вдруг он вспомнил, как на войне приходилось покидать прикрытие.

В прихожей он замер, прислушиваясь. Тишина. Обычно в этот утренний час квартира бывала уже полна звуков — шумела где-то вода, бонна звонко говорила с Ирмой, в столовой звякала горничная. Тишина. Посмотрев в угол, он заметил в стойке женин зонтик. Внезапно появилась Фрида — почему-то без передничка — и сказала с отчаянием в голосе:

— Госпожа с маленькой барышней уехали, еще вечером уехали.

— Куда? — спросил Кречмар, глядя в угол. Фрида все объяснила, говоря скоро и крикливо, а потом разрыдалась и, рыдая, взяла из его рук шляпу и трость.

— Вы будете пить кофе? — спросила она сквозь слезы. Да, все равно, кофе...

В спальне был многозначительный беспорядок. Желтое платье жены лежало на постели. Один из ящиков комода был выдвинут. Со стола исчезли портреты покойного тестя и дочери. Завернулся угол ковра.

Он поправил ковер и тихо пошел в кабинет. Там, на бюваре, лежало несколько распечатанных писем. Какой детский почерк у Магды. Драйеры приглашают на бал. От Горна — пустые любезности через океан. Счет от дантиста.

Часа через два явился Макс. Он, видно, неудачно побрился: на толстой щеке был черный крест пластыря.

— Я приехал за ее вещами, — сказал он на ходу. Кречмар пошел за ним следом и молча смотрел, как он и Фрида торопливо, словно спеша на поезд, наполняют сундук.

— Не забудьте зонтик, — проговорил Кречмар вяло. Потом в детской повторилось то же самое. В комнате бонны уже стоял аккуратно запертый чемодан — взяли и его.

— Макс, на два слова, — пробормотал Кречмар и, кашлянув, пошел в кабинет. Макс последовал за ним и стал у окна. — Это катастрофа, — сказал Кречмар. Молчание.

— Одно могу вам сообщить, — произнес наконец Макс, глядя в окно. — Аннелиза едва ли выживет. Вы... она... — Макс осекся, и черный крест на его щеке несколько раз подпрыгнул. — Она все равно что мертвая. Вы ее... вы с ней... Собственно говоря, вы такой подлец, каких мало.

— Ты очень груб, — сказал Кречмар и попробовал улыбнуться.

— Но ведь это же чудовищно! — вдруг крикнул Макс, впервые с минуты прихода посмотрев на него. — Где ты подцепил ее? Почему эта паскудница смеет тебе писать?

— Но-но, потише, — произнес Кречмар с бессмысленной угрозой.

— Я тебя ударю, честное слово, ударю! — продолжал еще громче Макс.

— Постыдись Фриды, — пробормотал Кречмар. — Она ведь все слышит. Это катастрофа.

— Ты мне ответишь? — И Макс хотел его схватить за лацкан. Кречмар вяло шлепнул его по руке.

— Не желаю допроса, — сказал он, — все это крайне оскорбительно. Может быть, это странное недоразумение. Может быть, ничего такого нет...

— Ты лжешь! — заорал Макс и стукнул об пол стулом. — Ты лжешь! Я только что у нее был. Продажная девчонка, которую следует отдать в исправительный дом. Я знал, что ты будешь лгать. Как ты мог, негодяй! Ведь это даже не разврат, это...

— Довольно, довольно, — задыхающимся голосом перебил его Кречмар.

Проехал грузовик, задрожали стекла окон.

— Эх ты, — сказал Макс с неожиданным спокойствием и грустью. — Кто мог подумать...

Он вышел. Фрида всхлипывала в прихожей. Кто-то выносил сундуки. Потом все стихло.

## IX

В полдень Кречмар с одним чемоданом переехал к Магде. Фриду оказалось нелегко уговорить остаться в пустой квартире. Она, наконец, согласилась, когда он предложил, чтобы в бывшую комнату бонны вселился бравый вахмистр, Фридин жених. На все телефонные звонки она должна была отвечать, что Кречмар с семьей неожиданно отбыл в Италию.

Магда встретила его холодно. Утром ее разбудил бешеный толстяк, искал Кречмара и дважды назвал ее потаскухой. Кухарка, женщина недюжинных сил, вытолкала его вон.

— Эта квартира, собственно говоря, рассчитана на одного человека, — сказала она, взглянув на чемодан Кречмара.

— Пожалуйста, я прошу тебя, — взмолился он.

— Вообще, нам придется еще о многом поговорить, я не намерена выслушивать грубости от твоих идиотов родственников, — продолжала она, расхаживая по комнате в красном шелковом халатике, дымя папиросой. Темные волосы налезали на лоб, это придавало ей нечто цыганское.

После обеда она поехала покупать граммофон — почему граммофон, почему именно в этот день? Разбитый, с сильной головной болью, Кречмар остался лежать на кушетке в безобразной гостинной и думал: «Вот случилось что-то неслыханное, а я в конце концов довольно спокоен. У Аннелизы обморок длился двадцать минут, и потом она кричала — вероятно, это было невыносимо слушать, — а я спокоен... Развестись я с ней не могу, потому что она все-таки моя жена, и нет у меня никакого внутреннего права на развод, — я Аннелизу люблю, я, конечно, застрелюсь, если она умрет из-за меня. Интересно, как объяснили Ирме переезд на квартиру Макса, спешку, бестолочь. Как противно Фрида говорила об этом: «И она кричала, и она кричала», — с ужасным ударением на «и». Странно, Аннелиза никогда в жизни не повышала голоса».

На следующий день, пользуясь отсутствием Магды, которая отправилась закупить пластинок, Кречмар составил жене длинное письмо, в котором совершенно искренне, но слишком красноречиво объяснял, что любит ее как прежде — несмотря на увлечение, «разом испепелившее наше семейное счастье». Он плакал, и прислушивался, не идет ли Магда, и продолжал писать, плача и шепча. Он просил прощения у жены, просил беречь дочь, не давать ей возненавидеть недостойного, но несчастного отца, — однако из письма не было видно, готов ли он от увлечения отказаться, коли жена простит. Ответа он не получил.

Тогда он понял, что если не хочет мучиться, должен оподлеть безусловно, безоговорочно и вымарать образ семьи из памяти и всецело отдаться чудовищной, безобразной, почти болезненной страсти, которую воз-

буждала в нем веселая красота Магды. Она же была всегда готова разделить с ним любовную падучую, сколько угодно, в любое время дня и ночи, это только освежало ее, она была резва, беспечна, — благо врач еще в прошлом году объяснил ей, что забеременеть она неспособна. Кречмар научил ее каждое утро принимать ванну с мылом, вместо того чтобы только мыть шею и руки, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали земляничным лаком. Она сбрила темно-русые волоски под мышками и больно порезалась жилетным клинком. Вид крови в ней вызывал тошноту и головокружение. Кречмар бросился в аптеку, принес желтой ваты, йоду, еще чего-то.

Он открывал в ней все новые очарования, а то, что в другой показалось бы ему вульгарным лукавством или грубым бесстыдством, в Магде — только трогало и смешило его. Еще полудетское очарование ее тела и откровенное сластолюбие, — медленное погасание этих продолговатых глаз, словно постепенно темнеющие слои света в театральном зале, доводили его до такого безумия, что он вконец утрачивал всякое телесное приличие — ту сдержанность, которой отличались его классические объятия со стыдливой женой.

Он почти не выходил из дому, боясь встретить знакомых, и отпускал от себя Магду скрепя сердце, и то лишь утром — на охоту за чулками и шелковым бельем. Его удивляло в ней отсутствие любознательности — она не спрашивала ничего из его прежней жизни, принадлежа к числу тех людей, которые представляют себе ближнего по известной схеме и схеме этой доверяют вполне. Он старался, иногда, занять ее своим прошлым, говорил о детстве, о матери, которую помнил лишь смутно, и об отце, крутом сангвинике, любившем своих лошадей, своих собак, дубы и пшеницу своего поместья, и умершем внезапно — и отчего? — от сочного, тряского смеха, которым разразился в бильярдной, где гость-краснобай, шмякая кулаком в ладонь, выкрикивал сальный анекдот.

— Какой? Расскажи, — попросила Магда облизнувшись, но он не знал какой.

Он говорил далее о ранней своей страсти к живописи, о работах своих, о ценных находках, о том, как чистят картину — чесноком и толченой смолой, — как старый лак обращается в пыль, как под фланелевой тряпкой, смоченной скипидаром, исчезает грунт, черная тень, и вот расцветает баснословная красота — голубые холмы, излучистая восковая тропинка, маленькие пилигримы...

Магду занимало главным образом, сколько стоит такая картина.

Когда же он говорил о войне, о том, как он мучился в окопах, она удивлялась, почему он, ежели богат, не устроился в тылу.

— Какая ты смешная! — восклицал Кречмар, целуя ее в шею. — Господи, какая ты смешная!..

Магде бывало скучно по вечерам — ее влекли кинематографы, нарядные кабаки, негритянская музыка.

— Все будет, все будет, — говорил он. — Ты только потерпи, дай мне отдышаться, сообразить, обвыкнуться. У меня всякие планы... Мы еще махнем куда-нибудь, вот ты увидишь...

Он оглядывал гостиную, и его поражало, что он, не терпевший безвкусыя в вещах, полюбил это нагромождение ужасов, эти модные мелочи обстановки, которыми без разбора пленялась Магда. На все падал отсвет его страсти и все оживлял.

— Мы очень мило устроились, правда, Магда?

Она снисходительно соглашалась. Она знала, что все это только временно. Воспоминание о богатой квартире Кречмара было неотразимо, но, конечно, не следовало спешить.

Как-то, в начале июня, Магда пе́шком шла от модистки и уже приближалась к дому, когда кто-то сзади схватил ее за руку, повыше локтя. Она обернулась. Это был ее брат Отто. Он неприятно ухмылялся.

Поодаль, тоже ухмыляясь, но сдержаннее, стояли двое его товарищей.

— Здравствуй, дитя, — сказал он. — Нехорошо забывать родных.

— Оставь мой локоть, — тихо произнесла Магда, опустив ресницы.

Отто подбоченился.

— Как ты мило одета, — проговорил он, оглядывая ее с головы до ног, — прямо, можно сказать, дамочка.

Магда повернулась и пошла. Но он опять схватил ее и сделал ей больно.

— Ау-уа! — тихо вскрикнула она, как бывало в детстве.

— Ну-ка ты, — сказал Отто. — Я уже третий день наблюдаю за тобой. Знаю, как ты живешь. Однако мы лучше отойдем...

— Пусти, пусти, — прошептала Магда, стараясь отлепить его пальцы. Кое-кто из прохожих остановился и смотрел, мечтая о скандале. Дом был совсем близко. Кречмар мог случайно выглянуть в окно. Это было бы плохо.

Она тронулась, поддаваясь его нажиму. Отто повел ее за угол. Подошли, осклабясь и болтая руками, остальные двое, — Каспар и Курт.

— Что тебе нужно от меня? — спросила Магда, с ненавистью глядя на мятый картуз брата, на папироску за ухом, на голую бычью шею. Он мотнул головой.

— Пойдем вот туда — в кабак.

— Отвяжись! — крикнула она. Те двое подступили совсем близко и, урча, затеснили ее. Ей сделалось страшно.

Они вчетвером вошли в темный трактир. У стойки несколько людей хрипло и громко о чем-то рассуждали.

— Сядем сюда, в угол, — сказал Отто.

Сели. Магда живо вспомнила, как она с братом и вот с этими загорелыми молодцами ездила за город

купаться. Они учили ее плавать и цапали за голые ляжки. У одного из них, у Каспара, была на кисти и на груди бирюзовая татуировка. Валялись на берегу, осыпая друг друга жирным бархатным песком, они хлопали ее по мокрому купальному костюму, как только она ложилась ничком. Все это было так чудесно, так весело. Особенно когда мускулистый, светловолосый Каспар выбегал на берег, тряся руками, будто с холоду, и приговаривая: «Вода мокрая, мокрая». Плавающая, держа рот под поверхностью, он умел издавать громкие тюленьи звуки. Выйдя из воды, он прежде всего зачесывал волосы назад и осторожно надевал картуз. Помнится, играли в мяч, а потом она легла, и они ее облепили песком, оставив только лицо открытым, и камушками выложив крест.

— Вот что, — сказал Отто, когда появились на столе четыре кружки светлого пива. — Ты не должна стыдиться своей семьи только потому, что у тебя есть богатый друг. Напротив, ты должна о семье заботиться. — Он отпил пива, отпили и его товарищи. Они оба глядели на Магду насмешливо и недружелюбно.

— Ты все это говоришь наобум, — с достоинством произнесла Магда. — Дело обстоит иначе, чем ты думаешь. Мы жених и невеста, вот что.

Все трое разразились хохотом. Магда почувствовала к ним такую неприязнь, что отвела глаза и стала щелкать затвором сумки. Отто взял сумку из ее руки, открыл, нашел там только пудреницу, ключи и три марки с полтиной. Деньги он вынул, заметив, что они пойдут на уплату за пиво. После чего он с поклоном положил сумку перед ней на стол.

Заказали еще пива. Магда тоже глотнула, через силу — она пива не терпела, — но иначе они бы и это выпили.

— Мне можно теперь идти? — спросила она, приглаживая акрошеры.

— Как? Разве не приятно посидеть в кабачке с братом и друзьями? — удивился Отто. — Ты, Магда,

очень изменилась. Но главное — мы еще не поговорили о нашем деле...

— Ты меня обокрал, и теперь я ухожу.

Опять все заурчали, как давеча на улице, и опять ей стало страшно.

— О краже не может быть и речи, — злобно сказал Отто. — Это деньги не твои, а деньги, высосанные так или иначе из нашего брата. Ты эти фокусы оставь — насчет кражи. Ты... — Он сдержал себя и заговорил тише. — Вот что, Магда. Изволь сегодня же взять у твоего друга немного денег, для меня, для семьи. Марок пятьдесят. Поняла?

— А если я это не сделаю? — спросила Магда.

— Тогда будет месть, — ответил Отто спокойно. — О, мы все знаем про тебя... Невеста — скажите, пожалуйста!

Магда вдруг улыбнулась и прошептала, опустив ресницы:

— Хорошо, я достану. Теперь все? Я могу идти?

— Да постой же, постой, куда ты так торопишься? И вообще, знаешь, надо видаться, мы поедем как-нибудь за город, правда? — обратился он к друзьям. — Ведь бывало так славно. Не зазнавайся, Магда.

Но она уже встала — допивала стоя свое пиво.

— Завтра в полдень на том же углу, — сказал Отто, — а потом завалимся на весь день в Ванзей. Ладно?

— Ладно, — сказала Магда с улыбкой и, кивнув, вышла.

Она вернулась домой, и когда Кречмар, отложив газету, подошел к ней, Магда зашаталась и склонилась, притворяясь, что лишается чувств. Вышло очень удачно. Он испугался, уложил ее на кушетку, принес коньяку.

— Что случилось, что случилось? — спрашивал он, гладя ее по волосам.

— Ты меня теперь бросишь, — простонала Магда. Он переглотнул и вообразил самое страшное: измену. «Что ж? Застрелю», — сказал он про себя и уже совсем спокойно повторил:

— Что случилось, Магда?

— Я обманула тебя, — сказала она и замолкла. «Смерть», — подумал Кречмар.

— Ужасный обман, Бруно, — продолжала она. — Мой отец — вовсе не художник, а бывший слесарь, теперь швейцар, мать моет лестницу, брат — простой рабочий. У меня было тяжелое, тяжелое детство, меня колотили, меня терзали...

Кречмар почувствовал невероятное — нежное и сладкое — облегчение, а затем — жалость.

— Нет, не целуй меня, Бруно. Ты должен все знать. Я бежала из дому. Я служила сперва натурщицей. Меня эксплуатировала одна страшная старуха. Затем у меня была несчастная любовь — он был женат, как вот ты, и жена не дала ему развода, и тогда я его бросила, хотя безумно его любила. Затем меня преследовал старик банкир, предлагал мне все свое состояние, и тогда пошли грязные сплетни, но, конечно, — вранье, он ничего не добился. Он умер от разрыва сердца. Я начала служить в «Аргусе». Ты понимаешь, — он обещал меня сделать звездой экрана, а я выбрала честный путь...

— Счастье мое, счастье, — бормотал Кречмар.

— Неужели ты не презираешь меня? — спросила она, стараясь улыбнуться сквозь слезы, что было очень трудно, ибо слез-то не было. — Это хорошо, что ты меня не презираешь. Но теперь слушай самое страшное: брат меня выследил, он требует у меня денег, будет теперь нас шантажировать... Ты понимаешь, когда я увидела его и подумала: мой бедный, доверчивый заяц не знает, какая у меня семья, — тогда, знаешь, тогда мне стало стыдно уже от другого — от того, что я тебе не сказала всей правды, — так стыдно, Бруно...

Он обнял ее, нежно защекотал, она стала тихо смеяться (как просто удалось оставить брата в дураках).

— Знаешь, — сказал Кречмар, — я теперь боюсь тебя выпускать одну. Как же быть? Ведь не обратиться же к полиции?

— Нет, только не это, — необыкновенно решительно воскликнула Магда. Она почему-то боялась полиции и полицейских.

## Х

Утром она вышла в сопровождении Кречмара — надо было закупить легких летних вещей, а также мазей против солнечных ожогов: Сольфи, адриатический курорт, намеченный Кречмаром, славился своим сияющим пляжем. Садясь в таксомотор, она заметила брата, стоящего на другой стороне улицы, но Кречмару не показала его.

Появляться с Магдой на улице, переходить с ней из магазина в магазин было для Кречмара сопряжено с неотступной тревогой: он боялся встретить знакомых, он еще не мог привыкнуть к своему положению. Когда они вернулись домой, слежки уже не было; Магда поняла, что брат смертельно обиделся и теперь примет свои меры. Так оно и случилось. Дня за два до отъезда Кречмар сидел и писал деловое письмо, Магда в соседней комнате уже укладывала вещи в новый сундук; он слышал шуршание бумаги и песенку, которую она, с закрытым ртом, без слов, не переставала тихо напевать. «Как все это странно, — думал Кречмар. — Если гадалка предсказала бы мне под Новый год, что через несколько месяцев моя жизнь так круто изменится...» Магда что-то уронила в соседней комнате, песенка оборвалась, потом опять возобновилась. «Ведь пять месяцев назад я был примерным мужем, и Магды просто не существовало в природе вещей. Как это случилось быстро. Другие люди совмещают семейное счастье с легкими удовольствиями, а у меня почему-то все сразу спуталось, и даже теперь я не могу сообразить, когда допущена была первая неосторожность; и вот сейчас я сижу и как будто рассуждаю здраво и ясно, и на самом деле все продолжается этот полет кувырком неизвестно куда...»

Он вздохнул и принялся за письмо. Вдруг — звонок. Из разных дверей выбежали одновременно в прихожую: Кречмар, Магда и кухарка.

— Бруно, — сказала Магда шепотом, — будь осторожен, я уверена, что это Отто.

— Иди к себе, — ответил Кречмар. — Я уж с ним справлюсь.

Он открыл дверь. На пороге стоял юноша с грубоватым неумным лицом — и все же очень похожий на Магду. На нем был довольно приличный синий костюм воскресного вида, конец лилового галстука уходил, суживаясь, под рубашку.

— Кого вам нужно? — спросил Кречмар.

Отто кашлянул и развязно проговорил:

— Мне нужно с вами потолковать о моей сестре, я Магдин брат.

— Да почему именно со мной?

— Вы ведь господин...? — вопросительно начал Отто, — господин...?

— Шифермюллер, — подсказал Кречмар с облегчением.

— Ну так вот, господин Шифермюллер, я вас видел с моей сестрой и подумал, что вам будет любопытно, если я... если мы...

— Очень любопытно, — только что же вы стоите в дверях? Входите.

Тот вошел и опять кашлянул.

— Я вот что, господин Шифермюллер. У меня сестричка молодая и неопытная. Моя мать, господин Шифермюллер, ночей не спит с тех пор, как наша Магда ушла из дому. Да, господин Шифермюллер, ведь ей пятнадцать лет — вы не верьте, если она говорит, что больше. Ведь, помилуйте, очень нехорошо выходит, господин Шифермюллер. Что же это такое, сударь, в самом деле, мы — честные, отец — старый солдат, я не знаю, как это можно исправить...

Отто все больше взвинчивал себя и начинал верить в то, что говорит.

— Не знаю, как быть, — продолжал он возбужденно. — Это не дело, господин Шифермюллер. Представьте себе, что у вас есть любимая невинная сестра, которую купил и развратил...

— Послушайте, мой друг, — перебил Кречмар. — Тут какое-то недоразумение. Моя невеста мне рассказывала, что ее семья была только рада от нее отделаться.

— Ах, сударь, — проговорил Отто, щурясь и качая головой. — Неужто вы хотите меня уверить, что вы на ней женитесь. Ведь где же гарантия, ведь когда на честной девушке женятся, то перво-наперво идут посоветоваться к родителям ее или там к брату, — побольше внимания, поменьше гордости, сударь.

Кречмар с некоторой опаской смотрел на Отто и думал про себя, что в конце концов тот говорит резон и столько же имеет права печься о Магде, как Макс об Аннелизе; вместе с тем он чувствовал, что Отто лжив и груб, что горячность его неискренна.

— Стоп, стоп, — решительно прервал Кречмар. — Я все это отлично понимаю, но, право же, говорить нам не о чем, все это вас не касается. Уходите, пожалуйста.

— Ах, вот как, — сказал Отто насупившись. — Вот как. Ну, хорошо.

Он помолчал, теребя шляпу и глядя в пол. Пораздумав, он начал с другого конца.

— Вы, может быть, дорого за это поплатитесь, сударь. Я сестру, может быть, хорошо знаю — всю подноготную. Это я из братских побуждений называл ее невинной. Но, господин Шифермюллер, вы слишком доверчивы, — очень даже странно и смешно, что вы ее зовете невестой. Я уж, так и быть, вам кое-что о ней порасскажу.

— Не стоит, — сильно покраснев, ответил Кречмар. — Она сама мне все сказала. Несчастливая девочка, которую семья не могла уберечь. Пожалуйста, уходите, — и Кречмар приоткрыл дверь.

— Вы пожалеете, — неловко проговорил Отто.

— Уходите, — повторил Кречмар.

Тот очень медленно двинулся с места. Кречмар с пустоватой сентиментальностью, свойственной иным зажиточным людям, вдруг представил себе, как должно быть, бедно и грубо существование этого юноши. Прежде чем закрыть дверь, он быстро вынул бумажник, посплюнул большой палец и сунул в руку Отто десять марок.

Дверь захлопнулась. Отто посмотрел на ассигнацию, постоял, постоял, потом позвонил.

— Как, вы опять! — воскликнул Кречмар.

Отто протянул руку с билетом.

— Я не желаю подачек, — пробормотал он злобно. — Отдайте эти деньги безработному, коли вы не нуждаетесь в них.

— Да что вы, мой друг, берите, — сказал Кречмар смущенно.

Отто двинул плечами.

— Я не принимаю подачек от бар. У меня есть своя гордость. Я...

— Но я просто думал... — начал Кречмар.

Отто поговорил еще немного, потоптался, хмуро положил деньги в карман и ушел. Социальная потребность была удовлетворена, теперь можно было идти удовлетворять потребности человеческие.

«Маловато, — подумал он, — да уж ладно».

## XI

С той минуты как Аннелиза прочла Магдино письмо, ей все казалось, что длится какой-то несуразный сон, или что она сошла с ума, или что муж умер, а ей лгут, что он изменил. Ей помнилось, что она поцеловала его в лоб перед уходом — в тот далекий уже вечер, — поцеловала в лоб, а потом он сказал: «Нужно будет все-таки завтра об этом спросить доктора. А то она все чешется». Это были его последние слова — о легкой сыпи, появившейся у дочки на руках и на шее, — и после этого он исчез, а через несколько дней сыпь от цинковой мази прошла, — но не было на свете

такой мази, от которой бы стерлось воспоминание: его большой теплый лоб, размашистое движение к двери, поворот головы, «нужно будет все-таки завтра...»

Она так первые дни плакала, что прямо удивлялась, как это слезные железы не сякнут, — и знают ли физиологи, что человек может из своих глаз выпустить столько соленой воды? Тотчас приходило на память, как она с мужем купала трехлетнюю Ирму в ванночке с морской водой на террасе в Аббации, — и вдруг оказывалось, что слез осталось еще сколько угодно — можно наплакать как раз такую ванночку и выкупать ребенка, и потом щелкнуть фотографическим аппаратом, чтобы получился снимок, вот этот снимок в альбоме, посвященном младенчеству Ирмы: терраса, ванночка, блестящий толстый ребеночек и тень мужа — ибо солнце было сзади него, когда он снимал, — длинная тень с расставленными локтями, протянувшаяся по гравию.

Иногда, в минуты сравнительного покоя, она говорила себе: ну хорошо, меня бросил, но Ирму — как он о ней не подумал? И Аннелиза начинала донимать брата, правильно ли они сделали, что послали Ирму с бонной в Мисдрой, и Макс отвечал, что правильно, и уговаривал ее тоже поехать туда, но она и слышать не хотела. Несмотря на унижение, на гибель, на чувство ужаса и непоправимость, Аннелиза, едва это сознавая, ждала изо дня на день, что откроется дверь и бледный, всхлипывающий, с протянутыми руками войдет муж.

Большую часть дня она проводила в каком-нибудь случайном кресле — иногда даже в прихожей — в любом месте, где ее настигал туман задумчивости, — и тупо вспоминала ту или иную подробность супружеской жизни, и вот уже ей казалось, что муж изменял ей с самого начала, в течение всех этих девяти лет.

Макс старался занять Аннелизу как умел, приносил ей журналы и новые книги, вспоминал с нею детство, покойных родителей, старшего брата, убитого на войне. Однажды, в жаркий летний день, он повез ее в Тиргартен, там они вышли и долго бродили и с полчаса

смотрели на обезьянку, которая, улизнув от гулявшего с ней господина, забралась в самую гущу высокого вяза, откуда хозяин тщетно старался ее сманить вниз, то тихим свистом, то сверканием зеркальца, то желтизной большого банана. «Он не достанет ее, это безнадежно, она никогда не придет», — сказала наконец Аннелиза и вдруг заплакала. Они пешком возвращались домой, и было так жарко, что Макс снял пиджак, несмотря на то, что был в подтяжках. «Это нехорошо, — сказала со вздохом Аннелиза. — Нужен пояс». — «Но он не держит, — возразил Макс. — У меня живот как-то неправильно вырос». В это мгновение сестра сильно сжала ему руку. Она смотрела в сторону, на проезжавший таксомотор. Таксомотор затрубил, выпустил вправо красный язык и скрылся за угол.

## XII

В своем черном купальном трико, до раскосости коротком на ляжках и уходившем вглубь чуть выпуклым мыском, когда она, как сейчас, сдвинув вытянутые ноги, лежала навзничь, — в черном трико с белым резиновым пояском и клинообразными вырезами на боках, до самой талии, — Магда подозрительной стройностью и соразмерностью членов отличалась от двух девочек-подростков, дочек красного англичанина в полотняной шляпе, которые валялись поодаль. Кречмар, облокотясь на песок, не отрываясь, смотрел на нее, на ее руки и ноги, уже сплошь покрытые гладким солнечным лаком, на румяно-золотое лицо с облупившимся носом и только что покрашенным ртом. Откинутые со лба волосы отливали каштановым блеском, раковина маленького уха мерцала песчинками, в темноте трико сквозили еще более темные сосцы — и весь ее туго сидящий костюм с обманчивыми перехватцами и просветами, с тонкими бридочками на лоснящихся плечах, держался, как говорится, на честном слове, пережешь вот тут или тут, и все разойдется.

Кречмар высыпал из ладони горсть легкого песка на ее втянутый живот. Магда открыла глаза, замигала от солнца, улыбнулась, косясь на любовника, и зажмурилась снова.

Погодя она приподнялась и замерла в сидячем положении, обхватив колени. Теперь он видел ее голую спину, перелив позвонков, блеск приставших песчинок.

— Постой, я смахну, — сказал он. Кожа у нее была горячая, шелковая.

— Боже, — проговорила Магда. — Какое голубое море!

Оно было действительно очень голубое. Когда поднималась волна, то на ее блестящей крутизне кобальтовыми тенями отражались силуэты купальщиков. Мужчина в оранжевом халате стоял у самой воды и протирал очки. Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный, как арлекин, мяч, прыгнул с легким звоном, и Магда, мгновенно вытянувшись, поймала его и встала и бросила его кому-то. Теперь Кречмар видел ее, окруженную солнечной пестротой пляжа, которая, однако, была сейчас для него мутна, настолько пристально он сосредоточил взгляд на Магде. Легкая, ловкая, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукою в сверкающей браслетке, Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его жизнь.

Она близились, он лежал ничком и наблюдал, как передвигаются ее маленькие ступни. Магда нагнулась над ним и, весело крикнув, игривым берлинским жестомхватила его по хорошо набитым трусикам.

— Пойдем в воду! — крикнула она и побежала вперед ступая на пальцы и слегка припадая на одну ногу, — и потом, раскинув руки, уже меся воду, замедленным шагом пошла все дальше, дальше, и вот уже начала подливать к коленям кудрявая пена. Она опустила в воде на четвереньки, попробовала плыть,

но захлебнулась и быстро встала, со смехом избегая Кречмара. Ее черный костюм блестел, прилип к телу, посредине живота образовалась лунка. «Ах-ах», — дышала она, улыбаясь, плюясь и отводя мокрые волосы с глаз. Вдруг, ладонью проехав по поверхности, она окатила Кречмара, и он ответил тем же, и так они долго друг в друга шарахали ослепительной водой и громко кричали, и пожилая англичанка под зонтиком лениво сказала, обратившись к мужу: «Look at that German romping about with his daughter. Now don't be lazy take the kids out for a good swim...»<sup>1</sup>

### XIII

Потом, в цветистых халатах, они поднимались кремнистой тропой между желтых кустов утесника и дрока. Небольшая, но за крупные деньги нанятая вилла белела, как сахарная, сквозь черноту кипарисов. Через гравий перемахивали синекрылые кузнечики. Магда старалась их поймать в руку. Присев на корточки, она осторожно приближала пальцы к кобылке, но углами поднятые лапки вдруг вздрагивали, и, выпустив веерные крылья, насекомое перелетало на три сажени дальше или терялось среди чертополоха запущенного сада.

В прохладной комнате с решетчатыми отражениями жалюзи на терракотовом полу Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, и солнечные полосы от жалюзи проходили по ее телу.

Вечерами были танцы в казино. Море принимало зеркально-лиловый оттенок, и появлялся в направлении к Рагузе уже освещенный пароход. Кречмар старательно с ней танцевал, ее гладко причесанная голова едва доходила до его плеча.

---

<sup>1</sup> Взгляни вот на того немца, что возится с дочерью. Не ленись, пойди поплавай с детьми (англ.).

Очень скоро по приезде возникли новые знакомые, — итальянцы, англичане, австрийцы, — Кречмар сразу стал чувствовать гнетущую унижительную ревность, наблюдая за тем, как она тесно танцует с другим, и зная, что у нее под тонким платьем ровно ничего не надето, даже подвязок: замечательный загар заменял ей чулки. Она поднимала глаза к кавалеру и сдержанно улыбалась. Иногда Кречмар терял ее из виду и тогда вставал и, стуча папиросой о крышку портсигара, шел наугад, попадал в какую-то залу, где играли в карты, на террасу, потом в бильярдную и уже вне себя, уже уверенный, что она ему где-то изменяет, возвращался сквозь человеческий лабиринт к своему столику, и вдруг она появлялась и садилась возле него в своем нарядном переливчатом платье, которое не делало ее старше, и он, умолчав о своих опасениях, судорожно гладил ее под столом по голым коленкам, стукавшимся друг о дружку, когда она, слегка откинув стан, хохотала над смешными замечаниями австрийца.

К чести Магды следует сказать, что она прилагала все усилия, чтобы оставаться Кречмару совершенно и безусловно верной. Вместе с тем, как бы часто и основательно он ее ни ласкал, Магда уже давно чувствовала какой-то недочет, какую-то неполноту ощущения, и это нервило ее, и она вспоминала того, первого, от малейшего прикосновения которого все в ней разгоралось и вздрагивало. К несчастью, молодой австриец, лучший танцор в Сольфи, был чем-то похож на первого ее возлюбленного — сходство, неуловимое для глаза, что-то в сухом прикосновении его большой ладони, в пристальном, слегка насмешливом взгляде, в манере раздувать ноздри. Однажды между двумя танцами она оказалась с ним в темном углу сада, и была та очень банальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лунных лучей, которая так действует на всякую душу. Чешуйчатое сияние играло посреди моря, и тени олеандров шевелились на странной белизне ближней стены. «Ах, нет», — сказала Магда, чувствуя, как губы

молчаливого человека, обнявшего ее, гуляют по ее шее, по щеке, а горячие, умные руки забираются под бальное платье, надетое прямо на тело. «Ах, нет», — повторила она, но тут же закинула голову, жадно отвечая на его поцелуй, и он при этом так пронырливо ее ласкал, что она почуяла приближение еще большего удовольствия, — однако вовремя вырвалась и побежала по галерее к далекой, освещенной двери.

Этого больше не повторилось. Магда, вкусив жизни, которую ей мог дать Кречмар, жизни, полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантового солнца и пальмового ветерка, — так боялась все это мигом утратить, что не смела рисковать и даже как будто лишилась на время главного, быть может, свойства своего — самоуверенности. Самоуверенность, впрочем, сразу вернулась к ней, как только они осенью оказались опять в Берлине.

— Да, это, конечно, превосходно, — сухо сказала она, окидывая взглядом отличный номер в отличной гостинице. — Но ты понимаешь, Бруно, что это не может так продолжаться.

Кречмар поспешил ответить, что уже принял меры к снятию квартиры.

«Что он меня — дурой, что ли, считает», — подумала она с чувством сильнейшей к нему неприязни.

— Бруно, — проговорила она тихо. — Ты не понимаешь... — Она глубоко вздохнула, потом села и закрыла лицо руками.

— Ты стыдишься меня, — сказала она, глядя сквозь пальцы на Кречмара.

Он хотел обнять ее.

— Не тронь! — крикнула она, отскочив. — Я не желаю прозябать с тобой на задворках и смотреть целый день, как ты боишься выходить со мной на улицу. Нет, не смей меня трогать... Я все отлично чувствую. Если ты меня стыдишься, можешь меня бросить и вернуться к своей Лисхен, пожалуйста, пожалуйста...

— Магда, перестань, — беспомощно бормотал Кречмар.

Она бросилась на диван. Ей удалось зарыдать. Кречмар, опустившись на колени, осторожно касался ее плеча, которым она дергала всякий раз, как он приближал пальцы.

— Чего же ты хочешь? — спросил он. — А, Магда?

— Я хочу жить открыто, у тебя, у тебя, — произнесла она, захлебываясь. — На твоей собственной квартире — и видеть людей, жить вовсю...

— Хорошо, — сказал он, встав с колен.

«А через год ты на мне женишься, — подумала про себя Магда, машинально продолжая всхлипывать. — Женишься, если, конечно, я к тому времени не буду уже в Холливуде — тогда я тебя к черту пошлю».

— Умоляю тебя больше не плакать! — воскликнул Кречмар. — А то я и сам зареву.

Магда села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились, на щеке дрожала чудесная грушевидная слеза.

## XIV

Точно так же, как он теперь никогда не говорил ей об искусстве, в котором Магда не понимала ни аза, Кречмар не открыл ей мучительных чувств, которые ему довелось испытать в первые дни жизни с ней в комнатах, где он провел с женой десять лет. Всюду были вещи, напоминавшие ему Аннелизу, ее подарки ему, его подарки ей. В глазах у Фриды он прочел хмурое осуждение, а через неделю, чем-то новой госпоже не потрафив, она презрительно выслушала Магдину крикливую брань и тотчас съехала. Спальня и детская укоризненно, трогательно и чисто глядели в глаза Кречмару, особенно спальня, ибо из детской Магда живо сделала голую комнату для пинг-понга. Но спальня... В первую ночь там Кречмару все казалось, что он чует легкий запах жениного одеколона, и это втайне смущало и связывало

его, и Магда в ту ночь издевалась над его неожиданной расслабленностью.

О, как был невыносим первый телефонный звонок, звонил старый знакомый, спрашивал, весело ли было в Италии, хорошо ли поживает Аннелиза, не склонна ли она пойти в среду на премьеру с его женой? «Мы временно живем отдельно», — с трудом проговорил Кречмар («временно»... — насмешливо подумала Магда, осматривая в зеркале свою начавшую отгорать спину).

Ему доставляло невеселое развлечение наблюдать, как постепенно из вопросов знакомых исчезало упоминание о жене. Кое-кому он намекнул, что у него невеста; невестой он, впрочем, никогда не называл Магду в лицо. Слух о перемене в его жизни распространился очень быстро — и опять было ему интересно следить, как иные переставали у него бывать, иные, напротив, были чересчур любезны с ним и с Магдой, а некоторые старались сделать вид, точно ничего не случилось. Были наконец и такие, которые по-прежнему радовались видеть его, но как-то так выходило, что бывали они у него неизменно без своих жен, ставших до странности болезненными.

Он скоро освоился с присутствием Магды в этих полных воспоминаний комнатах, и это происходило оттого, что стоило ей переменить извечное положение любого незаметнейшего предмета, как данная комната сразу лишалась знакомой души, воспоминание испарялось навсегда. И к зиме прошлое вымерло вовсе в этих двенадцати комнатах, — и квартира была, может быть, очень хороша, но уже ничего общего не имела с той, в которой он жил с Аннелизой.

Однажды, когда в поздний час после бала он Магду купал (так водилось у них), она, сидя в надушенной ванне и поднимая на кончике ноги набухшую губку, спросила, не думает ли он, что из нее вышла бы фильмовая актриса. Он засмеялся, ничего уже не соображая от предчувствия близкого наслаждения, сказал: «Конечно, еще бы», — и Магда наконец вы-

лезла, он, торопясь, завернул ее в мохнатую простыню, растер и понес в спальню.

Через несколько дней она опять вернулась к этой теме, причем выбрала минуту, когда у Кречмара ясней работала голова. Он порадовался ее любви к кинематографу и, думая ее заинтересовать, стал развивать перед ней некоторые излюбленные свои теории о фильме немой и о фильме говорунье. «Как снимаются?» — спросила она, перебив его на полслове. Он предложил как-нибудь ее повести в ателье, все показать, все объяснить. С этого и началось.

«Что я делаю, стоп, стоп», — как-то сказал он себе, вспомнив, что накануне обещал финансировать фильму, затеянную режиссером средней руки, при условии, что Магде дана будет вторая женская роль, роль покинутой невесты. «Нехорошо, — продолжал он мысленно. — Там всякие матовые актеры, всякое женолюбивое хамье, и выйдет глупо, если я буду ходить за ней по пятам. А с другой стороны, ей необходима какая-нибудь забава, и меньше будет шатаний по кабакам, если ей придется встать спозаранку».

Думать было поздно — уже договор был заключен, — и скоро начались репетиции. Магда первое время возвращалась крайне злой и раздраженной, жаловалась, что ее заставляют повторять одно и то же движение по сто раз, что режиссер на нее орет, что она слепнет от света огромных ламп. Ее утешало, что исполнительница главной роли, Дорианна Каренина (та самая, которая год тому назад была написана с Чипи в руках), относится к ней очаровательно, хвалит ее, предсказывает чудеса («дурной знак», — подумал Кречмар).

Она потребовала, чтобы он не присутствовал на съемках, это, мол, стесняет ее, да и сюрприза не выйдет, если все будет известно заранее. Зато дома он не раз подсматривал, чрезвычайно умиляясь, как она перед трюмо принимает томно-трагические позы. Заметив его, она топала ногой, и он клялся, что ничего не видел. Он отвозил ее в ателье, потом за ней заезжал,

однажды ему сказали, что это продолжится еще два часа, и он отправился погулять и невзначай попал в район, где жил Макс, внезапно ему страстно захотелось увидеть издали дочку — в это время она возвращалась из школы. Ему вдруг показалось, что вон там она идет с подругами, он почувствовал страх и быстро ушел.

В этот день Магда вышла из ателье розовая, смеющаяся; съемки подходили к концу, и нынче ей не было сделано ни одного замечания, и она играла, как еще никогда.

— Знаешь что? — сказал Кречмар. — Я Дорианну приглашаю на ужин. Да, большой ужин, интересные гости. Сегодня утром мне звонил один известный художник, вернее, знаешь, карикатурист, который, знаешь, делает карикатуры. Это он выдумал Чипи, которую ты так любишь. Он только что приехал из Америки, и, говорят, он очень, очень занятый. Я и его пригласил.

— Только я буду сидеть рядом с тобой, — сказала Магда, — а то прошлый раз...

— Хорошо, но помни, мое сокровище, я не хочу, чтобы все знали, что ты у меня живешь.

— Ах, это все знают, — сказала Магда и вдруг нахмурилась.

— Ты пойми, — продолжал Кречмар, — это ведь тебе неловко, а не мне. Мне-то, конечно, все равно, я условностей не люблю, так что ты, Магдочка, опять, как прошлый раз, сделай, пожалуйста, для себя же.

— Но это глупо... И главное, вообще эти неприятности можно было бы избежать.

— То есть как — избежать?

— Если ты не понимаешь... — начала она («когда же, собственно, он наконец заговорит о разводе?»).

— Будь благоразумна, — сказал Кречмар примирительно. — Ты подумай, я делаю все, что ты хочешь, — вот теперь, с этой фильмой, ну, Магда, ну, моя дорогая...

Все было как следует: на японском подносе в прихожей лежало некоторое число записок: Доктор Ламперт — Марго Денис, Роберт Горн — Магда Петерс, фон-Коровин — Ольга Вальдгейм и т. д. Недавно поступивший буфетчиком рослый пожилой мужчина с лицом английского лорда (так, по крайней мере, находила Магда, иногда останавливавшая на нем взгляд, не лишенный легкой задумчивости) величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В угловой гостиной было уже пять человек гостей, не считая Магды. Вот явился Коровин — «фон»-Коровин. Он был худощав, носил монокль и говорил по-немецки превосходно. Опять заминка — и явился писатель Брюк, толстый, румяный человек в потрепанном смокинге, с женою, стареющей, хорошо сложенной дамой, в свое время плававшей в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей. Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, полногрудая певица с абрикосовыми волосами, сладкозвучно и забавно рассказывала о своих ангорских кошках, которых у нее было полдюжины. Кречмар стоял подбоченься и, через белый бобрик старого Ламперта (врача и меломана), посматривал на Магду: черное с тюлем платье очень ей шло, на груди был большой бархатно-оранжевый цветок, она сдержанно и туманно улыбалась, и в глазах у нее было особое ланье выражение — признак, что она ни слова не понимает из того, что ей говорит Ламперт о музыке Гиндемита. Вдруг Кречмар заметил, что она жарко покраснела и встала. «Боже мой, какая глупенькая... Зачем так вскакивать». Входило сразу несколько человек: Дорианна Каренина, Горн, актер Штаудингер, двое молодых писателей... Дорианна обняла Магду, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача «Какая глупенькая, — подумал он опять, — так преклоняться перед этой бездарной кобылой». Дорианна, впрочем, была прекрасна, она сла-

вилась своими плечами, джиокондовой улыбкой и хриплым голосом.

Кречмар шагнул к Горну, который, по-видимому, не зная, кто здесь хозяин, потирал руки, как будто их намыливал.

— Я очень рад вас видеть у себя, — сказал Кречмар. — Знаете, я вас представлял совсем не таким, я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. Господа, это создатель Чипи. Пожаловал к нам из Америки.

Горн, продолжая намыливать ладони, стоял и делал маленькие кивки.

— Садитесь, — сказал Кречмар. — Вы, говорят, к нам в Берлин ненадолго?

— Как это было немило, — хриплым басом сказала Дорианна Каренина, — что вы не позволили мне появиться на людях с моей любимой игрушкой!

— То-то, я все смотрю: знакомое лицо, — ответил Горн, берясь за стул рядом с Магдой.

Взгляд Кречмара опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке — художнице Марго Денис — и, странно улыбаясь, со слезами на глазах, необычно быстро говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень груди. «Боже мой, что она говорит!» Лихорадочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, Магда несла совершенную окоlesiцу и все время прижимала ладонь к пылающей щеке.

— Мужская прислуга меньше ворует, — лепетала она. — Конечно, картину нельзя унести. Но все-таки... Я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин...

— Фрейлейн Петерс, — с мягкой улыбкой обратился к ней Кречмар, — я хочу вам представить создателя знаменитого зверька.

Магда судорожно обернулась и сказала:

— Ах, здравствуйте! — (К чему эти ахи, ведь об этом не раз говорилось...) Горн поклонился, сел и спокойно обратился к Кречмару:

— Я читал вашу превосходную статью о Себастиано дель Пиомбо. Вы напрасно только не привели его сонетов, — они прескверные, — но как раз это и пикантно.

Магда вскочила и быстро, чуть ли не вприпрыжку, пошла навстречу последней гостье, высокой и высокшей даме, похожей на общипанную орлицу. Магда с ней ездила в манеже.

Стул ее оказался пустым, на него пересела чернобровая, армянского типа Марго Денис и обратилась к Горну:

— Я вам ничего не скажу о Чипи — Чипи, должно быть, набил вам оскомину, я это очень хорошо понимаю. А вот что — как вы оцениваете работы Кумминга, я имею в виду его последнюю серию, виселицы и фабрики, знаете?

Раскрылись двери в столовую. Мужчины стали глазами искать своих дам. Горн немножко отстал и озирался. Кречмар, уже взяв под руку Дорианну, тоже посмотрел, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую па. «Ныне она не в ударе», — подумал Кречмар и передал свою даму Горну.

Уже за омаром разговор в том конце стола, где сидели Дорианна, Горн, Магда, Кречмар, Марго Денис, сделался громким, но каким-то разнобоким. Магда сразу выпила немало белого вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами глядя прямо перед собой. Горн, не обращая внимания ни на нее, ни на Дорианну, имя которой его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Брюком о приемах художественной изобразительности. Он говорил:

— Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что о баядерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях, — все это очень напряженно, очень пряно, сплошная, одним словом, тайна востока, — но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкост-

лицы от всех этих восточных сладостей. Иной же беллетрист говорит всего два слова об Индии: я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес (плесень, сударыня, — объяснил он Дорианне, которая поднимала одну бровь), — и сразу Индия для меня как живая, — остальное я уже сам, я уже сам воображу.

— Йоги, — сказала Дорианна, — делают удивительные вещи. Они умеют так дышать, что...

— Но позвольте, господин Горн, — взволнованно кричал Брюк, написавший только что роман, действие коего протекало на Цейлоне, — нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял. Если я описываю, например, плантацию, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны, со стороны эксплуатации, жестокости белого колониста. Таинственная, огромная мощь востока...

— Вот это и скверно, — сказал Горн.

Магда коротко рассмеялась, глядя прямо перед собой. Это уже случалось второй или третий раз. Кречмар, обсуждая с Марго Денис последнюю выставку, искоса наблюдал за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погодя он заметил, что она хлебает из его бокала. «Какая-то она сегодня особенно детская», — подумал он и под столом коснулся ее колена.

Магда некстати засмеялась и швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта.

— Я не знаю, господа, как вы относитесь к Зегелькранцу, — сказал Кречмар, проникая в разговор между Горном и Брюком. — По-моему, некоторые его новеллы прекрасны, хотя, правда, он иногда теряется в лабиринтах сложной психологии. Когда-то в молодости я часто встречался с ним, он тогда любил писать при свечах, и вот, мне кажется, что его манера...

После ужина сидели в мягких креслах, до тошноты курили. Магда появлялась то тут, то там, и за ней покорно следовал один из молодых писателей, и потом она ему папиросой обжигала руку, и он, покрывшись испариной, героически улыбался и просил еще. Горн

в углу тихо поссорился с Брюком и, подсев к Кречмару, принялся ему описывать Берлин да так хорошо, что Кречмар заслушался.

— Я думал, что вы с детства не бывали здесь, — сказал он Горну. — Мне очень жаль, что случай нас не свел раньше.

Наконец прошла по гостям та волна — сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, — которая в несколько минут очищает дом под возгласы прощальных приветствий. Кречмар остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма. Он распахнул окно, хлынула черная морозная ночь. Он увидел, как далеко внизу, на тротуаре, друг с другом прощались гости, как отъезжал автомобиль Брюка, — он расслышал звонкий гортанный голос Магды... «Не очень удачный вечер», — почему-то подумал Кречмар и, зевая, отошел от окна.

## XVI

— Однако, — сказал Горн, когда он с Магдой завернул за угол. — Однако, — повторил он. — Признаюсь, — добавил он через полминуты, — что никак не надеялся так легко тебя разыскать.

Магда семенила рядом, плотно запахнувшись в котиковое пальто. Горн взял ее под локоть и заставил ее остановиться.

— Я прямо глазам своим не поверил. Как ты попала туда? Посмотри же на меня. Ты, знаешь, стала такой красавицей...

Магда вдруг всхлипнула и отвернулась. Он потянул ее за рукав — она отвернулась еще круче, они закружились на месте.

— Брось, — сказал он. — Ответь мне что-нибудь! Как тебе удобнее — ко мне или к тебе? Да что ты, право, как немая?

Она вырвалась и быстро пошла назад, к углу. Горн последовал за ней.

— Какая ты все-таки дрянь, — проговорил он неопределенно.

Магда ускорила шаг. Он снова настиг ее.

— Пойдем же ко мне, дура, — сказал Горн. — Вот смотри... — Он вынул бумажник.

Магда ловко и точно ударила его наотмашь по лицу.

— Кольца у тебя колючие, — проговорил он спокойно и продолжал за ней идти следом, торопливо роясь в бумажнике.

Магда добежала до подъезда, начала отпирать дверь. Горн протянул ей что-то, но вдруг поднял брови.

— Ах, вот оно что, — проговорил он, с удивлением узнав подъезд, из которого они только что вышли.

Магда, не оглядываясь, толкала дверь.

— Возьми же, — сказал он грубо. И так как она не брала, сунул то, что держал, ей за меховой воротник. Дверь бухнула ему в лицо. Он постоял, взял в кулак нижнюю губу, несколько раз задумчиво ее потянул и погода двинулся прочь.

Магда в темноте добралась до первой площадки, хотела подняться выше, но вдруг ослабела, опустилась на ступеньку и так зарыдала, как, пожалуй, еще не рыдала никогда, — даже тогда, когда он ее покинул. Что-то касалось ее шеи, она закинула руку, как бы что-то стирая с затылка, и нащупала бумажку. Она встала со ступени и, тонко скуля, нащупала кнопку, нажала, ударил свет, — и Магда увидела, что у ней в руке вовсе не американская ассигнация, а листок ватманской бумаги, на котором слегка смазанный карандашный рисунок — девочка, видная со спины, лежащая боком на постели, в рубашке, задравшейся на ляжке и сползавшей с плеча. Она посмотрела на испод и увидела чернилами написанную дату. Это был тот день, месяц и год, когда он покинул ее. Недаром он велел ей не оглядываться и легонько шуршал. Неужели прошло с тех пор всего только четырнадцать месяцев?

Тут со стуком потух свет, и Магда, прислонясь к решетке лифта, зарыдала снова. Она плакала о том, что он тогда ее бросил, о том, что она могла бы теперь

уже больше года быть с ним счастливой, если б удалось его тогда удержать, — она плакала о том, что, останься он с ней, она избежала бы японцев, старика, Кречмара, — и еще она плакала о том, что давеча, за ужином, Горн трогал ее за правое колено, а Кречмар — за левое, словно справа был рай, а слева — ад.

Она высморкалась, пошарила в темноте, опять нажала на кнопку. Свет ее немного успокоил. Она еще раз посмотрела на рисунок, подумала, решила, что, как он ни дорог ей, хранить его опасно, и, разорвав бумажку на клочки, бросила их сквозь решетку в лифтовый колодец, и это почему-то напомнило ей раннее детство. Затем она вынула зеркальце, напудрила кругообразным движением лицо, сильно натянув верхнюю губу, и, суя пудреницу в сумку, быстро побежала наверх.

— Отчего так долго? — спросил Кречмар. Он уже был в пижаме.

Магда объяснила, что никак не могла отделаться от старичка Ламперта, который непременно хотел ее усадить в автомобиль и подвезти.

— Как у моей красавицы глаза блестят, — бормотал он, дыша на нее вином. — Какая она у меня усталая, пышущая...

— Нет, сегодня ничего не будет, — тихо возразила Магда. — Оставь, оставь, я сегодня не могу.

— Магда, пожалуйста, — протянул Кречмар. — Я умоляю тебя, я так сейчас мечтал — вот ты придешь. Я так люблю, когда ты немножко пьяная...

— Там будет видно. Сперва я хочу кое о чем тебя, Бруно, спросить. Скажи, ты уже начал хлопотать о разводе?

— О разводе? — повторил он глуповато.

— Я иногда не понимаю тебя, Бруно. Ведь нужно это все как-то оформить. Или ты, может быть, думаешь через некоторое время бросить меня и вернуться к Лисхен?

— Бросить тебя?

— Что ты за мной, идиот, все повторяешь? Нет, пожалуйста, прежде чем лезть ко мне, объясни толком.

— Хорошо, хорошо, — сказал он. — Я в понедельник поговорю с моим поверенным.

— Наверное? Ты обещаешь?

Он кивнул и жадно обнял ее. Магда, стиснув челюсти, честно попробовала покориться, но, помимо воли, вдруг начала похохатывать, будто от щекотки, и это перешло в истерический припадок: «Ты же видишь, я сегодня не могу, я устала», — вскрикивала она и застучала зубами о край стакана, который Кречмар испуганно ей совал.

## XVII

Роберт Горн был в довольно странном положении. Талантливейший карикатурист, создатель модного зверька, он года два-три тому назад разбогател чрезвычайно, а ныне, исподволь и неуклонно, возвращался если не к нищете, то во всяком случае к заработкам очень посредственным. Таланта своего он отнюдь не утратил — более того, он рисовал тоньше и тверже, чем прежде, — но что-то неуловимое случилось в отношении к нему со стороны публики — в Америке и в Англии Чипи надоела, приелась, уступила место другой твари, созданию удачливого коллеги. Эти зверьки, эти куклы — сущие эфемеры. Кто помнит теперь черного, как сажа, голливого в вороном ореоле дыбом стоящих волос, с пуговицами от портов вместо глаз и красным байковым ртищем?

Если, вообще говоря, дар Горна только укрепился, то по отношению к Чипи он несомненно иссяк. Последние его портреты морской свинки были слабы. Он почувствовал это и решил Чипи похоронить. Заключительный рисунок изображал лунную ночь, могилку и надгробный камень с короткой эпитафией. Кое-кто из иностранных издателей, еще не почуявших обреченности Чипи, встревожился, просил его непременно продолжать. Но он теперь испытывал непреодолимое отвращение к своему детищу. Чипи, ненадежная Чипи, успела засло-

нить все другие его работы, и это он ей не мог простить.

Деньги, шедшие к нему самотеком, так же от него и уходили. Будучи человеком азартным и большим мастером по части блефа, он из всех карточных игр ставил выше всего покер и в покер мог играть двадцать четыре часа подряд, а то и дольше. Ему, изощренному сновидцу (ибо видеть сны — тоже искусство), чаще всего снилось следующее: он собирает в пачечку сданные ему пять карт (что за лоснистая, ярко-красная у них рубашка), смотрит первую — шут в колпаке с бубенчиками, волшебный джокер; затем осторожным и легким давлением большого пальца обнажает край, только край, следующей — в уголку буква «А» и малиновое сердечко; затем — край следующей, опять «А» и черный клеверный листик (брелан обеспечен); затем — та же буква и малиновый ромбик (однако, однако), в пятый раз; наконец, выдвигается карта напором пальца — Боже мой! туз пик... Это было волшебное мгновение. Он поднимал голову, начинались крупные ставки, он спокойно выпихивал на середину стола холодную кучу разноцветных фишек и с покерным, невозмутимым лицом просыпался.

Так он проснулся зимним утром после ужина у Кречмара. Первая мысль его была о Магде, вторая: нужны деньги. Состояние его души было как раз обратным тому, какое было у него при отъезде из Америки. Тогда на первом месте было желание подальше оставить за собой неоплаченные, неоплатимые долги; на втором же — мысль, что удастся, быть может, разыскать берлинскую девчонку, встреченную во время короткого пребывания на родине.

Любовные свои приключения Горн вспоминал без неги. За эти пятнадцать лет, то есть с тех пор, как он, юношей, накануне войны (очень удачно избегнутой) прибыл из Гамбурга в Америку, за эти пятнадцать лет Горн ни в чем не отказывал своему женолюбивому нраву, но как-то так выходило, что единственным прекрасным и чистым воспоминанием оказывалась

Магда, — что-то было такое милое и простенькое в ней, за этот последний год вспоминал он ее очень часто и с чувствительной грустью, которой до тех пор он был чужд, посматривал на сохраненный им быстрый карандашный эскиз. Это было даже странно, ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый карикатурист. Начал он с того, что в Гамбурге беспечно оставил нищую, полоумную мать, которая на другой же день после его бегства в Америку упала в пролет лестницы и убилась насмерть. Точно так же, как он в детстве обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали как метеоры, Горн и в зрелые годы постоянно добывал пищу для удовлетворения своего любопытства — да, это было только любопытство, остроумные забавы, рисунки на полях, комментарии к его искусству. Ему нравилось помогать жизни окарикатуриться, — спокойно наблюдать, например, как жеманная женщина, лежа в постели и томно улыбаясь спросонья, доверчиво и благородно поедает пахучий паштет, который он ей принес, — паштет, только что составленный им же из мерзейших дворовых отбросов. Войдя в лавку восточных тканей, он незаметно бросал тлеющий окурок на сложенный в углу шелковый товар и, одним глазом глядя на старика еврея, с улыбкой нежности и надежды разворачивающего перед ним за шалью шаль, другим наблюдал, как в углу лавки язва окурка успела проесть дорогой шелк. Этот контраст и был для него сущностью карикатуры. Очень забавен, конечно, анекдотический ученик, который, чтобы остановить и этим спасти великого мастера, обливает из ведра только что оконченную фреску, заметив, что мастер, щурясь и пятясь с кистью в руке, сейчас дойдет до конца площадки и рухнет с лесов в пропасть храма, — но насколько смешнее спокойно дать великому мастеру вдохновенно допятиться... Самые смешные рисунки в журналах именно и основаны на этой тонкой жестокости с одной стороны и глуповатой доверчивости — с другой: Горн, бездейственно

глядевший, как, скажем, слепой собирается сесть на свежевыкрашенную скамейку, только служил своему искусству.

Все это не относилось к чувствам, возбужденным в нем Магдой. Тут и в художественном смысле живописец в Горне торжествовал над зубоскалом. Он даже стыдился своей нежности к ней и, собственно говоря, бросил-то Магду потому, что боялся слишком к ней привязаться.

Прежде всего следовало установить, живет ли она у Кречмара или только приходит к нему ночевать. Горн посмотрел на часы. Полдень. Горн посмотрел в бумажник. Пусто. Горн оделся, вышел из дорогого отельного номера и пешком направился к Кречмару. Палал мягкий отвесный снег.

Сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке. Но когда тот, вытерев ноги о мат, поднял лицо, Кречмар обрадовался чрезвычайно. Ему вчера не только понравился разговор Горна, острота суждений и резкий поворот всех мыслей, — понравилась ему и наружность Горна — это чернобровое, белое, как рисовая пудра, лицо, впалые щеки, воспаленные губы, копна мягких черных волос — урод уродом, сложенный, впрочем, великолепно и одетый с небрежной американской нарядностью. «Оригинальные черты», — снова подумал он и с большим удовольствием вспомнил, что Магда, обсуждая только что вчерашний ужин, сказала: «У этого твоего художника отталкивающая морда — вот кого я ни за какие шиши не согласилась бы поцеловать». Любопытно было и то, что сказала о нем Дорианна.

Горн извинился, что явился незванный, и Кречмар, смеясь, усадил его в кресло.

— Должен признаться, — продолжал Горн, — что вы один из немногих людей в Берлине, с которым мне хочется поближе познакомиться. В Америке мужчины дружатся легче и веселее, чем здесь, — я там привык не стесняться, простите, если я вас шокирую... Но,

пожалуйста, — продолжал он, — уберите эту... эту... морскую свинью с дивана, спрячьте, уничтожьте, это — единственная вещь в вашем доме, которая для меня неприемлема. Кстати, разрешите мне рассмотреть поближе ваши картины — вон там, кажется, что-то хорошее.

Кречмар повел его по комнатам; в каждой было какое-нибудь замечательное полотно. Горн, глядя на картину, слегка откидывался, вытянув вдоль живота руки и держа себя за кисть. В течение их прогулки пришлось пройти через коридор. В это мгновение из ванны выскочила в пестром халате Магда. Она побежала в глубь коридора и чуть не потеряла туфлю.

— Сюда, — сказал Кречмар, смущенно посмеиваясь, и Горн последовал за ним в библиотечную.

— Если я не ошибаюсь, — сказал он с улыбкой, — это была фрейлейн Петерс, — она ваша родственница?

«Чего тут дурака валять, — быстро подумал Кречмар. — Этому остроглазому человеку наплевать на условности».

— Моя любовница, — ответил он вслух, впервые назвав так Магду в разговоре с посторонним.

Он предложил Горну отобедать, и тот бодро согласился. Магда вышла к столу томная, но спокойная — чувство чего-то потрясающего, невероятного, чувство, с которым она вчера едва справилась, нынче смягчилось и засквозило счастьем. Сидя между двух этих мужчин, она чувствовала себя главной участницей таинственной и страстной фильмовой драмы и старалась вести себя подобающим образом, чуть-чуть улыбаясь, опускала ресницы, нежно клала ладони Кречмару на рукав, прося его передать ей фрукты, и скользящим, так называемым «безразличным» взглядом окидывала прежнего своего любовника. «Теперь уж я его не отпущу», — вдруг подумала она и судорожно повела лопатками.

Горн говорил об Америке, о тихой, старомодной американской провинции, о больших озерах, о любопытном обряде погребения у индейцев. Изредка он

поглядывал на Магду, и она, как все женщины, машинально проверяла глазом и даже легким движением пальцев то место своего платья, которое на миг затронуло его взгляд.

— А мы скоро увидим кое-кого на экране, — сказал Кречмар, подмигнув, — и Магда надула свои мягкие розовые губы и слегка хлопнула его по руке.

— Вы актриса? — сказал Горн. — Вот как. Где же вы снимаетесь?

Она объяснила, не глядя на него и испытывая большую гордость от того, что он оказался известным художником, а она — фильмовой дивой, и оба как бы стоят теперь на одном уровне.

Горн ушел сразу после обеда, прикинул мысленно, чем заняться, и отправился в игорный клуб. Через день он позвонил Кречмару, и они вдвоем побывали на выставке картин. Еще через день Горн у него ужинал, а затем как-то забежал ненароком, но Магды не было дома, и ему пришлось удовольствоваться задушевной беседой с Кречмаром. Горн начинал сердиться. Наконец судьба над ним сжалилась. Это случилось на матче хоккея в Спорт-Паласе.

Когда они втроем пробирались к ложе, Кречмар в десяти шагах от себя заметил затылок Макса и косичку дочери. Вышло неожиданно, и глупо, и страшно; он в первое мгновение совершенно потерялся и, неловко повернувшись, сильно толкнул боком Магду.

— Полегче! — сказала она довольно резко.

— Вот что, — проговорил Кречмар, — вы садитесь, закажите что-нибудь, а я должен пойти позвонить по телефону, — совсем вылетело из головы.

— Пожалуйста, не уходи, — сказала Магда и встала.

— Ах, это необходимо, — продолжал он, сутулясь, стараясь сделаться меньше и мучительно спрашивая себя: Ирма видит меня или не видит? — Необходимо... Если меня задержат, не взыщи. Извините, пожалуйста, господин Горн.

— Я прошу тебя остаться, — тихо повторила Магда.

Но, не обратив внимания на ее странный взгляд, на румянец, на подергивание губ, он еще больше сгорбился и поспешно протискался к выходу.

— Наконец-то, — торжественно сказал Горн.

Они сидели рядом за чисто накрытым столиком, и внизу, сразу за барьером, ширилась огромная ледяная арена. Играла музыка. Пустынный еще лед отливала маслянисто-сизым блеском.

— Теперь ты понимаешь? — вдруг спросила Магда, сама едва зная, что спрашивает.

Горн хотел было ответить, но тут вся исполинская зала затрепала рукоплесканьями. Он завладел под столом ее маленькой горячей рукой. Магда почувствовала опять, как тогда, на улице, приступ слез, но руки не отняла.

На лед вылетела женщина в красном, описала изумительный круг и сделала пируэт. Ее блестящие коньки скользили молниевидно и резали лед с мучительным звуком.

— Ты меня бросил, — начала Магда.

— Да, но я же вернулся. Не реви. Посмотри, как она пляшет. Ты давно с ним?

Магда заговорила, но опять поднялся гул; она облокотилась на стол и некоторое время сидела, закрывшись рукой и закусив губу.

— А вот и они, — задумчиво проговорил Горн.

Переливалось шумное волнение. На лед плавно выехали игроки, сперва шведы, потом немцы. Очень хорош был голкипер в толстом своем свэтере и с огромными кожаными щитами на голених.

— ...он собирается с ней разводиться. Ты понимаешь, как ты появился некстати...

— Какая чушь. Неужели ты думаешь, что он женится на тебе!

— А ты вот помешай, тогда не женится.

— Нет, Магда, он этого никогда не сделает.

— А я тебе говорю, что сделает.

Они тут же поссорились, но шевелили губами неслышно, так как было кругом шумно — захлебываю-

щийся, радостный человеческий лай. Там, на льду, изогнутые палки подцепляли проворно скользящий пласток, передавали его друг дружке, с размаху били по нему или подкатывали его, — игроки летели во весь опор, то разбегаясь вдруг концентрическими кругами, то соединяясь опять, — и голкипер, весь собравшись, сжавши так ноги, что щиты сливались в одну поверхность, упруго ездил на месте, выглядывая, куда придется удар.

— ...это ужасно, что ты вернулся. Ты же, по сравнению с ним, нищий. Боже мой, теперь, я знаю, все будет испорчено.

— Пустяки, пустяки, мы будем крайне осторожны.

— Знаешь что, — сказала Магда, — увези меня отсюда. У меня голова трещит от этого гула, я не могу. Он, видно, уже не вернется, а если вернется, черт с ним.

— Пойдем ко мне, не будь душой. Только на часок.

— Ты с ума сошел. Я рисковать не намерена. Я обрабатываю его около года, и только теперь договорились до развода. Неужели я стану рисковать?

— Он не женится, — сказал Горн убежденно.

— Ты меня отвезешь домой или нет? — спросила она и быстро подумала: «В автомобиле поцелую».

— Скажи, как ты вынюхала, что у меня нет денег?

— Ах, это видно по твоим глазам, — сказала она и прижала к ушам ладони, так как шум поднялся нестерпимый, — забили гол, шведский вратарь лежал на льду, выбитая палка, тихо крутясь, скользила в сторону, словно потерянное весло.

— Не понимаю, зачем ты откладываешь, Магда. Это случится неизбежно — нечего терять золотое время.

Они вышли из ложи. Магда вдруг покраснела и сдвинула брови. На нее смотрел толстый темноглазый господин — взгляд его выражал отвращение. Рядом с ним сидела девочка и, уставившись в огромный, черный бинокль, следила за возобновившейся игрой.

— Обернись, — сказала Магда своему спутнику. — Видишь этого толстяка и девочку, вон там, видишь?

Это его шурин и дочка. Понимаю, почему мой трус улизнул, жалко, что я не заметила раньше. Толстяк меня раз выругал девкой. Если б его кто-нибудь избил...

— А ты еще говоришь о браке, — сказал Горн, идя за ней вниз по лестнице. — Никогда он не женится. Поедем сейчас ко мне, ну на полчаса. Не хочешь? Ах, ладно, ладно. Я просто так. Я тебя отвезу, только помни, что у меня нет мелочи.

## XVIII

Макс проводил ее взглядом: у добрейшего этого человека чесались руки. Он подивился, кто ее спутник, и где Кречмар, и долго еще поглядывал с опаской по сторонам, боясь вдруг увидеть не только Магду, но и Кречмара. Было большое облегчение, когда кончилась игра и можно было Ирму увезти. «Ничего не скажу Аннелизе», — решил он, когда приехали домой. Ирма была молчалива — только кивала и улыбалась на вопросы матери.

— Самое удивительное, как они не устают так бегать по льду, — сказал Макс.

Аннелиза задумчиво взглянула на него, потом обратилась к дочке:

— Спать, спать.

— Ах, нет, — сонно сказала Ирма.

— Что ты, полночь. Как же можно!

— Скажи, Макс, — спросила Аннелиза, когда девочку уложили, — у меня почему-то чувство, что произошло там что-то, мне было так беспокойно дома. Макс, скажи мне?

Он смутился. После размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность.

— Никаких встреч? — настаивала она. — Наверное?

— Ах, перестань. Откуда ты взяла?

— Я всегда этого боюсь, — сказала она тихо.

На другое утро Аннелиза проснулась оттого, что бонна вошла в комнату, держа в руке градусник.

— Ирма больна, сударыня, — объявила она с улыбкой. — Вот — тридцать восемь и пять.

— Тридцать восемь и пять, — повторила Аннелиза, а в мыслях мелькнуло: «Ну вот, недаром я вчера беспокоилась».

Она выскочила из постели и поспешила в детскую. Ирма лежала навзничь и блестящими глазами глядела в потолок.

— Там рыбак и лодка, — сказала она, показывая движением бровей на потолок, где лучи лампы (было еще очень рано, и шел снег) образовали какие-то узоры.

— Горлышко не болит? — спросила Аннелиза, поправляя одеяло и глядя с беспокойством на остренькое лицо дочери.

— Боже мой, какой лоб горячий! — воскликнула она, откидывая со лба Ирмы легкие, бледные волосы.

— И еще тростники, — тихо проговорила Ирма, глядя вверх.

— Надо позвонить доктору, — сказала Аннелиза, обратившись к бонне.

— Ах, сударыня, нет нужды, — возразила та с неизменной улыбкой. — Я дам ей горячего чаю с лимоном, аспирина, укрою. Все сейчас больны гриппом.

Аннелиза постучала к Макс, который брился. Так, с намыленными щеками, он и вошел к Ирме. Макс постоянно умудрялся порезаться — даже безопасной бритвой, — и сейчас у него на подбородке расплылось сквозь пену ярко-красное пятно.

— Земляника со сливками, — томно и тихо произнесла Ирма, когда он нагнулся над ней.

— Она бредит! — испуганно сказал Макс, обернувшись к бонне.

— Ах, какое, — сказала та преспокойно. — Это про ваш подбородок.

Врач, обыкновенно лечивший у них с тех пор, как родилась Ирма, оказался в отъезде, и Аннелиза не обратилась к его заместителю, а вызвала другого доктора, который в свое время бывал у них в гостях и слыл превосходным интернистом. Доктор явился под вечер, сел на край Ирминой постели и, глядя в угол, стал считать ее пульс. Ирма рассматривала его белый бобрик, обезьянье ухо, извилистую жилку на виске.

— Так-с, — произнес он, посмотрев на нее поверх очков. Он велел ей сесть. Аннелиза помогла снять рубашку. Ирма была очень беленькая и худенькая. Доктор стал трамбовать ее спину стетоскопом, тяжело дыша и прося ее дышать тоже.

— Так-с, — сказал он опять. Наконец после еще некоторых манипуляций, он разогнулся, и Аннелиза повела его в кабинет, где он сел писать рецепты.

— Да, грипп, — сказал он. — Повсеместно. Вчера даже отменили концерт. Заболели и певица и ее аккомпаниатор.

На другое утро температура слегка понизилась. Зато Макс был очень красен, поминутно сморкался, однако отказался лечь и даже поехал к себе в контору. Бонна тоже чихала.

Вечером, когда Аннелиза вынула теплую стеклянную трубочку из-под мышки у дочери, она с радостью увидела, что ртуть едва перешла через красную черточку жара. Ирма пощурилась от света и потом повернулась к стенке. В комнате потемнело. Было тепло, уютно, немножко сумбурно. Она вскоре заснула, но проснулась среди ночи от ужасно неприятного сна. Хотелось пить. Ирма нащупала на столике рядом стакан с лимонадом, выпила, чмокая и поглатывая, и поставила обратно, почти без звона. В спальне было как будто темнее, чем обыкновенно. За стеной надрывно и как-то восторженно храпела бонна. Ирма послушала этот храп, потом стала ждать рокота электрического поезда, который как раз вылезал из-под земли неподалеку от дома. Но рокота все не было. Вероятно, поезда уже не шли. Она лежала с открытыми глазами,

и вдруг донесся с улицы знакомый свист на четырех нотах. Так свистал ее отец, когда вечером возвращался домой, — просто предупреждал, что сейчас он и сам появится, и можно велеть подавать. Ирма отлично знала, что это сейчас свищет не отец, а странный человек, который вот уже недели две, как повадился ходить в гости к даме, жившей наверху, — Ирме поведала об этом дочка швейцара и показала ей язык, когда Ирма резонно заметила, что глупо приходиться так поздно. Самое удивительное и таинственное, однако, было то, что он свистал точь-в-точь как отец, но об этом не следовало распространяться: отец поселился отдельно со своей маленькой подругой — это Ирма узнала из разговора двух знакомых дам, спускавшихся по лестнице. Свист под окном повторился. Ирма подумала: «Кто знает, это может быть все-таки отец, и его никто не впускает, и говорят нарочно, что это чужой». Она откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну. По дороге она толкнула стул, но бонна продолжала трубить и клокотать, как ни в чем не бывало. Когда она открыла, пахло чудесным морозным воздухом. На мостовой стоял человек и глядел вверх. Она довольно долго смотрела на него — к ее большому разочарованию, это не был отец. Человек постоял, потом повернулся и ушел. Ирме стало жалко его — надо было бы собственно открыть ему, — но она так закоченела, что едва хватило сил запереть окно. Вернувшись в постель, она никак не могла согреться, и когда наконец заснула, ей приснилось, что она играет с отцом в хоккей, и отец, смеясь, толкнул ее, она упала спиной на лед, лед колет, а встать невозможно.

Утром у нее было сорок и три десятых, и доктор, которого тотчас вызвали, велел немедленно облечь ее в тугую компресс. Аннелиза вдруг почувствовала, что сходит с ума, что судьба просто не имеет права так ее мучить, и решила не поддаваться и даже улыбалась, когда прощалась с доктором. Перед уходом он еще заглянул к бонне, которая прямо сгорала от жара, но у этой здоровенной женщины ничего не

было серьезного. Макс проводил доктора до прихожей и простуженным голосом, стараясь говорить шепотом, спросил, правда ли, что жизнь Ирмы не в опасности. Доктор Ламперт оглянулся на дверь и поджал губы.

— Завтра посмотрим, — сказал он. — Я, впрочем, еще и сегодня заеду. «Все то же самое, — думал он, сходя по лестнице. — Те же вопросы, те же умоляющие взгляды». Он посмотрел в записную книжку и сел в автомобиль, а минут через пять уже входил в другую квартиру. Кречмар встретил его в шелковой куртке с бренденбургами.

— Она со вчерашнего дня какая-то кислая, — сказал он. — Жалуется, что все болит.

— Жар есть? — спросил Ламперт, с некоторой тоской думая о том, сказать ли этому глупо озабоченному человеку, что его дочь опасно больна.

— Температуры как будто нет, — сказал Кречмар с тревогой в голосе. — Но я слышал, что грипп без температуры — очень неприятная вещь.

«К чему, собственно, рассказывать? — подумал Ламперт. — Семью он бросил с совершенной беспечностью. Захотят — известят сами. Нечего мне соваться в это».

— Ну, ну, — сказал Ламперт, — покажите мне нашу милую больную.

Магда лежала на кушетке, вся в шелковых кружевах, злая и розовая, рядом сидел, скрестив ноги, художник Горн и карандашом рисовал на исподе папиросной коробки ее прелестную голову. «Прелестная, слов нет, — подумал Ламперт. — А все-таки в ней есть что-то от гадюки».

Горн, посвистывая, ушел в соседнюю комнату, и Ламперт с легким вздохом приступил к осмотру больной.

Маленькая простуда — больше ничего.

— Пускай посидит дома два-три дня, — сказал Ламперт. — Как у вас с кинематографом? Кончили сниматься?

— Ох, слава Богу, кончила! — ответила Магда, томно запахиваясь. — Но скоро будут нам фильму показывать, я непременно должна быть к тому времени здорова.

«С другой же стороны, — беспричинно подумал Ламперт, — он с этой молодой дрянью сядет в галошу».

Когда врач ушел, Горн вернулся в гостиную и продолжал небрежно рисовать, посвистывая сквозь зубы. Кречмар стоял рядом и смотрел на ритмический ход его белой руки. Потом он пошел к себе в кабинет дописывать статью о нашумевшей выставке.

— Друг дома, — сказал Горн и усмехнулся.

Магда посмотрела на него и сердито проговорила:

— Да, я тебя люблю, такого большого уroda, — но ничего не поделаешь...

Он повертел коробку перед собой, потом бросил ее на стол.

— Послушай, Магда, ты все-таки когда-нибудь собираешься ко мне прийти? Очень, конечно, веселы эти мои визиты, но что же дальше?

— Во-первых, говори тише; во-вторых, я вижу, что ты будешь доволен только тогда, когда начнутся всякие ужасные неосторожности, и он меня убьет или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша.

— Убьет... — усмехнулся Горн. — Тоже скажешь.

— Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, — когда он на мне женится, мне будет как-то спокойнее, свободнее... Из дому жену так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф, — всякие у меня планы.

— Кинематограф, — усмехнулся Горн.

— Да, вот увидишь. Я уверена, что фильма вышла чудная. Надо ждать... Мне так же невтерпех, как и тебе.

Он пересел к ней на кушетку и обнял ее за плечо.

— Нет, нет, — сказала она, уже дрожа и жмурясь.

— В виде закуски — один поцелуй, — в виде закуски.

— Только недолгий, — сказала она глухо.

Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь, послышались шаги.

Горн хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Магды захватило пуговицу на его обшлаге. Магда быстро принялась распутывать, но шаги уже приближались, Горн рванул руку, кружево, однако, было плотное, Магда зашипела, теребя ногтями петли, — и тут вошел Кречмар.

— Я не обнимаю фрейлейн Петерс, — бодро сказал Горн. — Я только хотел поправить подушку и запутался.

Магда продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц, — положение было чрезвычайно карикатурное, Горн его мысленно отметил с восхищением.

Кречмар молча вынул перочинный нож и открыл его, сломав себе ноготь. Карикатура продолжалась.

— Только не нарежьте ее, — восторженно сказал Горн и начал смеяться.

— Пусти, — произнес Кречмар, но Магда крикнула:

— Не смей резать, лучше отпороть пуговицу («Ну, это положим!» — радостно вставил Горн). Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Горн на всякий случай дернулся опять, что-то треснуло, он освободился.

— Пойдемте ко мне в кабинет, — сказал Кречмар, не глядя на Горна.

«Ну-с, надо держать ухо востро», — подумал Горн и очень кстати вспомнил прием, которым он уже два в жизни пользовался, чтобы отвлечь внимание соперника.

— Садитесь, — сказал Кречмар. — Вот что. Я хотел попросить вас сделать несколько рисунков — тут была интересная выставка, — мне бы хотелось, чтобы вы сделали несколько карикатур на те или иные картины, которые я разношу в моей статье, — чтобы вышли, так сказать, иллюстрации к ней. Статья очень сложная, язвительная...

«Эге, — подумал Горн, — это у него, значит, хмурость работающей фантазии. Какая прелесть»

— Я к вашим услугам, — проговорил он вслух. — С удовольствием. У меня тоже к вам небольшая просьба. Жду гонорара из нескольких мест, и сейчас мне приходится туговато, — вы могли бы мне одолжить — пустяк, скажем: тысячу марок?

— Ах, конечно, конечно. И больше, если хотите. И само собой разумеется, что вы должны назначить мне цену на иллюстрации.

— Это каталог? — спросил Горн. — Можно посмотреть?

— Все женщины, женщины, — с нарочитой брезгливостью произнес Горн, разглядывая репродукции. — Мальчишек совсем не рисуют.

— А на что вам они? — лукаво спросил Кречмар.

Горн простодушно объяснил.

— Ну, это дело вкуса, — сказал Кречмар и продолжал, щеголяя широтой своих взглядов: — Конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете, часто встречается среди людей искусства. Меня бы это покорило в чиновнике или в лавочнике, — но живописец, музыкант — другое дело. Впрочем, одно могу вам сказать: вы очень много теряете.

— Благодарю покорно, для меня женщина — только милое млекопитающее, — нет, нет, увольте!

Кречмар рассмеялся.

— Ну, если на то пошло, и я должен вам кое в чем признаться. Дорианна, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны.

## XIX

Прошло три дня, Магда все еще покашливала и, будучи чрезвычайно мнительной, не выходила — валялась на кушетке в кимоно. Кречмар работал у себя в кабинете. От нечего делать Магда стала развлекаться тем, чему ее как-то научил Горн: удобно расположившись среди подушек, она звонила незнакомым людям,

фирмам, магазинам, заказывала вещи, которые велела посылать по выбранным в телефонной книжке адресам, дурочила солидных лиц, десять раз подряд звонила по одному и тому же номеру, доводя до иступления занятого человека, — и выходило иногда очень забавно, и бывали замечательные объяснения в любви и еще более замечательная ругань. Вошел Кречмар, остановился, глядя на нее со смехом и любовью и слушая, как она заказывает для кого-то гроб. Кимоно на груди распахнулось, она сучила ножками от озорной радости, длинные глаза блистали и щурились. Он сейчас испытывал к ней страстную нежность (еще обостренную тем, что последнюю неделю она, ссылаясь на болезнь, не подпускала его) и тихо стоял поодаль, боясь подойти, боясь испортить ей забаву.

Теперь она рассказывала какому-то профессору Груневальду вымышленную историю своей жизни и умоляла, чтоб он встретил ее в полночь у знаменитых вокзальных часов напротив Зоологического сада, — и профессор на другом конце провода мучительно и тяжелодумно решал про себя, мистификация ли это или дань его славе экономиста и философа.

Ввиду этих Магдиных утех, не удивительно, что Максу, вот уже полчаса, не удавалось добиться телефонного соединения с квартирой Кречмара. Он пробовал вновь и вновь, и всякий раз — невозмутимое жужжание. Наконец он встал, почувствовал головокружение и сел опять: эти ночи он не спал вовсе, но не все ль равно, сейчас его долг — вызвать Кречмара. Судьба невозмутимым жужжанием как будто препятствовала его намерению, но Макс был настойчив: если не так, то иначе. Он на цыпочках прошел в детскую, где было темновато и очень тихо, несмотря на смутное присутствие нескольких людей, глянул на затылок Аннелизы, на ее пуховый платок, — и, вдруг решившись, повернулся, вышел вон, мыча и задыхаясь от слез, напялил пальто и поехал звать Кречмара.

— Подождите, — сказал он шоферу, сойдя на панель перед знакомым домом.

Он уже напирал на тяжелую парадную дверь, когда сзади подоспел Горн, и они вошли вместе. На лестнице они взглянули друг на друга и тотчас вспомнили хоккейную игру.

— Вы к господину Кречмару? — спросил Макс. Горн улыбнулся и кивнул.

— Так вот что: сейчас ему будет не до гостей, я — брат его жены, я к нему с невеселой вестью.

— Давайте передам? — гладким голосом предложил Горн, невозмутимо продолжая подниматься рядом.

Макс страдал одышкой; он на первой же площадке остановился, исподлобья, по-бычьему, глядя на Горна. Тот выжидательно замер и с любопытством осматривал заплаканного, багрового, толстого спутника.

— Я советую вам отложить ваше посещение, — сказал Макс, сильно дыша. — У моего зятя умирает дочь.

Он двинулся дальше. Горн спокойно за ним последовал («забавная штука, это упустить нельзя...»). Макс отлично слышал шаги за собой, но его душила мутная злоба, и он боялся, что не хватит дыхания дойти, и потому берег себя. Когда они добрались до двери квартиры, он повернулся к Горну и сказал:

— Я не знаю, кто вы и что вы, — но я вашу настойчивость отказываюсь понимать.

— Я — друг дома, — ласково ответил Горн и, вытянув длинный прозрачно-белый указательный палец, позвонил.

«Ударить его палкой? — подумал Макс. — Ах, не все ли равно... Только бы скорей вернуться».

Открыл слуга (похожий, по мнению Магды, на лорда).

— Доложите, голубчик, — томно сказал Горн, — вот этот господин хочет видеть...

— Потрудитесь не вмешиваться! — со взрывом гнева перебил Макс и, стоя посреди прихожей, во всю силу легких позвал: — Бруно! — и еще раз: — Бруно!

Кречмар, увидя шурина, его перекошенное лицо, опухшие глаза, с разбегу поскользнулся и круто стал.

— Ирма опасно больна, — сказал Макс, стукнув о пол тростью. — Советую тотчас поехать...

Короткое молчание. Горн жадно смотрел на обоих. Вдруг из гостиной звонко и ясно раздался Магдин голос: «Бруно, на минутку».

— Мы сейчас поедem, — сказал Кречмар, заикаясь, и ушел в гостиную.

Магда стояла скрестив на груди руки.

— Моя дочь опасно больна, — сказал Кречмар. — Я туда еду.

— Это вранье, — проговорила она злобно. — Тебя хотят заманить.

— Опомнись... Магда... ради Бога.

Она схватила его за руку:

— А если я поеду с тобой вместе?

— Магда, пожалуйста, ну пойми, меня ждут.

— ...околпачить. Я тебя не отпущу...

— Меня ждут, меня ждут, — сказал Кречмар, заикаясь и пуча глаза.

— Если ты посмеешь...

Макс стоял в передней, продолжая стучать тростью. Горн вынул портсигар. Из гостиной послышался взрыв голосов. Горн предложил Максy папиросу. Макс, не глядя, отпихнул портсигар локтем, и папиросы рассыпались. Горн засмеялся. Опять взрыв голосов.

— О, какая мерзость... — пробормотал Макс, дернув дверь на лестницу и, с трясущимися щеками, быстро спустился.

— Ну, что? — шепотом спросила бонна, когда он вернулся.

— Нет, не приедет, — ответил он, закрыл на минуту ладонью глаза, потом прочистил горло и опять, как давеча, на цыпочках, прошел в детскую.

Там было все по-прежнему. Ирма тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света. Она тихонько икнула. Аннелиза поглаживала одеяло у ее плеча. Ирма вдруг слегка

напряглась на подушках, откидывая лицо. Со стола упала ложечка — и этот звон долго оставался у всех в ушах. Сестра милосердия стала считать пульс и потом осторожно, словно боясь повредить, опустила руку девочки на одеяло.

— Она, может быть, хочет пить? — прошептала Аннелиза. Сестра покачала головой. Кто-то в комнате очень тихо кашлянул. Ирма продолжала мотаться, затем принялась медленно поднимать и выпрямлять под одеялом колено.

Скрипнула дверь, и вошла бонна, сказала что-то на ухо Максу, тот кивнул, она вышла. Дверь опять скрипнула, Аннелиза не повернула головы...

Кречмар остановился в двух шагах от постели, лишь смутно видя пуховый платок и бледные волосы жены, зато с потрясающей ясностью видя лицо дочери, ее маленькие черные ноздри и желтоватый лоск на круглом лбу. Так он простоял довольно долго, потом широко разинул рот — кто-то подоспел и взял его под локоть.

Он тяжело сел у стола в кабинете. В углу, на диване, сидели две смутно-знакомые дамы, на стуле поодаль рыдала бонна. Осанистый старик, неизвестно кто, стоял у окна и курил. На столе были хрустальная ваза с анютиными и пепельница, полная окурков.

— Почему меня не позвали раньше? — тихо сказал Кречмар, подняв брови, и так и остался с поднятыми бровями, а потом покачал головой и стал трещать пальцами. Все молчали. Тикали часы. Откуда-то появился Ламперт, ушел в детскую и очень скоро вернулся.

— Ну что? — хрипло спросил Кречмар.

## XX

Кречмар на некоторое время замолк. Его угнетала беспримерная тоска. Впервые, может быть, за этот год сожительства с Магдой он отчетливо осознал тот легкий налет гнусности, который осел на его жизнь. Ныне

судьба с ослепительной резкостью как бы заставила его опомниться, он слышал громовой окрик судьбы и понимал, что ему дается редкая возможность круто втащить жизнь на прежнюю высоту. Он понимал, что если сейчас вернется к жене, будет безмолвно и безотлучно при ней, — невозможное в иной, повседневной, обстановке сближение произойдет почти само собою. Некоторые воспоминания той ночи не давали ему покоя — он вспоминал, как Макс вдруг посмотрел на него влажным просящим взглядом и потом, отвернувшись, сжал ему руку повыше локтя, — и он вспоминал, как в зеркале уловил необъяснимое выражение на лице жены, жалостное, затравленное и все-таки сродни человеческой улыбке. Он чувствовал, наконец, что, ежели не воспользоваться теперь же этой возможностью вернуться, то уже очень скоро встреча с Аннелизой станет столь же немислимой, сколь была до смерти их дочери. Обо всем этом он думал честно, мучительно и глубоко и особой логикой чувств понял, что если он поедет на похороны, то уж останется с женой навсегда. Позвонив Максy, он узнал от прислуги место и час и в утро похорон встал, пока Магда еще спала, и велел слуге приготовить ему черное пальто и цилиндр. Поспешно допив кофе, он пошел в бывшую детскую Ирмы, где теперь стоял стол для пинг-понга. И тут, подбрасывая на ладони целлулоидовый шарик, он никак не мог направить мысль на детство Ирмы, а думал о том, как прыгала здесь и вскрикивала, и ложилась грудью на стол, протянув пинг-понговую лопатку, другая девочка, живая, стройная и распутная.

Он посмотрел на часы. Надо было ехать, надо было ехать. Он бросил шарик на стол и быстро пошел в спальню поглядеть в последний раз, как Магда спит. И остановившись у постели, впиваясь глазами в это детское лицо с розовыми, ненакрашенными губами, темными веками и бархатным румянцем во всю щеку, Кречмар с ужасом подумал о завтрашней жизни с женой, выцветшей, серолицей, слабо пахнущей одеколоном, и эта жизнь ему представилась в виде тускло

освещенного, длинного и пыльного коридора, где стоит заколоченный ящик или детская коляска (пустая), а в глубине сгущаются потемки.

С трудом оторвав взгляд от щек и плеч Магды и нервно покусывая ноготь большого пальца, он подошел к окну. Была оттепель, автомобили расплескивали лужи; на углу виднелся ярко-фиолетовый лоток с цветами, солнечное мокрое небо отражалось в стекле окна, которое мыла веселая, растрепанная горничная.

— Как ты рано встал. Ты уходишь куда-нибудь? — протянул, перевалившись через зевок, Магдин голос.

Он, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой.

## XXI

— Бруно, приободришься, — говорила она ему неделю спустя. — Я понимаю, что все это очень грустно, — но ведь они тебе все немножко чужие, согласишься, ты сам это чувствуешь, и, конечно, твоей дочке внушена была к тебе ненависть. Ты не думай, я очень тебе соболезную, хотя знаешь, если у меня мог бы родиться ребенок, то я хотела бы мальчика...

— Ты сама ребенок, — сказал он, глядя ее по волосам.

— Особенно сегодня нужно быть бодрым, — продолжала Магда, надувая губы. — Особенно сегодня. Подумай, ведь это начало моей карьеры, я буду знаменита.

— Ах да, я и забыл. Это когда же? Сегодня разве?

Явился Горн. Он заходил последнее время каждый день, и Кречмар несколько раз поговорил с ним по душам, сказал ему все то, что Магде он бы сказать не смел и не мог. Горн так хорошо слушал, высказывал такие мудрые мысли и с такой вдумчивостью сочувствовал ему, что недавность их знакомства казалась Кречмару чем-то совершенно условным, никак не связанным с внутренним — душевным — временем, за которое развилась и созрела их мужественная дружба.

— Нельзя строить жизнь на песке несчастья, — говорил Горн. — Это грех против жизни. У меня был знакомый — скульптор, — который женился из жалости на пожилой, безобразной горбунье. Не знаю в точности, что случилось у них, но через год она пыталась отравиться, а его пришлось посадить в желтый дом. Художник, по моему мнению, должен руководиться только чувством прекрасного — оно никогда не обманывает.

— Смерть, — говорил он еще, — представляется мне просто дурной привычкой, которую природа теперь уже не может в себе искоренить. У меня был приятель, юноша, полный жизни, с лицом ангела и с мускулами пантеры, — он порезался, откупорив бутылку, и через несколько дней умер. Ничего глупее этой смерти нельзя себе представить, но вместе с тем... вместе с тем, — да, странно сказать, но это так: было бы менее художественно, доживи он до старости... Изюминка, пуанта жизни заключается иногда именно в смерти.

Горн в такие минуты говорил не останавливаясь — плавно выдумывая случаи с никогда не существовавшими знакомыми, подбирая мысли, не слишком глубокие для ума слушателя, придавая словам сомнительное изящество. Образование было у него пестрое, ум — хваткий и проникательный, тяга к разыгрыванию ближних — непреодолимая. Единственное, быть может, подлинное в нем была бессознательная вера в то, что все созданное людьми в области искусства и науки только более или менее остроумный фокус, очаровательное шарлатанство. О каком бы важном предмете ни заходила речь, он был одинаково способен сказать о нем нечто мудреное, или смешное, или пошловатое, если этого требовало восприятие слушателя. Когда же он говорил совсем серьезно о книге или картине, у Горна было приятное чувство, что он — участник заговора, сообщник того или иного гениального гаера — создателя картины, автора книги. Жадно следя за тем, как Кречмар (человек, по его мнению, тяжело-

ватый, недалекий, с простыми страстями и добротными, слишком добротными познаниями в области живописи) страдает и как будто считает, что дошел до самых вершин человеческого страдания, — следя за этим, Горн с удовольствием думал, что это еще не все, далеко не все, а только первый номер в программе превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе. Директором же сего заведения не был ни Бог, ни дьявол. Первый был слишком стар и мастит и ничего не понимал в новом искусстве, второй же, обрюзгший черт, обожравшийся чужими грехами, был нестерпимо скучен, скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика. Директор, предоставивший Горну ложу, был существом трудноуловимым, двойственным, тройственным, отражающимся в самом себе, — переливчатым магическим призраком, тенью разноцветных шаров, тенью жонглера на театрально освещенной сцене... Так по крайней мере полагал Горн в редкие минуты философских размышлений.

Оттого он никак не мог понять в себе острое пристрастие к Магде. Он старался его объяснить физическими свойствами Магды, чем-то таким в запахе кожи, в температуре тела, в особом строении глазного райка, в особенной эпителии губ. Но все это было не совсем так. Взаимная их страсть была основана на глубоком родстве их душ — даром, что Горн бил талантливым художником, космополитом, игроком...

Явившись к ним в тот день, в который Магда впервые должна была замелькать на экране, он успел ей сказать (подавая ей пальто), что там-то и там-то снял комнату, где они могут спокойно встречаться. Она ответила ему злым взглядом, ибо Кречмар стоял в десяти шагах от них. Горн рассмеялся и добавил почти не понижая голоса, что будет каждый день там ждать ее между таким-то и таким-то часом.

— Я приглашаю фрейлейн Петерс на свидание, а она не хочет, — сказал он Кречмару, пока они спускались вниз.

— Попробуй она у меня захотеть, — улыбнулся Кречмар и нежно ущипнул Магду за щеку. — Посмотрим, посмотрим, как ты играешь, — продолжал он, натягивая перчатку.

— Завтра в пять, фрейлейн Петерс, — сказал Горн.

— Маленькая завтра поедет одна выбирать автомобиль, — проговорил Кречмар. — Так что никаких свиданий.

— Успеется, автомобиль не убежит, правда, фрейлейн Петерс?

Магда вдруг обиделась.

— Какие дурацкие шутки! — воскликнула она.

Мужчины, смеясь, переглянулись, Кречмар подмигнул.

Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.

— Прямо не верится, — сказал швейцар, когда те прошли, — прямо не верится, что у него недавно умерла дочь.

— А кто второй? — спросил почтальон.

— Почему я знаю. Завела молодца ему в подмогу, и все. Мне, знаете, стыдно, когда другие жильцы смотрят на эту... (нехорошее слово). А ведь приличный господин, сам-то, и богат, — мог бы выбрать себе подругу поосанистее, покрупнее, если уж на то пошло.

— Любовь слепа, — задумчиво произнес почтальон.

## XXII

В небольшом зале, где показывали актерам и гостям фильм «Азра», было народу немного, но достаточно для того, чтобы у Магды прошел тревожный и приятный холодок по спине. Недалеко от себя она заметила того режиссера, к которому некогда так неудачно ходила представляться. Он подошел к Кречмару. Кречмар представил его Магде. На правом глазу у него был крупный ячмень. Магду рассердило, что он сразу же ее не узнал.

— А я у вас как-то была в конторе, — сказала она злорадно (пускай теперь пожалеет!).

— Ах, сударыня, — ответил он с учтивой улыбкой, — я помню, помню. — На самом деле он не помнил ничего.

Как только погас свет, Горн, сидевший между нею и Кречмаром, нащупал и взял ее руку. Спереди сидела Дорианна Каренина, кутаясь в мех, хотя в зале было жарко. Соседом ее был режиссер с ячменем, и Дорианна за ним ухаживала. Тихо и ровно, вроде пылесоса, заработал аппарат. Музыки не было.

Магда появилась на экране почти сразу: она читала, потом бросала книгу и бежала к окну: подъехал верхом ее жених. У нее так замерло сердце, что она вырвала руку из руки Горна и больше ее не давала (он зато гладил ее по юбке и как-то умудрился отстегнуть ей подвязку). Угловатая, неказистая, с припухшим, странно изменившимся ртом, черным как пиявка, с неправильными бровями и непредвиденными складками на платье, невеста дико взглянула перед собой, а затем легла грудью на подоконник, задом к публике.

Магда оттолкнула блуждающую руку Горна — и ей вдруг захотелось кого-нибудь укусить или броситься на пол, забиться, закричать... Неуклюжая девица на экране ничего общего с ней не имела — она была ужасна, она была похожа на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии. Может быть, дальше лучше будет? Кречмар перегнулся к ней, по дороге полуобняв Горна, и нежно прошелестел:

— Очаровательно, чудесно, я не ожидал...

Он действительно был очарован. Ему вспомнился «Аргус», его трогало, что Магда так невозможно плохо играет, — и вместе с тем в ней была какая-то прелестная, детская старательность, как у подростка, читающего поздравительные стихи. Горн тихо ликовал: он не сомневался, что Магда выйдет на экране неудачно, но знал, что за это попадет Кречмару, а завтра, в виде реакции... Все это было очень забавно. Он принялся

опять бродить рукой по ее ногам и платью, и она вдруг сильно ущипнула его.

Через некоторое время невеста появилась снова: она шла крадучись, вдоль стены, тайком шла в кафе, где светлая личность, друг семьи, видел ее жениха в обществе женщины из породы вампиров (Дорианна Каренина). Кралась она вдоль стены возмутительно, и почему-то спина у нее вышла толстенькая. «Я сейчас закричу», — подумала Магда. К счастью, экран перемигнул, появился столик в кафе, герой, дающий закурить (интимность!) Дорианне. Дорианна откидывала голову, выпускала дым и улыбалась одним уголком рта. Кто-то в зале захлопал, другие подхватили. Вошла невеста. Рукоплескания умолкли. Невеста открыла рот, как Магда никогда не открывала. Дорианна, настоящая Дорианна, сидевшая спереди, обернулась, и глаза ее ласково блеснули в полутьме.

— Молодец, девочка, — сказала она хрипло, и Магде захотелось полоснуть ее по лицу ногтями.

Теперь уже она так боялась каждого своего появления, что вся ослабела и не могла, как прежде, хватать и щипать назойливую руку Горна. Она дохнула ему в ухо горячим шепотом:

— Пожалуйста, перестань, я пересяду. — Он хлопал ее по колену, и рука его успокоилась.

Невеста появлялась вновь и вновь, и каждое движение терзало Магду. Она была, как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения. Простоватость, корявость, стесненность движений... На этом одутловатом лице она улавливала почему-то выражение своей матери, когда та старалась быть вежливой с влиятельным жильцом.

— Очень удачная сцена, — шептал Кречмар, перегибаясь через Горна. Горну сильно надоело сидеть в темноте и смотреть на скверную фильму. Он закрыл глаза и стал вспоминать, как было трудно и вместе с тем весело рисовать для кинематографа движения Чипи, — тысячи движений. «Надо что-нибудь придумать новое, — непременно надо придумать».

Драма подходила к концу. Герой, покинутый вampireм, шел под сильным дождем в аптеку покупать яд. Невеста в деревне играла с его незаконным ребенком, младенец к ней ластился. Вот она почему-то провела тылом руки по платью. Это движение не было предусмотрено, она словно вытирала руку, а младенец глядел исподлобья. По зале прошел смехок. Магда не выдержала и стала тихо плакать.

Как только зажегся свет, она встала и пошла к выходу.

— Что с ней, что с ней? — пробормотал Кречмар и быстро за ней последовал. Горн выпрямился, расправляя плечи. Дорианна тронула его за рукав. Рядом стоял господин с ячменем на глазу и позевывал.

— Провал, — сказала Дорианна, подмигнув. — Бедная девочка.

— А вы довольны собой? — спросил Горн с любопытством.

Дорианна усмехнулась:

— Нет, настоящая актриса никогда не бывает довольна.

— Художники тоже, — сказал Горн. — Но вы не виноваты. Роль была глупая. Скажите, кстати, как вы придумали свой псевдоним? Я все хотел узнать.

— Ох, это длинная история, — ответила она с улыбкой.

— Нет, вы меня не понимаете. Я хочу узнать. Скажите, вы Толстого читали?

— Толстого? — переспросила Дорианна Каренина. — Нет, не помню. А почему вас это интересует?

### XXIII

На квартире у Кречмара были буря, рыдания, судороги, стоны. Кречмар беспомощно ходил за ней: она бросалась то на кушетку, то на постель, то на пол. Глаза ее яростно и прекрасно блистали, один чулок сполз. Весь мир был мокр от слез. Кречмар утешал ее самыми нежными словами, какие он только знал,

употребляя незаметно для себя слова, которые говорил некогда дочери, целуя синяк, — слова, которые теперь как бы освободились после смерти Ирмы.

Сначала Магда излила весь свой гнев на него, потом страшными эпитетами выругала Дорианну, потом обрушилась на режиссера (заодно попало совершенно непричастному Гроссману, толстяку с ячменем).

— Хорошо, — сказал Кречмар наконец. — Я приму исключительные меры. Только заметь, я вовсе не считаю, что это провал, — напротив, ты местами очень мило играла, — там, например, в первой сцене, — знаешь, когда ты...

— Замолчи! — крикнула Магда и швырнула в него подушкой.

— Да постой, Магда, выслушай. Я же все готов сделать, только бы моя девочка была счастлива. Я знаешь что сделаю? Ведь фильма-то моя, я платил за эту ерунду... то есть, за ту ерунду, которую из нее сделал режиссер. Вот я ее и не пущу никуда, а оставлю ее себе на память («Нет, сожги», — сказала Магда рыдающим баском) или да, сожгу. И Дорианне, поверь, поверь, это будет не очень приятно. Ну что, мы довольны?

Она продолжала всхлипывать, но уже тише.

— Красавица ты моя, не плачь же. Я тебе еще кое-что скажу. Вот завтра ты пойдешь выбирать автомобиль — весело же! А потом мне его покажешь, и я, может быть (он улыбнулся и поднял брови на лукаво растянутом слове «может быть»), его куплю. Мы поедем кататься, ты увидишь весну на юге, мимозы... А, Магда?

— Не это главное, — сказала она ужимчиво.

— Главное, чтобы ты была счастлива, и ты будешь со мною счастлива. Осенью вернемся, будешь ходить на кинематографические курсы или я найду талантливого режиссера, учителя... вот, например, Гроссман...

— Нет, только не Гроссман, — зарычала Магда содрогаясь.

— ...Ну, другого. Найдем уж, найдем. Ты же вытри слезы, — мы поедем ужинать и танцевать... Пожалуйста, Магда!

— Я только тогда буду счастлива, — сказала она, тяжело вздохнув, — когда ты с ней разведешься. Но я боюсь, что ты теперь увидел, как у меня ничего там не вышло, в этой мерзкой фильме, и бросишь меня. Нет, постой, не надо меня целовать. Скажи, ты ведешь какие-нибудь переговоры или все это заглохло?

— Понимаешь ли, какая штука, — с расстановкой проговорил Кречмар, — понимаешь ли... Эх, Магда, ведь сейчас у нас, то есть у нее главным образом, — ну, одним словом, горе, мне как-то сейчас просто не очень удобно...

— Что ты хочешь сказать? — спросила Магда привстав. — Разве она до сих пор не знает, что ты хочешь развода?

— Нет, не в том дело, — переглотнул и замялся Кречмар. — Конечно, она... это чувствует, то есть знает. — Он смутился окончательно.

Магда медленно вытягивалась кверху как разворачивающаяся змея.

— Вот что — она не дает мне развода, — выговорил он, впервые оболгав Аннелизу.

— И не даст? — спросила Магда, кусая губы, щурясь и медленно приближаясь к нему.

«Сейчас будет драться», — подумал Кречмар устало.

— Нет, даст, конечно, даст, — сказал он вслух. — Ты только не волнуйся так.

Магда подошла к нему вплотную и — обвила его шею руками.

— Я больше не могу быть только твоей любовницей, — сказала она, скользя щекой по его галстуку. — Я не могу. Сделай что-нибудь. Завтра же скажи себе: я это сделаю для моей девочки. Ведь есть же адвокаты, всего же можно добиться.

— Я обещаю тебе.

Она слегка вздохнула и отошла к зеркалу, томно разглядывая свое отражение.

«Развод? — подумал Кречмар. — Нет-нет, это немыслимо».

## XXIV

Комнату, снятую им для свиданий с Магдой, Горн обратил в мастерскую, и всякий раз, когда Магда являлась, она заставляла его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал. Магда глядела на меловой оттенок его щек, на толстые, пунцовые губы, округленные свистом, на мягкие черные волосы, такие сухие и легкие на ощупь — и чувствовала, что этот человек в конце концов ее погубит. На нем была шелковая рубашка с открытым воротом, ладным ремешком подпоясанные фланелевые штаны. Он творил чудеса при помощи китайской туши.

Так они виделись почти ежедневно; Магда оттягивала отъезд хотя автомобиль был куплен и начиналась весна.

— Позвольте вам дать совет, — как-то сказал Горн Кречмару. — Зачем вам брать шофера? Я способен сидеть за рулем двенадцать часов сряду, и автомобиль у меня делается шелковым.

— Очень это мило с вашей стороны, — ответил Кречмар несколько нерешительно. — Но право, я не знаю... я боюсь оторвать вас от работы, мы собираемся довольно далеко закатиться...

— Ах, какая там работа. Я и так собирался махнуть куда-нибудь на юг.

— В таком случае будем очень рады, — сказал Кречмар, с тревогой думая о том, как отнесется к этому Магда. Магда, однако, помявшись, согласилась.

— Пусть едет, — заметила она. — Хотя, знаешь, он последнее время начинает мне надоедать, поверяет мне свои сердечные дела, — он об этом говорит с такими вздохами, словно влюблен в женщину. А на самом деле...

Был канун отъезда. По дороге домой из магазинов она забежала к Горну и повисла у него на шее. Присутствие маленького мольберта у окна и пыльный сноп солнца через комнату напоминали ей, как она была натурщицей, и теперь, торопливо снимая платье, она с улыбкой вспоминала, как бывало ей иногда холодно выходить голой из-за ширмы.

Одевалась она потом с чрезвычайной быстротой, подсказывая на одной ноге, кружась, поднимая в зеркале бурю.

— Чего ты так спешишь? — сказал он лениво. — Подумай, нынче последний раз. Неизвестно, как будем устраиваться во время путешествия.

— На то мы с тобой и умные, — ответила она со смехом.

Она выскочила на улицу и засемила, выглядывая таксомотор, но солнечная улица была пуста. Дошла до площади — и, как всегда возвращаясь от Горна, подумала, а не взять ли направо, потом через сквер, потом опять направо... Там была улица, где она в детстве жила.

(Счастье, удача во всем, быстрота и легкость жизни... Отчего в самом деле не взглянуть?)

Улица не изменилась. Вот булочная на углу, вот мясная, на вывеске — знакомый золотой бык, а перед мясной — привязанный к решетке бульдог майорской вдовы из пятнадцатого номера. Вот кабак, где пропадал ее брат. Вот там наискосок — дом, где она родилась. Подойти ближе она не решилась, смутно опасаясь чего-то. Она повернула и тихо пошла назад. Уже около сквера ее окликнул знакомый голос.

Каспар, братнин товарищ с татуировкой на кисти. Он вел за седло велосипед с фиолетовой рамой и с корзиной перед рулем.

— Здравствуй, Магда, — сказал он, дружелюбно кивнув, и пошел с ней рядом вдоль панели.

В последний раз, когда она видела его, он был очень неприветлив: тогда он действовал с приятелями сообща. Это была группа, организация, почти шайка; теперь же, один, он был просто старый знакомый.

— Ну, как дела, Магда?

Она усмехнулась и ответила:

— Прекрасно. А у тебя как?

— Ничего, живем. А знаешь, ведь твои съехали. Они теперь в скверном квартале. Ты бы как-нибудь их навестила, Магда. Подарочек или что. Твой отец долго не протянет...

— А Отто где? — спросила она.

— Отто в отъезде, в Билефельде, кажется, работает.

— Ты сам знаешь, — сказала она, — ты сам знаешь, как меня дома любили. У меня пухли щеки от оплеух. И разве они потом старались узнать, что со мной, где я, не погибла ли я? Не прочь на мне заработать — вот и все.

Каспар кашлянул и сказал:

— Но это, как-никак, твоя семья, Магда. Ведь твою мать выжили отсюда, и на новых местах ей не сладко.

— А что обо мне тут говорят? — спросила она с любопытством.

— Ах, ерунду всякую... Судачат. Это понятно. Я же всегда считаю, что женщина вправе распоряжаться своей жизнью. Ты как — с твоим другом ладишь?

— Ничего, лажу. Он скоро на мне женится.

— Это хорошо, — сказал Каспар. — Я очень рад за тебя. Только жалко, что ты стала теперь дамой и нельзя с тобой повозиться, как раньше. Это очень, знаешь, жалко.

— А у тебя есть подружка? — спросила она улыбаясь.

— Нет, сейчас никого, мы с Гретой поссорились. Трудно все-таки жить иногда, Магда. Я теперь служу в кондитерской. Я бы хотел иметь свою собственную кондитерскую, — но когда это еще будет...

— Да, жизнь, — задумчиво произнесла Магда и, немного погодя, подозвала таксомотор.

— Может быть, мы как-нибудь, — начал Каспар, но застеснялся.

«Погибнет девчонка, — подумал он, глядя, как она садится в автомобиль. — Наверняка погибнет. Ей бы

выйти за простого хорошего человека. Я б на ней, правда, не женился — вертушка, ни минуты покоя...»

Он вскочил на велосипед и до следующего угла быстро ехал за автомобилем. Магда ему помахала рукой, он плавно, как птица, повернул и стал удаляться по боковой улице.

## XXV

Все было очаровательно, все было весело — кроме ночевки в гостиницах. Кречмар был тягостно настойчив. Когда она пыталась отбойриться, ссылаясь на усталость, он, чуть не плача, говорил, что ни разу за день ее не поцеловал, просил позволения только поцеловать — и постепенно добивался своего. Горн между тем был по соседству, она слышала иногда его шаги или посвистывание — а Кречмар рычал от счастья, — и Горн рычание мог слышать. Утром ехали дальше — в чудесном, беззвучном автомобиле с внутренним управлением, шоссейная дорога, обсаженная яблонями, гладко подливала под передние шины, погода была великолепная, к вечеру стальные соты радиатора бывали битком набиты мертвыми пчелами и стрекозами. Горн действительно правил прекрасно: полулежа на очень низком сиденье с мягкой спинкой, он непринужденно и ласково орудовал рулем. Сзади, в окошечке, висела толстая Чипи и глядела на убегающий вспять север.

Во Франции пошли вдоль дороги тополя, в гостиницах горничные не понимали Магду, и это ее раздражало. Весну было решено провести на Ривьере, затем — Швейцария или итальянские озера. На предпоследней до Гиер остановке они очутились в прелестном городке Ружинар. Приехали туда на закате, над окрестными горами линияли лохматые розовые тучи, в кофейнях исподлобья сверкали огни, платаны бульвара были уже по-ночному сумрачны. Магда, как всегда к ночи, казалась усталой и сердитой, со дня отъезда, то есть за две недели (они ехали

не торопясь, останавливаясь в живописных городках), она ни разу не побывала наедине с Горном, — это было мучительно, Горн, встречаясь с ней взглядом, грустно облизывался, как пес, привязанный хозяйкой у двери мясной. Поэтому, когда они въехали в Ружинар и Кречмар стал восхищаться силуэтами гор, небом, дрожащими сквозь платаны огнями, Магда на него огрызнулась.

— Восторгайся, восторгайся, — произнесла она сквозь зубы, едва сдерживая слезы. Они подъехали к большой гостинице. Кречмар пошел справиться насчет комнат. — С ума сойду, если так будет продолжаться, — сказала Магда, стоя среди холла и не глядя на Горна.

— Всыпь ему снотворного, — предложил Горн. — Я достану в аптеке.

— Пробовала, — ответила Магда злобно. — Не действует.

Кречмар вернулся к ним, с виду несколько расстроенный.

— Все полно, — сказал он, разводя руками. — Это очень досадно. Ты устала, моя маленькая. — Магда, не разжимая зубов двинулась к выходу.

Они подъезжали к трем гостиницам, и нигде комнат не оказывалось. Магда была в таком состоянии, что Кречмар боялся на нее смотреть. Наконец, в пятой гостинице, им предложили войти в лифт — подняться и посмотреть. Смуглый мальчишка, поднимавший их, стоял к ним в профиль.

— Смотрите, что за красота, какие ресницы, — сказал Горн, слегка подтолкнув Кречмара.

— Перестаньте паясничать! — вдруг воскликнула Магда.

Номер с двуспальной постелью был вовсе не плохой, но Магда стала мелко стучать каблуком об пол, тихо и неприятно повторяя:

— Я здесь не останусь, я здесь не останусь.

— Превосходная комната, — сказал Кречмар увещающе. Мальчик вдруг открыл внутреннюю

дверь, — там оказалась ванная, вошел в нее, открыл другую дверь — вот те на: вторая спальня!

Горн и Магда вдруг переглянулись.

— Я не знаю, насколько вам это удобно, — общая ванная, — проговорил Кречмар. — Ведь Магда купается, как утка.

— Ничего, ничего, — засмеялся Горн. — Я как-нибудь с боку припеку.

— Может быть, у вас все-таки найдется что-нибудь другое? — обратился Кречмар к мальчику. Но тут поспешно вмешалась Магда.

— Глупости, — сказала она, — глупости. Надоело бродить.

Она подошла к окну, пока вносили чемоданы. Синева, огоньки, черные купы деревьев, звон кузнечиков... Но она ничего не видела и не слышала — ее разбирало счастливое нетерпение. Наконец она осталась вдвоем с Кречмаром, он стал выкладывать умывальные принадлежности.

— Я первая пойду в ванную, — сказала она, торопливо раздеваясь.

— Ладно, — ответил он добродушно. — Я тут сперва побреюсь. Только торопись, надо идти ужинать. — В зеркале он видел, как мимо стремительно пролетали джампер, юбка, что-то светлое, еще что-то светлое, один чулок, другой...

— Вот неряха, — сказал он, намыливая кадык.

Он слышал, как закрылась дверь, как трахнула задвижка, как шумно потекла вода.

— Нечего запираяться, я все равно тебя купать не собираюсь, — крикнул он со смехом и принялся оттягивать четвертым пальцем щеку.

За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий.

— Что она в самом деле... потоп... — пробормотал он и подскочил к двери, постучал. — Магда, ты утонула? Сумасшедшая ты этакая!

Никакого ответа.

— Магда! Магда! — крикнул он, и снежинки засохшей мыльной пены запорхали вокруг его лица.

Магда вышла из блаженного оцепенения, поцеловала напоследок Горна в ухо и бесшумно проскользнула в ванную: комнатка была полна пара и воды, она проворно закрыла краны.

— Я заснула в ванне, — крикнула она жалобно через дверь.

— Сумасшедшая, — повторил Кречмар. — Ты меня так напугала.

Струйки на полу остановились. Кречмар вернулся к зеркалу и снова намылил лицо.

Она явилась из ванной бодрая, сияющая и стала осыпаться тальком. Кречмар в свою очередь пошел купаться — там было все очень мокро. Оттуда он постучал Горну.

— Я вас не задержу, — сказал он через дверь. — Сейчас будет свободно.

— Валийте, валийте, — чрезвычайно весело ответил Горн.

За ужином она была прелестно оживлена, они сидели на террасе, вокруг лампы колесили ночницы и падали на скатерть.

— Мы останемся тут долго, долго, — сказала Магда. — Мне здесь страшно нравится.

В действительности ей нравилось только одно: расположение комнат.

## XXVI

Прошла неделя, вторая. Дни были безоблачные — зной, цветы, иностранцы, великолепные прогулки. Магда была счастлива, Горн тихо улыбался. Она принимала ванну утром и вечером, но уже следила, чтобы не было потопы. Старый французский полковник за

соседним столиком наливался бурой кровью, как только она появлялась, и не спускал с нее жадных глаз, — и был американец, знаменитый теннисист с лошадиным лицом и загорелыми руками, который предложил ей давать уроки на отдельной площадке. Но кто бы на нее ни глядел, кто бы с ней ни танцевал, Кречмар ревности не чувствовал, вспоминая Сольфи, он дивился: в чем разница, почему тогда все нервило и тревожило его, а сейчас — уверенность, спокойствие? Он не замечал, что нет в ней теперь особого желания нравиться другим, искать чужих прикосновений и взглядов, — был только один человек, Горн, а Горн был тень Кречмара.

Однажды, в майский день, они втроем отправились пешком за несколько верст от курорта, в горы. К концу дня Магда устала, и решено было вернуться в Ружинар дачным поездом. Для этого пришлось спуститься по крутым, каменистым тропинкам, Магда натерла ногу, Кречмар и Горн поочередно несли ее на руках. Пришли на станцию. Вечерело, на платформе было много туристов. Поезд был простецкий, мелковагонный, бескоридорный. Сели. Затем Кречмар рискнул выйти опять на платформу, чтобы выпить стакан пива. У буфета он столкнулся с господином, который торопливо платил. Они поглядели друг на друга.

— Дитрих, голубчик! — воскликнул Кречмар. — Вот неожиданно!

Это был Дитрих фон Зегелькранц, беллетрист.

— Ты один? — спросил Зегелькранц. — Без жены?

— Да, без жены, — ответил Кречмар, слегка смутясь.

— Поезд уходит, — сказал тот.

— Я сейчас, — заторопился Кречмар, хватая стакан. Ты садись... Вон там, второй вагон, я сейчас, первое отделение. Я сейчас. Эти монеты...

Зегелькранц побежал к поезду — уже захлопывались дверцы. В отделении было жарко, темновато и довольно полно. Поезд двинулся. «Опоздал», — подумал Зегелькранц с удовлетворением. Восемь лет прошло с тех пор, как он видел Кречмара, и говорить,

в общем, было с ним не о чем. Зегелькранц был очень одинок, любил свое одиночество и сейчас работал над новой вещью — появление прежнего приятеля выходило некстати.

Горн и Магда, высунувшись в окно, видели, как Кречмар энергично и неуклюже атаковал последний вагон и благополучно влез. Горн держал Магду за талию. «Молодожены, — вскользь подумал Зегелькранц. — Она — дочь винодела, у него — магазин готового платья в Ницце...»

Молодожены сели, блаженно друг другу улыбаясь. Зегелькранц вынул из кармана черную записную книжку.

— Ножка не болит? — спросил Горн.

— Что у меня может болеть, когда я с тобой, — томно проговорила Магда. — Когда я думаю, что сегодня вечером...

Горн сжал ей руку. Она вздохнула и, так как жара ее размаяла, положила голову ему на плечо, продолжая нежно ежиться и говорить, — все равно французы в купе не могли понять. У окна сидела толстая усатая женщина в черном, рядом с ней мальчик, который все повторял: «*Donne — moi une orange un tout petit bout d'orange!*» — «*Fiche — moi la paix*»<sup>1</sup>, — отвечала мать. Он замолкал и потом начинал скулить сызнова. Двое молодых французов тихо обсуждали выгоды автомобильного дела; у одного из них была сильнейшая зубная боль, щека была повязана, он издавал сосущий звук, перекашивая рот. А прямо против Магды сидел маленький лысый господин в очках, с черной записной книжкой в руке — должно быть, провинциальный нотариус.

В последнем вагоне сидел Кречмар и думал о Зегелькранце. Они учились вместе в университете, затем встречались реже, Дитрих говаривал, что когда-нибудь опишет его и Аннелизу, когда захочет выразить «музыкальную тишину молодого супружеского счастья».

---

<sup>1</sup> «Апельсинчик, дай апельсинчик!» — «А ну отвяжись» (франц.).

Восемь лет тому назад Дитрих был очень привлекательный с виду, тоненький человек, с русой, довольно пышной шевелюрой и мягкими усами, которые он душил из гранатового флакончика сразу после еды. Он был очень слаб, нервен и мнителен, страдал редкостными, но не опасными болезнями, вроде сенной лихорадки. Последние годы он безвыездно жил на юге Франции. Его имя было хорошо известно в литературных кругах, но книги его продавались туго. Он знал лично покойного Марселя Пруста, подражал ему и некоторым другим новаторам, так что из-под его пера выходили странные, сложные, тягучие вещи. Это был наблюдательный, чудаковатый и не особенно счастливый человек.

Минут через двадцать замелькали огни Ружинара. Поезд остановился. Кречмар поспешно покинул вагон. Ему было досадно, он смутно боялся недоразумения, следовало поскорее объяснить Дитриху. На платформе было много народу, и только у выхода он отыскал Магду и Горна.

— Вы с Зегелькранцем познакомились? — спросил он, улыбаясь.

— С кем? — переспросила Магда.

— Разве он к вам в отделение не попал? Ладный такой, изящный. Артистическая прическа, мой старый друг...

— Нет, — ответила Магда, — такого у нас не было.

— Значит, он не туда сел, — сказал Кречмар. — Какая, однако, вышла путаница. Как ножка — лучше?

## XXVII

Утром он справился в немецком пансионе, но адреса Зегелькранца там не знали. «Жалко, — подумал Кречмар. — А впрочем, может быть, к лучшему, уж очень давно не виделись». Как-то, через несколько дней, он проснулся раньше обыкновенного, увидел серо-голубой день в окне, еще дымчатый, но уже набухающий солнцем, мягко-зеленые склоны вдали, и ему захоте-

лось выйти, долго ходить, взбираться по каменистым тропинкам, вдыхать запах тмина. Магда проснулась.

— Еще так рано, — сказала она сонно.

Он предложил быстrehонько одеться и, знаешь, вдвоем, вдвоем, на весь день...

— Отправляйся один, — пробормотала она и повернулась на другой бок.

— Ах ты, соня, — сказал с грустью Кречмар.

Было, когда он вышел, часов семь утра, городок проснулся только наполовину. Проходя мимо вишневых садов и голубых дачек уже поднимавшейся в гору тропой, он увидел сквозь яркую зелень человека, поливавшего из лейки темными восьмерками песок перед крыльцом.

— Дитрих, вот ты где! — крикнул Кречмар. Зегелькранц был без шляпы: как неожиданно, — лысина, загорелая лысина и воспаленные, мигающие глаза.

— Мы ужасно глупо потеряли друг друга, — сказал Кречмар со смехом.

— Но встретились опять, — ответил Зегелькранц, продолжая тихо поливать песок.

— Ты... Ты всегда так рано встаешь, Дитрих?

— Бессонница. Я слишком много пишу. А ты куда? В горы?

— Пойдем, пойдем со мной, — сказал Кречмар. — И захвати что-нибудь почитать. Мне очень интересно, твой последний томик мне так понравился.

— Ах, стоит ли, — сказал Зегелькранц, подумал, увидел мысленно рукопись, черные росинки букв, улыбающиеся страницы. — Впрочем, если хочешь. Я как раз последние дни расписался.

Он пошел в комнату — прямо из сада — и вернулся с толстой клеенчатой тетрадкой.

— Поведу тебя в очень зеленое, красивое место, — сказал он. — Там мы почитаем под журчание воды. Как поживает твоя жена, почему ты один разъезжаешь?

Кречмар прищурился и ответил:

— У меня было много несчастий, Дитрих. С женой я порвал, а девочка моя умерла.

Зегелькранцу стало неудобно: бедняга, стоит ли ему читать, он будет плохо слушать.

Они шли вверх среди благовонных кустов. Затем их окружили сосенки, на стволах сидели сплюснутые цикады и трещали, трещали, пока то у одной, то у другой не кончался завод.

— Обожаю эти места, — вздохнул Зегелькранц. — Тут так легко и так чисто. У меня тоже были несчастья. Но это теперь далеко. Мои книги, мое солнце — что мне еще нужно?

— А я сейчас в самом, так сказать, водовороте жизни, — сказал Кречмар. — Ты, должно быть, помнишь, как я мирно и хорошо жил с женой. Ты даже говорил... Эх, да что вспоминать! Та, которую я теперь люблю, все собой заслонила. И вот только в такие утра, как нынче, когда еще не жарко, у меня в голове ясно, я чувствую себя более или менее человеком.

«Ложная тревога, — подумал Зегелькранц. — Он будет слушать».

Они добрались до глубины рощицы на вершине холма. Там, из железной трубки, била ледяная струйка воды, текла по мшистой выемке, над ней дрожали желтые и лиловые цветы. Кречмар лег навзничь и загляделся на синеву неба сквозь озаренные, тихо шевелящиеся верхушки сосен.

— Правда, очаровательно? — спросил Дитрих, нацепляя очки. — Вот мы сейчас почитаем, потом спустимся в долину, оттуда — к развалинам, там снова — остановка и чтение. Потом закусим, — я знаю прелестную ферму. Потом дальше пойдем, и снова — отдых и чтение.

— Ну, пожалуйста, я слушаю, — сказал Кречмар, глядя в небо и думая о том, что он мог бы рассказать Дитриху куда больше, чем писатель может выдумать.

Зегелькранц кокетливо засмеялся:

— Это не роман и не повесть, — сказал он. — Мне трудно определить... Тема такая: человек с повышен-

ной впечатлительностью отправляется к дантисту. Вот, собственно говоря, и все.

— Длинная вещь?

— Будет страниц триста — и еще не кончил.

— Ого, — сказал Кречмар.

Зегелькранц нашел место в тетрадке и прочистил горло.

— Я из середины, в начале нужно многое переделывать. А вот это я писал вчера, и оно еще свежее, и кажется мне очень хорошим, — но конечно, завтра я буду жалеть, что тебе читал, — замечу тысячу промахов, недоразвитых мыслей....

Он опять кашлянул и принялся читать:

— «Герман замечал, что о чем бы он ни думал: о том ли, что у дантиста, к которому он идет, седины и ухватки мастера и, вероятно, художественное отношение к тем трагическим развалинам, освещенным ярко-пурпурным куполом человеческого неба, к тем эмалевым эректеонам и парфенонам, которые он видит там, где профан нащупает лишь дырявый зуб; или о том, что в угловой кондитерской с бисерной занавеской вместо двери пухлая, но легкая, как слоеное тесто, продавщица (живущая в кисейно-белом аду, истыканном черными трупиками мух), которая ему улыбнулась вчера, изошла бы, вероятно, сбитыми сливками, ежели ее сжать в объятиях; или о том, наконец, что в «Пьяном Корабле», строку из которого он вспомнил, увидев рекламу — слово «левиафан» на стене между мохнатыми стволами двух пальм, — все время слышится интонация парижского гавроша, — зубная боль неотлучно присутствует, являясь оболочкой всякой мысли, и что всякая мысль лежит в люльке боли, ползет с ней и живет в этой боли, с которой она столь же неразрывно срослась, как улитка со своей раковиной. Когда он устремлял все свое сознание на эту боль, стараясь убить нерв ультрафиолетовым лучом разума, он в продолжение нескольких секунд испытывал мнимое облегчение, но тотчас замечал, что он уже не орудует лучом, а думает об его действии и таким образом уже отделен

собственной мыслью от объекта ее, отчего боль торжественно и глухо продолжалась, ибо в ней именно было что-то длящееся, что-то от самой сущности времени, или, вернее, оно было связано со временем, как жужжание осенней мухи или треск будильника, который Генриетта некогда не могла ни найти, ни остановить в крошечной темноте его студенческой комнаты. Поэтому Герман, размышляя о предметах, которые в иные минуты...»

«Однако», — подумал Кречмар, и внимание его стало блуждать. Голос Зегелькранца был очень равномерен и слегка глуховат. Нарастали и проходили длинные предложения. Насколько Кречмар мог понять, Герман шел по бульвару к зубному врачу. Бульвар был бесконечный. Дело происходило в Ницце. Наконец Герман пришел, и тут повествование немного оживилось, Кречмар, впрочем, чувствовал, что врач будет прав, если Герману сделает больно.

— «В приемной, где Герман сел у плетеного столика, на котором лежали, свесив холодные плавники, мертвые, белобрюхие журналы и где на камине стояли золотые часы под стеклянным колпаком, в котором изогнутым прямоугольником отражалось окно, за которым были сейчас душное солнце, блеск Средиземного моря, шаги, шуршащие по гравию, — ждало уже шестеро людей. У окна, на плюшевом стуле, распростерлась огромная женщина в усах, с могучим бюстом, заставляющим думать о кормилицах великанов, испанских младенцев, уже зубатых, быть может, уже страдающих, как сейчас страдал Герман. Рядом с этой женщиной сидел, болтая ногами, мальчик, неожиданно щуплый и вовсе не рыжий, — он повторял плачущим голосом: «Дай мне апельсин, кусочек апельсина», — и было чудовищно представить себе кислое, ледяное тело апельсина, попадающее на больной зуб. Поодаль двое смуглых молодых людей в ярких носках разговаривали о своих делах, у одного щека была повязана черным платком. Но больше всего заинтересовали Германа мужчина и девушка, которые вскоре после него яви-

лись, как проходя по темной почве его зубной боли, и сели в углу на зеленый коротко остриженный диванчик. Мужчина был худой, но плечистый, в отличном костюме из клетчатой шерстяной материи, с лицом бритым, бровастым, несколько обезьяньего склада, с большими, заостренными ушами и плотоядным ртом. Та, которую он сопровождал, молоденькая девица в белом джампере с открытыми до подмышек руками, вдоль которых шла пушистая тень загара, не задевше-го, впрочем, нежной выемки внутри сгиба, где сквозь светлую кожу виднелись бирюзовые вены, сидела, сдвинув колени, и было что-то детское в том, что белая плиссированная юбка не доходит до колен, которые хрупкой своею круглотой и тесным телесным переливом шелка крайне мучительно привлекали взгляд. Вот она повернулась в профиль — щека была с ямочкой, и словно приклеенный к виску каштановый серп волос метил загнутым острием в уголок продолговатого глаза. Судя по красочности ее лица и еще по тому, что каждое ее движение волновало воздух горячим дуновением крепких духов, Герман заключил, что она испанка, и в то же время с некоторым недоумением и даже ужасом невольно думал о том, что ее мягкий и яркий рот может как пасть разинуться, безропотно принимая в себя уже мутящееся зеркальце дантиста. Она вдруг заговорила, и немецкая речь в ее устах показалась сперва неожиданной, но почти тотчас Герман вспомнил танцовщицу, уроженку берлинского севера, красивую и вульгарную девчонку, с которой у него была недолгая связь лет десять тому назад. И несмотря на то, что эти двое были, по всей вероятности, из доброй бюргерской семьи, Герман почему-то почувствовал в них что-то от мюзикхолла или бара, смутную атмосферу сомнительных рассветов и прибыльных ночей. Но, конечно, самое забавное было то, что им в голову не приходило, что Герман, сидящий от них в трех шагах и перелистывающий старый *Illustration*, со смирением и жадностью ловца человеческих душ вбирает каждое их слово, а в этих словах были интонация

страстной влюбленности, глухое и напряженное рокотание, которое невозможно было сдержать или скрыть, как у иной певицы, со знаменитым на весь мир контральто, в голосе проскальзывают даже тогда, когда она говорит по телефону с модисткой, — драгоценные, смуглые ноты, и, вслушиваясь в их разговор, Герман старался понять, кто они — молодожены или беглецы-любовники, и никак не мог решить. Она говорила о том, как было упоительно, когда он недавно нес ее на руках по крутой тропинке, и о том, как трудно дожить до вечера, когда она пройдет к нему в номер, и тут следовало что-то очень, по-видимому, забавное, смысл коего Герман понять, однако, не мог, — что-то, связанное с ванной и бегущей водой и грозящей, но легко устранимой опасностью. Герман слушал сквозь органо-ую музыку зубной боли этот банальный любовный лепет и думал о том, что им не узнать никогда, как точно запечатлел их слова неприметный господин с флюсом, листающий журнал. Вдруг открылась дверь, из нее быстро вышел выпущенный из ада пациент, а на пороге встал, оглядывая собравшихся и медленно намечая пригласительный жест, высокий страшно худой врач с темными кругами у глаз, — сущий мemento мори. Герман ринулся к нему, хотя знал, что суется не в очередь, и несмотря на покрики мemento, раздавшиеся в приемной, проник в кабинет, где против окна стояло воскресное, и которого, которые на блеск инструментов, почти на зубные, любовные постуко-постуча из-за жужжащего, которые перед которыми малиновое небо, большое, энное и прежде того то же что и то, и внизу, и на зу, и тараболь, это было нйственно...»

Он еще читал долго, он уже читал зря — скрежет и шум, шум удалялся, молчание, молчание, он кончил.

— Ну, как тебе нравится, Бруно? — сказал он, отцепляя очки.

Кречмар лежал на спине с закрытыми глазами. Зегелькранц мельком подумал: «Неужели я его усыпил?» — но в это мгновение Кречмар приподнялся.

— Что с тобой, Бруно? Тебе плохо?  
— Нет, — ответил он шепотом. — Это сейчас пройдет.

— Выпей воды, — сказал Зегелькранц. — Она очень вкусная.

— Ты с натуры? — невнятно спросил Кречмар.

— Что ты говоришь?

— Ты с натуры писал?

— Ах, это довольно сложно. Видишь ли, дантиста я взял, у которого был давным-давно. Но он был не дантист, а мозольный оператор. Но вот, например, в приемную я целиком поместил группу людей, которых специально для этого изучил, едучи в поезде. Да, я с ними ехал недавно в одном купе и оттуда преспокойно пересадил их в рассказ, причем заметить — с абсолютной точностью, точность важнее всего.

— Когда это было — купе?

— Что ты говоришь?

— Когда это было — что ты ехал?

— Не помню, на днях, кажется, когда мы с тобой встретились, — я тут часто разъезжаю. Эти двое черт знает как миловали друг друга — удивительно, что когда иностранцы...

Он вдруг запнулся и, как это с ним не раз бывало, почувствовал, что происходит какое-то чудовищное недоразумение, и он так покраснел, что все затуманилось.

— Ты их знаешь? — пробормотал он. — Бруно, стой, куда ты...

Он побежал за Кречмаром и хотел ему заглянуть в лицо. «Отстань, отстань», — шепотом сказал Кречмар. Зегелькранц отстал. Кречмар завернул по тропинке, его скрыли кусты.

## XXVIII

Он спустился в город; не ускоряя шага, пересек платановую аллею и вошел через холл в гостиницу. Поднимаясь по лестнице, он встретил знакомую старуху-англичанку, она улыбалась ему. «Здравствуйте», —

шепотом сказал Кречмар и прошел. Он прошагал по длинному коридору и вошел в номер. В комнате никого не было. На коврике у постели было пролито кофе, блестела упавшая ложечка. Он исподлобья посмотрел на дверь в ванную. В это мгновение раздался из сада звонкий смех Магды. Кречмар высунулся в окно. Она шла рядом с американцем-теннисистом, помахивая золотой от солнца ракетой. Американец увидел Кречмара в окне третьего этажа. Магда обернулась и посмотрела вверх. Кречмар, беззвучно двигая губами, сделал движение рукой, словно что-то медленно сгребал в охапку. Магда кивнула и побежала в дом. Кречмар тотчас отошел от окна и, присев на корточки, отпер чемодан, поднял крышку, но вспомнив, что искомое не там, пошел к шкапу и сунул руку в карман автомобильного пальто. Он проверил, вдвинута ли обойма. Затем закрыл шкаф и стал у двери. Сразу, как только она откроет дверь. (Щуплый ангел надежды, который тянет за рукав даже в минуту беспросветного отчаяния, был едва жив — на что надеяться? Надо сразу, обдумать можно потом.) Он мысленно следил: вот теперь она вошла в гостиницу со стороны сада, вот теперь поднимается на лифте, пятнадцать секунд лишних — если по лестнице, вот сейчас донесется стук каблучков по коридору. Но воображение обгоняло, опережало ее, все было тихо, надо начать сначала. Он держал браунинг, уже подняв его, было чувство, словно оружие — естественное продолжение его руки, напряженной, ждущей облегчения: нажать вогнутую гашетку.

Он едва не выстрелил прямо в белую, еще закрытую дверь в тот миг, когда вдруг послышался из коридора ее легкий резиновый шаг, — да, конечно, она была в теннисных туфлях, — каблучки ни при чем. Сейчас, сейчас... Еще другие шаги.

«Позвольте, сударыня, мне зайти за подносом», — сказал по-французски голос за дверью. Магда вошла вместе с горничной, — он машинально сунул браунинг в карман.

— В чем дело? Что случилось? — спросила Магда. — Зачем ты меня заставляешь бегать наверх?

Он, не отвечая, глядел исподлобья на то, как горничная ставит на поднос посуду, поднимает ложечку с пола. Вот она все взяла, уходит, вот закрылась дверь.

— Бруно, что случилось?

Он опустил руку в карман. Магда поморщилась, села на стул, стоявший близ кровати, нагнулась и стала расшнуровывать белую туфлю. Он видел ее затылок, загорелую шею. Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок.

— Это ужас, как я натерла, — проговорила она и, оглянувшись на Кречмара, увидела тупой черный пистолет. — Дурак, — сказала она чрезвычайно спокойно. — Не играй с этой штукой.

— Встань! Слышишь? — как-то зашушукал Кречмар и схватил ее за кисть.

— Я не встану, — ответила Магда, свободной рукой спуская с ноги чулок. — И вообще, отстань — у меня страшно болит, все присохло.

Он тряхнул ее так, что затрещал стул. Она схватилась за решетку кровати и стала смеяться.

— Пожалуйста, пожалуйста, убей, — сказала она. — Но это будет то же самое, как эта пьеса, которую мы видели, с чернокожим, с подушкой...

— Ты лжешь, — зашептал Кречмар. — Ты лжешь, все оплевано, все исковеркано... Ты и этот негодяй... — Он оскалился, верхняя губа дергалась — заикался и не мог попасть на слово.

— Пожалуйста, убери. Я тебе ничего не скажу, пока ты не уберешь. Я не знаю, что случилось, но я знаю одно — я тебе верна, я тебе верна...

— Хорошо, — проговорил Кречмар, — Да-да, дам тебе высказаться, а потом застрелю.

— Не нужно меня убивать, уверяю тебя, Бруно.

— Дальше, дальше, поторопись!

(«...Если я сейчас очень быстро задвигаюсь, — подумала она, — то успею выбежать в коридор. Он

может не успеть попасть, сразу начну орать, и сбегутся люди. Но тогда все пойдет насмарку, все...»)

— Я не могу говорить, пока у тебя пистолет. Пожалуйста, спрячь его...

(«А если выбить у него из руки?»)

— Нет, — сказал Кречмар. — Сперва ты мне признаешься... Мне донесли, я все знаю...

— Я все знаю, — продолжал он срывающимся голосом, шагая по комнате и ударяя краем ладони по мебели. — Я все знаю. Ведь это поразительно смешно: облысел и видел вас в вагоне, вы вели себя как любовники. Ванная — как удобно, заперлась и перешла, нет, я тебя, конечно, убью.

— Да, я так и думала, — сказала Магда. — Я знала, что ты не поймешь. Ради Бога, убери эту штуку, Бруно!

— Что тут понимать! — крикнул Кречмар. — Что тут можно объяснить!

— Во-первых, Бруно, ты отлично знаешь, что он к женщинам равнодушен...

— Молчать! — заорал Кречмар. — Это с самого начала — пошлая ложь, шулерское изощрение!

(«Ну, если он кричит, все хорошо», — подумала Магда.)

— Нет, это все же именно так, — сказала она. — Но однажды я ему в шутку предложила. Знаете что? Я вас растормошу. Мы будем друг другу говорить нежности, и вы своих мальчиков забудете. Ах, мы оба знали, что это все пустое. Вот и все, вот и все, Бруно!

— Пакостное вранье. Я не верю. Вы говорили о том, что ты к нему перебегаешь в номер, пока... пока льется вода. И это слышал писатель, человек, который...

— Ах, мы часто так играли, — развязно проговорила Магда. — Правда, ничего из этого не выходило, но было очень смешно. Я не отрицаю про ванную. Я сама ему сказала, что, если мы были бы влюблены друг в друга, то было бы очень ловко и просто — переходной пункт, — а твой писатель — дурак.

— Так ты, может быть, и жила с ним в шутку? Пакость какая, Боже мой!

— Конечно, нет. Как ты смеешь? Он бы просто не сумел. Мы с ним даже не целовались, это уже противно.

— А если я спрошу его об этом — без тебя, конечно, без тебя.

— Ах, пожалуйста! Он тебе скажет то же самое. Только, знаешь, выйдет немножко глупо.

В этом духе они говорили битый час. Магда крепилась, крепилась, но наконец не выдержала, с ней сделалась истерика. Она лежала ничком на постели, в своем белом нарядном теннисном платье, босая на одну ногу и, постепенно успокаиваясь, плакала в подушку. Кречмар сидел в кресле у окна, за которым были солнце, веселые английские голоса с тенниса, и перебирал все, что произошло, все мелочи с самого начала знакомства с Горном, и среди них вспоминались ему такие, которые теперь освещены были тем же мертвенным светом, каким нынче катастрофически озарилась жизнь: что-то оборвалось и погубило навсегда, — и как бы яснооко, правдоподобно ни доказывала ему Магда, что она ему верна, всегда отныне будет ядовитый привкус сомнения. Наконец он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, — когда она успела наклеить? — посмотрел на золотистую кожу нетолстой, но крепкой икры и подумал, что может убить ее, но расстаться с нею не в силах.

— Хорошо, Магда, — сказал он угрюмо. — Я тебе верю. Но только ты сейчас встанешь, переоденешься, мы уложим вещи и уедем отсюда. Я сейчас физически не могу встретиться с ним, я за себя не ручаюсь, нет, не потому, что я думаю, что ты мне изменила с ним, не потому, но одним словом, я не могу — слишком я живо успел вообразить, и то, что мне читал Зегелькранц, слишком тоже было выпукло. Ну, вставай...

— Поцелуй меня, — тихо сказала Магда.

— Нет, не сейчас, я хочу поскорее отсюда уехать... я тебя чуть не убил в этой комнате, и, наверное, убью, если мы сейчас, сейчас же не начнем собирать вещи.

— Как тебе угодно, — сказала Магда. — Только ты подумай, каково мне, — конечно, неважно, что я оскорблена тобой и твоим милым Розенкранцем. Ну, ладно, давай укладываться.

Молча и быстро, не глядя друг на друга, они наполнили чемоданы, горничная принесла счет, мальчик пришел за багажом.

Горн играл в покер на террасе, под тенью платана. Ему очень не везло. Только что он попался с так называемой «полной рукой» против «масти» и «карре». Он уже подумывал, не бросить ли и не пойти ли провести на теннисе Магду, которая прилежно отправилась учиться бэк-хэнду у американского игрока, — он уже серьезно подумывал об этом, как вдруг сквозь кусты сада на дороге около гаража увидел автомобиль Кречмара; автомобиль неуклюже взял поворот и скрылся. «В чем дело, в чем дело...» — пробормотал Горн и, расплатившись (он проиграл немало), пошел искать Магду. На теннисе ее не оказалось. Он поднялся наверх. Дверь в номер Кречмара была открыта. Пусто, валяются листы газет, обнажен красный матрас на двуспальной кровати.

Он потянул нижнюю губу двумя пальцами по скверной своей привычке и прошел в свою комнату, предполагая, что найдет там записку. Записки никакой не было. Недоумевая, он спустился в холл. Молодой черноволосый француз с орлиным носом, некий Monsieur Martin, не раз танцевавший с Магдой, посмотрел через газету на Горна и, улыбнувшись, сказал:

— Жалко, что они уехали. Почему так внезапно? Назад в Германию?

Горн издал неопределенно-утвердительный звук.

## XXIX

Есть множество людей, которые, не обладая специальными знаниями, умеют, однако, и воскресить электричество после таинственного события, называемого «коротким замыканием», и починить ножичком меха-

низм остановившихся часов, и нажарить, если нужно, котлет. Кречмар к их числу не принадлежал. В детстве он ничего не строил, не мастерил, не склеивал, как иные ребята. В юности он ни разу не разобрал своего велосипеда и, когда лопалась шина, катил хромую, пищущую, как дырявая галоша, машину в ремонтное заведение. На войне он славился удивительной нерасторопностью, неумением ничего сделать собственными руками. Изучая реставрацию картин, паркетацию, рантуляцию, он сам боялся к картине прикоснуться. Не удивительно поэтому, что автомобилем, например, он управлял прескверно.

Медленно и не без труда выбравшись из Ружинара, он чуть-чуть подбавил ходу, благо шоссе было прямое и пустынное. О том, что именно происходит в недрах машины, почему вертятся колеса, он не имел ни малейшего понятия, — знал только действие того или иного рычага.

— Куда мы, собственно, едем? — спросила Магда, сидевшая рядом.

Он пожал плечами, глядя вперед, на белую дорогу.

Теперь, когда они выехали из Ружинара, где улочки были полны народом, где приходилось трубить, судорожно запинаться, косолапо вилять, теперь, когда они уже свободно катили по шоссе, Кречмар беспорядочно и угрюмо думал о разных вещах: о том, что дорога постепенно идет в гору, и, вероятно, сейчас начнутся повороты, о том, как Горн запутался пуговицей в Магдиных кружевах, о том, что еще никогда не было у него так тяжело и смутно на душе.

— Мне все равно куда, — сказала Магда, — но я хотела бы знать. И пожалуйста, держись правой стороны, ты черт знает как едешь.

Он резко затормозил, только потому, что невдалеке появился автобус.

— Что ты делаешь, Бруно? Просто держись правее.

Автобус с туристами прогремел мимо. Кречмар отпустил тормоз.

«Не все ли равно куда? — думал он. — Куда ни поезжай, от этой муки не избавишься. Как мерзко зеленеют эти холмы. Они черт знает как миловали друг друга...»

— Я тебя ни о чем не буду больше спрашивать, — сказала Магда, — только ради Бога труби перед поворотами. У меня голова болит. Я хочу куда-нибудь доехать наконец.

— Ты мне клянешься, что ничего не было? — хрипло проговорил Кречмар и сразу почувствовал, как слезы горячей мутой застилают зрение. Он заморгал, дорога опять забелела.

— Клянусь, — сказала Магда. — Я устала клясться. Убей меня, но больше не мучь. И знаешь, мне жарко, я сниму пальто.

Он затормозил, остановились. Магда засмеялась:

— Почему для этого, собственно говоря, нужно останавливаться? Ах, Бруно...

Он помог ей освободиться от кожаного пальто, причем с необычайной живостью вспомнил, как давным-давно, в дрянном кафе, он в первый раз увидел, как она двигает лопатками и плечами, сгибает прелестную шею, вылезая из рукавов пальто.

Теперь у него слезы лились по щекам неудержимо. Магда обняла его за шею и прижалась щекой к его склоненной голове.

Автомобиль стоял у самого парапета, толстого каменного парапета, за которым был обрыв, поросший ежевикой, и в глубине бежала вода; с левой же стороны поднимался скалистый склон с соснами на верхушке. Палило солнце, трещали кузнечики; далеко впереди раздавался звон и стук, человек в темных очках бил камни, сидя при дороге. Прокатил открытый, очень пыльный «рольс-ройс», и откуда-то ответило эхо на его гудок.

— Я тебя так люблю, — всхлипывая, говорил Кречмар. — Я тебя так, так люблю. — Он судорожно мня ей руки, гладил ее по спине, и она тихо и нежно посмеивалась. Затем длительно поцеловал ее в губы.

— Дай мне теперь самой управлять, — попросила Магда. — Я ведь научилась лучше тебя.

— Нет, я боюсь, — сказал он, улыбаясь и вытирая слезы. — И знаешь, я по правде не знаю, куда мы едем, но ведь это забавно — наугад.

Он пустил мотор, тронулись снова. Ему показалось, что теперь машина идет свободнее и послушнее, и он стал держать руль не так напряженно. Излучины дороги все учащались — с одной стороны отвесно поднималась скалистая стена, с другой был парапет, солнце било в глаза, стрелка скорости вздрагивала и поднималась.

Приближался крутой вираж, и Кречмар решил его взять особенно тихо. Наверху, высоко над дорогой, старуха собирала ароматные травы и видела, как справа от скалы мчался к повороту этот маленький черный автомобиль, а слева, на неизвестную еще встречу, двое сгорбленных велосипедистов.

### XXX

Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично-желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в Тулон, летчик видел петлистое шоссе, овальную тень дирижабля, скользящую по солнечным склонам, и две деревни, отстоящие друг от друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин где тоже было жарко, — вся эта щека земли, от Гибралтара до Стокгольма, озарялась в этот день улыбкой прекрасной погоды. Берлин, в частности, успешно торговал мороженым; Ирма, бывало, шалела от счастья, когда уличный торговец близ белого своего лотка лопаткой намазывал на тонкую вафлю толстый, сливочного оттенка, слой, от которого сладко ныли передние зубы и начинал танцевать язык. Аннелиза, выйдя утром на балкон,

заметила как раз такого мороженника, и странно было, что он — весь в белом, а она — вся в черном. В то утро она проснулась с чувством сильнейшего беспокойства и теперь, стоя на балконе, спохватилась, что впервые вышла из состояния матового оцепенения, к которому за последнее время привыкла, но сама не могла понять, чем нынче так странно взволнована. Она вспомнила вчерашний день, совершенно обыкновенный — деловитую поездку на кладбище, пчел, садившихся на цветы, которые она привезла, влажное поблескивание буковой ограды, ветерок, тишину, мягкую зелень. «Так в чем же дело? — спросила она себя. — Как это странно». С балкона был виден мороженик в белом колпаке. Солнце ярко освещало крыши — в Берлине, в Париже и дальше, на юге. Желтый дирижабль плыл в Тулон. Старуха собирала над обрывом ароматные травы; рассказов хватит на целый год: «Я видела... Я видела...»

### XXXI

Кречмару было неясно, когда и как он узнал, распределил, осмыслил все эти сведения: время, которое прошло от виража до сих пор (несколько недель), место его теперешнего пребывания (больница в Ментоне), операция, которой он подвергся (трепанация черепа), причина долгого беспамятства (кровоизлияние в мозг). Настала, однако, определенная минута, когда все эти сведения оказались собраны воедино, — он был жив, отчетливо мыслил, знал, что поблизости Магда и француженка-сиделка, знал, что последнее время приятно дремал и что сейчас проснулся... а вот который час — неизвестно, вероятно, раннее утро. Лоб и глаза еще покрывала повязка, мягкая на ощупь; темя же уже было открыто, и странно было трогать частые колючки отрастающих волос. В памяти у него, в стеклянной памяти, глянцевито переливался как бы цветной фотографический снимок: загиб белой дороги, черно-зеленая скала слева, справа — синеватый парпет, пере-

ди — вылетевшие навстречу велосипедисты — две пыльные обезьяны в красно-желтых фуфайках; резкий поворот руля, автомобиль взвился по блестящему скату щебня, и вдруг, на одну долю мгновения, вырос чудовищный телеграфный столб, мелькнула в глазах растопыренная рука Магды, и волшебный фонарь мгновенно потух. Дополнялось это воспоминание тем, что вчера, или третьего дня, или еще раньше — когда, в точности не известно, — рассказала ему Магда, вернее Магдин голос, почему только голос? Почему он ее так давно не видел по-настоящему? Да, повязка, скоро, вероятно, можно будет снять... Что же Магдин голос рассказывал?

— ...если бы не столб, мы бы, знаешь, бух через парапет в пропасть. Было очень страшно. У меня весь бок в синяках до сих пор. Автомобиль перевернулся — разбит вдребезги. Он стоил все-таки двадцать тысяч марок. Auto... mille beaucoup mille marks — (обратилась она к сиделке) — vous comprenez?<sup>1</sup>. Бруно, как по-французски двадцать тысяч?

— Ах, не все ли равно... Ты жива, ты цела.

— Велосипедисты оказались очень милыми, помогли все собрать, портплед, знаешь, полетел в кусты, а ракеты так и пропали.

Отчего неприятно? Да, этот ужас в Ружинаре. Он с браунингом в руке, она входит — в теннисных туфлях... Глупости, все разъяснилось, все хорошо... Который час? Когда можно будет снять повязку? Когда позволят встать с постели? Слабость... Все это было, должно быть, в газетах, в немецких газетах.

Он повертел головой, досадуя на то, что завязаны глаза. Слуховых впечатлений было набрано за это время сколько угодно, а зрительных никаких — так что в конце концов не известно, как выглядит палата, какое лицо у сиделки, у доктора... Который час? Утро? Он выспался, окно, верно, открыто, ибо вот слышно,

---

<sup>1</sup> Авто... тысяча, много марок... Вы понимаете? (ломан. франц.).

как процокали неторопливо копыта, а вот — шум воды, звон ведра — там, должно быть, двор, фонтан, утрен-  
няя свежая тень платанов. Он полежал некоторое  
время неподвижно, стараясь обращать невнятные зву-  
ки в соответствующие цвета и очертания, и вскоре  
услышал звуки другие — голоса Магды и сиделки в  
соседней, вероятно, комнате. Сиделка учила Магду  
правильно произносить. «Soucoure. Soucoure»<sup>1</sup>, —  
повторила Магда несколько раз и засмеялась.

Неуверенно улыбаясь, чувствуя, что он делает что-  
то противозаконное, Кречмар осторожно освободил и  
поднял на брови повязку: оказалось, однако, что в  
комнате густая, бархатная темнота — не видать даже,  
где окно, нет ни малейшей щелки света. Значит, все-  
таки ночь, и притом безлунная, черная. Вот как обма-  
нывают звуки.

Весело звякнуло по соседству блюдце. «Café thé  
non. Moi pas — tee»<sup>2</sup>.

Кречмар нащупал рядом столик, наткнулся на лам-  
почку. Он щелкнул — раз, еще раз, — но темнота не  
сдвинулась с места: штепсель, вероятно, не был встав-  
лен. Тогда он поискал пальцами, нет ли спичек, — и  
действительно, нашел коробок. В нем была всего одна  
спичка, он чиркнул ею, раздался звук, похожий на  
вспышку, но огонька не появилось. Он ее отбросил  
и почуял вдруг легкий запах горелого.

Странное явление...

— Магда, — позвал он громко. — Магда!

Звук шагов и отворяющейся двери. Но ничто не  
изменилось — за дверью было тоже темно.

— Зажги свет, — сказал он. — Пожалуйста, света.

— Не смей трогать повязку, Бруно! — крикнул  
голос Магды, стремительно и уверенно приближаясь в  
беспросветном мраке. — Ведь доктор сказал... ах,  
Господи!

---

<sup>1</sup> Блюдце, блюдце (*франц.*).

<sup>2</sup> Кофе — нет. Лучше чаю (*ломан. франц.*).

— Как, как ты меня видишь? — спросил он заикаясь. — Я не... Моментально зажги свет. Слышишь? Моментально!

— Тише, тише, не волнуйтесь, — заговорил по-французски голос сиделки.

Эти звуки, эти шаги, эти голоса двигались как бы в другой плоскости. Он был сам по себе, и они — сами по себе. И между ними и той темнотой, в которой он пребывал, существовала какая-то плотная преграда. Он напрягся, паялся, тер веки, вертел головой так и сяк, рвался куда-то, но не было никакой возможности проткнуть эту цельную темноту, являвшуюся как бы частью его самого.

— Не может быть, — с силой сказал Кречмар. — Я сойду с ума. Открой окно, сделай что-нибудь...

— Окно открыто, — ответила она тихо.

— Может быть, солнца нет... Магда, может быть, когда будет солнце, я хоть что-нибудь увижу... Хотя бы мерцание... Может быть, очки...

— Лежи спокойно, Бруно. Дело не в солнце. Тут светло, чудное утро. Бруно, ты мне делаешь больно.

— Я... Я... — судорожно набирая воздух, начал Кречмар и, набрав воздуха, стал равномерно кричать.

## XXXII

Сознание полной слепоты едва не довело Кречмара до помешательства. Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущение плотной, черной преграды оставалось неизменным. После припадков смертельного ужаса, после криков и метаний, после тщетных попыток сдернуть, сорвать что-то с глаз, он впадал в полуобморочное состояние, а потом снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только с легендарным смятением человека, проснувшегося в могиле.

Мало-помалу, однако, эти припадки стали реже, он часами молчал, неподвижно лежа на спине и слуша

звуки провансальского дня, но вдруг он вспоминал утро в Ружинаре, с которого все, собственно говоря, и началось, и тогда принимался стонать, вспоминая уже другое — небо, зеленые холмы, на которые он так мало, так мало смотрел, и опять поднималась волна могильного ужаса.

Еще в ментонском госпитале Магда прочла ему вслух письмо от Горна из Парижа такого содержания:

*«Я не знаю, Кречмар, чем я был больше ужален, — тем ли оскорблением, которое Вы мне нанесли Вашим внезапным, беспричинным и крайне неучтивым отъездом, или бедой, приключившейся с Вами. Несмотря на обиду, которая не позволяет мне даже навестить Вас, я, поверьте, всей душою скорблю о Вас, особенно когда вспоминаю Вашу любовь к живописи, к роскошным краскам и утонченным оттенкам, ко всему тому, что делает зрение божественным подарком свыше. Есть люди (Вы и я принадлежим к их числу), которые живут именно глазами, зрением, — все остальные чувства только послушная свита этого короля чувств.*

*Сегодня я из Парижа уезжаю в Англию, а оттуда в Нью-Йорк и вряд ли скоро повидая опять родную страну. Передайте мой дружеский привет Вашей спутнице, от капризного нрава которой — кто знает? — быть может, зависела Ваша, Кречмар, измена мне, — да, ибо нрав ее лишь по отношению к Вам отличается постоянством, зато в натуре у нее есть свойство — очень, впрочем, обыкновенное у женщин — невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешон и противен ей. Поверьте, Кречмар, что, если бы Вы, пожелав отделаться от моего присутствия, надоевшего Вам обоим, сказали мне это без обиня-*

*ков, я только оценил бы Вашу прямоту, и тогда прекрасное воспоминание наших бесед о живописи, о прозрачных красках великих мастеров не было бы так печально омрачено тенью Вашего предательского бегства».*

— Да, это — письмо гомосексуалиста, — сказал Кречмар. — Все равно, я рад, что он отбыл. Может быть, Бог меня наказал, Магда, за то, что я тебя заподозрил, но горе тебе, если...

— Если что, Бруно? Пожалуйста, пожалуйста, договаривай.

— Нет, ничего. Я верю тебе. Ах, я верю тебе.

Он помолчал и вдруг стал издавать тот глухой звук, полустон, полумычание, которым у него всегда начинался приступ ужаса перед стеной темноты.

— Прозрачные краски, — повторил он несколько раз нутряным, дрожащим голосом. — Да, да, прозрачные краски!

Когда он успокоился, Магда сказала, что поедет обедать, поцеловала его в щеку и быстро засемила по теневой стороне улицы. Она вошла в маленький прохладный ресторан и села за мраморный столик в глубине. За соседним столиком сидел Горн и пил белое вино.

— Пересядь ко мне, — сказал он. — Какая ты стала трусиха!

— Заметят и донесут, — ответила она опасливо, но все же пересела к нему.

— Пустяки. Кому какое дело? Ну, что он сказал на письмо? Правда, составлено великолепно?

— Да, все хорошо. В среду мы едем в Цюрих к специалисту. Ты возьми, пожалуйста, три спальных места. Только себе ты возьми в другом вагоне — как-никак безопаснее.

— Даром не дадут, — лениво процедил Горн.

— Бедный мой, — нежно усмехнулась Магда. И вынула пачку денег из своей сумочки.

### XXXIII

Хотя Кречмар уже несколько раз (глубокой ночью, полной дневных звуков) выходил на прогулку в не-большой сад госпиталя, к путешествию в Цюрих он оказался малоподготовленным. На вокзале у него закружилась голова — и ничего нет страшнее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружение, — он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голов-сов, стуков, от боязни наткнуться на что-нибудь, даром что вела его Магда. В поезде его поташнивало оттого, что он никак не мог мысленно отождествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса, — как бы мучительно ни напрягал воображение, стараясь представить себе пробегающий ландшафт. Еще было хуже, когда оказались в Цюрихе и приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых им перегородок, выпирающих углов.

— Не бойся, не бойся, — говорила Магда с раздражением. — Я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в автомобиль. Да чего ты боишься, в самом деле, — прямо как маленький.

Профессор, знаменитый окулист, долго, при помощи особого зеркала, осматривал дно его глаза, и, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав. Он повторил то, что Кречмар отчасти уже знал, — что вследствие кровоизлияния произошло сдавление глаз-ных нервов как раз там, где они скрещиваются в мозгу, — быть может, рассосется, быть может наступит полная атрофия и т. д., и т. д., но во всяком случае общее состояние Кречмара таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой, следует пожить два-три месяца уединенно и тихо, лучше всего где-нибудь в горах, а затем, сказал профессор, затем — будет видно...

— Будет видно? — повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой (какой каламбур).

Магда, оставив его одного в номере гостиницы, посетила несколько контор, ей дали адреса; посоветовавшись с Горном, она выбрала место и поехала, с Горном же, посмотреть на сдаваемое там шале. Это оказалось двухэтажная дачка, с чистыми комнатками, ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимою ирландской чете, уехавшей на лето в Норвегию, и сдавалась недешево. Горн оценил ее расположение — на юру, среди ельника, в стороне от деревни — и, наметив для себя самую солнечную комнату в верхнем этаже, велел Магде домишко снять. Затем, в деревне, они наняли кухарку. Горн с ней поговорил очень внушительно. Он сказал: «Высокое жалование, которое вам предлагается, объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой на почве душевного расстройства. Я — врач, приставленный к нему, но, ввиду тяжелого его состояния, он разумеется, не должен знать, что, кроме его племянницы, живет при нем доктор. Посему, тетушка, ежели вы, хотя бы косвенно, хотя бы нежнейшим шепотком, хотя бы в разговоре вот, скажем, с барышней на кухне, упомянете вслух о моем пребывании в доме, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом, — это карается в Швейцарии довольно, кажется, строго. Вдобавок, я не советую вам входить в комнату к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры: на него находят припадки бешенства, он уже одну старушку совершенно замял и растоптал, и я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное — когда будете болтать на базаре, помните, что, если вследствие разбуженного вами любопытства, к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент, при нынешнем его состоянии, может разнести дом... Поняли?»

Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от выгодного места и согласилась только тогда, когда

Горн заверил ее, что слепого безумца она видеть не будет, что он тих, если его не раздражать, и находится постоянно под наблюдением племянницы и врача.

Первым въехал Горн. Он перевез весь багаж, определил, кто где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие вещи, и, когда все было устроено, поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене кое-какие рисунки пером довольно непристойного свойства — эскизы к иллюстрациям, заказанным ему в Берлине художественно-порнографическим издательством. Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль, оттуда, в ярко-красном джампере, выскочила Магда, помогла выйти Кречмару, он был в темных очках и походил на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять вперед и скрылся за поворотом. Магда взяла Кречмара под руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя, вот мелькнули опять, опять скрылись, и вот наконец появились на площадке сада, где мрачная, но уже всей душой преданная Горну кухарка опасливо вышла к ним навстречу и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из руки Магды несессер.

Горн меж тем, свесившись из верхнего окна, делал Магде смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди, — деревянно раскидывал руки и кланялся, как Петрушка, — все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и, под руку с Кречмаром, вошла в дом.

— Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай, — произнес Кречмар. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие — она любила новоселье.

— Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет, — объясняла Магда, водя его по комнатам нижнего этажа. Кречмар трогал мебель, ощупывал предметы, старался ориентироваться.

— Окно, значит, там, — говорил он, доверчиво показывая пальцем на сплошную стену. Он больно

ударился ляжкой о край стола и сделал вид, что это он нарочно, — забродил ладонями по столу, будто устанавливая его размер.

Потом они вдвоем пошли вверх по деревянной скрипучей лестнице, и наверху, на последней ступеньке, сидел Горн и тихо тряся от беззвучного смеха. Магда погрозила ему пальцем, он осторожно встал и отступил на цыпочках: ненужная мера, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца.

Вошли в коридор; Горн, стоя в глубине у своей двери, показал на эту дверь, и Магда кивнула. Он несколько раз присел, зажимая ладонью рот. Магда сердито тряхнула головой — опасные игры, он на радостях паясничал, как мальчишка.

— Вот твоя спальня, а вот — моя, — говорила она, открывая поочередно двери.

— Почему не вместе? — с грустью спросил Кречмар.

— Ах, Бруно, ты знаешь, что сказал профессор...

После того как они всюду побывали (кроме комнаты Горна), он захотел опять, в обратном порядке, уже без ее помощи, обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальную чашку. Ткнулся он и в угловую комнату (где устроился Горн), вход туда был только из коридора, но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из своей спальни.

— Твоя комнатка? — спросил он, нащупывая дверь.

— Нет, нет, тут чулан, — сказала Магда. — Ты, ради Бога, запомни, а то голову разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебе так много ходить, — ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так — это только сегодня...

Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Магда уложила его. Когда он уснул, она перешла к Горну. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко: оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко.

## XXXIV

После того как Кречмар так поспешно и ужасно скрылся за поворотом тропинки, Зегелькранц со своей злосчастной черной тетрадью в руке долго еще сидел на мураве под соснами и мучительно соображал. Кречмар путешествовал как раз с этой описанной четой, любовный лепет этой четы был для Кречмара потрясающим откровением — вот все, что понял Зегелькранц, и сознание, что он совершил чудовищную бестактность, поступил в конце концов как самодовольный хам, заставляло его сейчас мычать сквозь стиснутые зубы, морщиться, встряхивать пальцами, словно он ошпарился. Такие гаффы непоправимы: не пойти же в самом деле к Кречмару с извинениями; человек, по неловкости ранивший из ружья ни в чем не повинного спутника, не говорит же ему «виноват».

И вот написанное им уже казалось Зегелькранцу не литературой, а грубым анонимным письмом, в котором подлая правда приправлена ухищрениями витиеватого слога. Его предпосылка, что следует воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью, метод его, который еще вчера мнился ему единственным способом навсегда задержать на странице мгновенный облик текущего времени, — теперь казались ему чем-то до невозможности топорным и безвкусным. Он попытался утешить себя, что так грубо и гадко вышло потому, что он именно отступил от своих аккуратных правил, чуть-чуть передернул, переселил намеченных лиц из проклятого вагона в приемную дантиста, и что если бы он описал действительно пациентов ментонского зубного врача, Monsieur Lhomme, то в их число не попала бы эта ненужная чета. Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское, суть дела была важнее и отвратительнее: оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть, — она останавливается, вульгарным жестом уткнув руки в бока, словно говорит: «Пожалуйста, любуйтесь, вот я какая, не пеняйте на меня, если это больно и против-

но». «Надо же было, чтобы случилось такое совпадение», — жалобно возражал себе Зегелькранц, хотя уже понимал, что совпадения никакого особенного нет, и что гораздо удивительнее, что такая вещь не произошла с ним раньше, и что, например, не избил его до сих пор отец молодой девушки, за которой он полгода ухаживал и которую затем с изысканной подробностью вывел в многословной новелле.

Невозможно было встретиться теперь с Кречмаром, следовало покинуть на время очаровательный Ружинар, и так как Зегелькранц был человек исторический, он покинул Ружинар в тот же день и больше месяца провел в долинах восточных Пиренеев. Это его успокоило. Он уже стал подумывать о том, что дело, может быть, все-таки не так страшно и что, пожалуй, даже лестна уверенность, с которой Кречмар узнал описанных людей. Он вернулся в Ружинар и, чувствуя наплыв редкой смелости — тоже исторической, — отправился прямо в гостиницу, где он думал найти Кречмара. Там из случайного разговора со знакомым (это был все тот же Monsieur Martin, черноволосый с орлиным носом) он узнал о бегстве Кречмара, о катастрофе. «Il vivat ici avec sa poule, — добавил Martin со знающей улыбкой. — Une petite qure tres jolie, que le trompait avec ce pince-sans-rire, cette espèce de peintre, un Monsieur Korn ou Horn, Argentin je crous on bien Nongrois»<sup>1</sup>.

Тогда он метнулся в Ментону, но в госпитале узнал, что Кречмара любовница увезла не то в Швейцарию, не то в Германию. Зегелькранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцев, по ночам его терзали кошмары: он видел Кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который

---

<sup>1</sup> Он жил здесь со своей курочкой, со своей симпатичной журавушкой, которая ему изменяла с этим угрюмым зябlichem, каким-то художником, господином Корном или Горном — не то аргентинцем, не то — скорее всего — венгром (*франц.*).

кланялся ему в пояс и слащаво страшно приговаривал: «Спасибо, старый друг, спасибо». Оставаться в Ру-  
жинаре было невозможно. И внезапно с той судорож-  
ной суетливостью, которая в нем заменяла решимость,  
Зегелькранц отправился в Берлин.

## XXXV

Зегелькранц ошибался, думая, что Кречмар, коли  
еще жив, вспоминает о нем с отвращением и ненавист-  
тью. Кречмар не вспоминал его вовсе, ибо запрещал  
себе возвращаться к той нестерпимой минуте изумле-  
ния, гибели, смертельной тоски, — там, на тенистом  
холму, у журчащего источника... Плотный бархатный  
мешок, в котором он теперь существовал, давал некий  
строгий, даже благородный строй его мыслям и чувст-  
вам. Гладким покровом тьмы он был отделен от не-  
давней очаровательной, мучительной, ярко-красочной  
жизни, прервавшейся на головокружительном вираже.  
Питаясь воспоминаниями о ней, он словно переби-  
рал миниатюры: Магда в узорном переднике, припод-  
нимающая портьеру, Магда под блестящим зонтиком,  
проходящая по малиновым лужам, Магда, стоящая  
голою перед зеркалом и грызущая желтую булочку,  
Магда в лоснящемся трико или в переливчатом баль-  
ном платье, с загорелыми оранжевыми руками. Затем  
он думал о жене, и вся эта пора жизни с Аннелизой  
пропитана была нежным бледным светом, и только  
изредка в этом молочном тумане что-то вспыхивало на  
миг — белокурая прядь волос при свете лампы, блик  
на раме картины, стеклянный шарик, которым играла  
дочь, — и снова — опаловый туман, и в нем — тихие,  
как бы плавательные движения Аннелизы. Все, да-  
же самое грустное и стыдное в прошлой жизни, было  
прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа  
жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех  
пропастей, которые открылись ему теперь. Да и полно,  
умел ли он до конца пользоваться даром острого  
зрения. Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив,

скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья. Кречмар теперь понимал, что он, в сущности, ничем не отличался от тех узких специалистов, которых некогда так презирал, от рабочего, знающего только свою машину, от виртуоза, ставшего лишь придатком к музыкальному инструменту. Специальностью Кречмара было в конце концов живописное любово-страстие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остались только голос, да шелест, да запах духов — она как бы вернулась в ту темноту (темноту маленького кинематографа), из которой он ее когда-то извлек.

Не всегда, впрочем, Кречмар мог утешаться нравственными рассуждениями, не всегда удавалось ему себя убедить, что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение. Напрасно он обманывал себя тем, что ныне его жизнь с Магдой счастливее, глубже и чище, напрасно думал о ее трогательной преданности. Конечно, это было трогательно, конечно, она была лучше самой верной жены, эта незримая Магда, этот ангельский холодок, этот голос, уговаривающий его не волноваться... Но как только он ловил в кромешной тьме мимолетную пугливую руку и старался выразить свою благодарность, в нем сразу высыпалась такая жажда ее узреть, что всякая мораль летела к черту, он чувствовал, как надвигается безумие, лицо его дергалось, он мучительно пытался родить свет. Под предлогом, что всякое волнение ему вредно, Магда решительно запрещала ему трогать ее, но иногда ему удавалось ее схватить, и тогда он ошупывал ее голову и тело, стараясь увидеть ее через осязание и все равно не видя ничего. Горн, который очень любил сидеть с ним в одной комнате, жадно следил за его движениями. Магда упиралась слепому в грудь, поднимала глаза к небу с комической резиньязией или показывала Кречмару язык, что было особенно, конечно, смешно по сравнению с выражением безысходной нежности на лице слепого. Магда ловким поворотом

вырывалась и отходила к Горну, который сидел на подоконнике, босой, в белых штанах и по пояс голый, — ему нравилось жарить спину на солнце. Кречмар полулежал в кресле, одетый в пижаму и халат; его лицо обросло жестким курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам, — он походил на бородатого арестанта.

— Магда, вернись, — умоляюще говорил он, протягивая руку.

— Тебе вредно, тебе вредно, — равнодушно отвечала она, поглаживая Горна по его длинной и мохнатой спине. Кречмар не унимался, дергался, яростно противился.

— Я хочу тебя, — говорил он. — Гораздо вреднее, что вот уже два месяца мы не... (тут следовал самодельный, так сказать, глагол домашний, ласкательный, из их любовного лексикона). Горн подмигивал Магде. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмар продолжал ее звать, словно тетерев на току. Порою Горн, любивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него, — и Кречмар издавал мурлыкающий звук, хотел обнять мнимую Магду, но Горн, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике и грел спину.

— Мое счастье, умоляю, — задыхался Кречмар и вставал с кресла и шел на нее, — Горн на подоконнике поджимал ноги. Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчас уедет, бросит его, если он не будет слушаться, и он, с виноватой усмешечкой, пробирался обратно к своему креслу.

— Ладно, ладно, — вздыхал он. — Почитай мне что-нибудь — газету, что ли.

Она опять поднимала глаза к небу.

Горн осторожно пересаживался на диван, брал Магду к себе на колени, и она разворачивала газету и читала вслух, и Кречмар сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая

и опять вбирая губы в подражание ее манере читать, или делал вид, что сейчас уронит ее, и у нее срывался голос.

«Да, может быть, все это к лучшему, — думал Кречмар. — Наша любовь теперь строже, и тише, и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит действительно любит. Это хорошо, это хорошо». И вдруг ни с того ни с сего он начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, к четвертому, только бы прозреть, все, что угодно, операцию, пытку, прозреть... Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад.

В первое время совместного житья он и Магда были очень осмотрительны, хотя и позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты, в коридоре, он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Кречмар, впрочем, после первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат, зато спальню свою и кабинет изучил досконально, Магда описала ему все краски там — синие обои, желтый абажур, — но, по наущению Горна, нарочно все цвета изменила: Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует. В своих комнатах у Кречмара почти было ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он изредка сидел в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно и многошумно, чтобы можно было описать.

Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам, и вскоре Горну стало затруднительно незаметно входить и выходить; как бы беззвучно ни открывалась дверь, Кречмар сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал: «Это ты, Магда?» А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда

Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились Горн и Магда, привыкая к невидимости своей любви.

— Не может быть, — проговорил он тихо и отдельно.

— Что, Бруно, не может быть?

— Ах, пустые мысли, — ответил он угрюмо, — пустые мысли.

— Вот что, Магда, — проговорил он минуту спустя, — я ужасно оброс, вели парикмахеру прийти из деревни.

— Лишнее, — сказала Магда. — Тебе очень идет борода.

Кречмару показалось, что кто-то, не Магда, а как бы около Магды, гнусаво усмехнулся.

## XXXVI

Макс принял его у себя в конторе.

— Вряд ли вы помните меня, — сказал Зегелькранц. — Я встречал вас лет восемь тому назад у Бруно, у Кречмара. Скажите ради Бога, он здесь! Вы что-нибудь знаете о нем?

— Под Цюрихом, — ответил Макс. — Я случайно знаю, у нас с ним общий банк. Совершенно ослеп, больше мне ничего не известно.

— Вот именно! — вскричал Зегелькранц. — Совершенно ослеп. В некотором смысле это случилось через меня. Мы в прежние годы были с ним так близки. Боже мой, мы сживали, бывало, часами в кабачках, — как он любил живопись, как пламенно! А теперь — представьте себе, столкнулись мы с ним на маленькой станции, я думал, что он путешествует один, мне в голову не пришло...

— Простите, — сказал Макс. — Я не совсем понимаю вас. Вы что — виделись с ним непосредственно перед катастрофой?

— Вот именно, вот именно. Но посудите сами, — как я мог угадать, как я мог думать, что он свою жену...

— Если разрешите, — перебил Макс, — мы это оставим в стороне. Предпочитаю не говорить о том, как он поступил с моей сестрой. Судьба, конечно, достаточно его наказала. Мне жалко, мне очень жалко его. Когда мы прочли в газетах о том, как он расшибся, — ах, да что говорить. Не могу же я допустить, чтобы моя сестра теперь ехала к нему, поступала бы к нему в сиделки. Это ведь абсурд! Я не хочу, чтобы вы с ней говорили, — это абсурд. Только она успокоилась немного — сразу новый повод для волнения. Так что напрасно он послал вас ко мне — я не желаю вступать ни в какие переговоры, все это кончено, кончено.

— Никто меня не посылал! — крикнул Зегелькранц. — Почему вы такой тон со мной берете? Странно, право. Вы ведь не знаете самого главного. С ним путешествовал его приятель, художник, фамилию в данную минуту забыл — Берг, нет, не Берг, — Беринг, Геринг...

— Не Горн ли? — мрачно спросил Макс.

— Да-да, конечно, Горн! Вы его?..

— ...Знаменитость — пустил моду на морских свинок. Препротивный господин. Я его раза два видел. Но при чем это все?

— Я же вижу, что вы не в курсе дела. Поймите: выяснилось, что эта женщина и этот художник, за спиною Бруно...

— Мерзость. Свинарник, — проговорил Макс.

— И вот представьте себе: Бруно это узнает. Я не стану вам говорить, как именно узнает, — слишком страшно, художественный донос, но факт тот, что он узнает, и дальше следует неописанное, неопишемое, — он сажает ее в автомобиль и мчится сломя голову, мчится по зигзагам шоссе, сто верст в час, над обрывами, и нарочно метит в пропасть — самоубийство, двойное самоубийство... Но не удалось: она цела, он ослеп. Вы теперь понимаете?..

Пауза.

— Да, это для меня новость, — сказал наконец Макс. — Это для меня новость. А что случилось с тем прохвостом?

— Неизвестно, но есть все основания думать, что он, подобно акуле, последовал и дальше за ними. И вот теперь вообразите: человек слеп, физически слеп, но этого мало, он знает, что кругом измена, а сделать ничего не может. Ведь это пытка, застенки! Надо что-нибудь предпринять, нельзя это так оставить.

— Он проживает там огромные деньги, — задумчиво сказал Макс. — Вероятно, на какое-нибудь особенное лечение. Или же... — да, он совершенно беспомощен. Навестите его, узнайте, как он живет, — мало ли что может быть.

— Я бы с удовольствием, — нервно сказал Зегелькранц, — но дело в том... Мое здоровье расшатано, мне страшно вредны такие вещи. Я и так поступил Бог знает как опрометчиво, покинув теплый юг. Я не представляю себе встречу с Бруно — пожалуйста, не настаивайте, чтобы я ехал. Мне просто хотелось уведомить вас. Вы человек осмотрительный, осторожный — умоляю, поезжайте вы! Я вам оставлю мой адрес, вы мне напишете обо всем. Скажите, что поедете.

— Придется, — хмуро ответил Макс. — Я только боюсь, что, может быть, вы — как бы это сказать? — преувеличиваете немного или точнее...

— Значит поедете, — радостно перебил Зегелькранц. — Ах, как чудесно. Теперь я спокоен. Мне этот разговор был очень тяжел, поверьте. Вы не знаете, что я пережил за последнее время...

Он ушел, очень довольный. Судьбой Кречмара он распорядился как нельзя лучше, и вообще героической поездкой в Берлин искупил свою невольную вину. И кто знает, быть может, не сегодня, конечно, и не завтра, но когда-нибудь, когда-нибудь (скажем, через месяц) можно будет кое-что извлечь из всей этой истории, изобразить, скажем, вдохновенного, не от мира сего, писателя и его друга, тяжелого и простова-

того человека, чтение на холму, близ журчащего источника, и так далее, и так далее. Чистые мысли, прекрасные мысли...

Макс же, вернувшись домой, с напускной веселостью предложил Аннелизе выйти пройтись, был теплый солнечный вечер, на балконах сидели мужчины в жилетах, в небе порой раздавалось жужжание аэроплана.

— Мне, вероятно, придется на днях уехать, — сказал Макс. — По делу.

Она посмотрела точь-в-точь тем же взглядом, как некогда, когда он с Ирмой вернулся из Спорт-Паласа, и, вспомнив это, Макс отвел глаза. Они молча пошли до конца улицы.

— Да, это нужно, — вдруг произнесла Аннелиза. Макс откашлялся. Они молча вернулись по той же стороне улицы.

На следующий день он выехал в Цюрих. Там он сел в автомобиль и через час с небольшим оказался в деревне, недалеко от которой жил Кречмар. Он остановился у почтамта, и служащая — очень словоохотливая девица — объяснила, как доехать до шале, и добавила, что Кречмар живет с племянницей и доктором. Макс немедленно покати́л дальше. Он понимал, что это за племянница, но присутствие доктора его удивило, это доказывало, что Кречмар окружен некоторой заботой. «Может быть, я зря еду, — подумал Макс, — может быть, он вполне доволен. Нет, раз уж я тут... Поеду, поговорю с этим доктором... Несчастный, безвольный человек, погибшая жизнь, кто мог предвидеть...»

Магда в то утро вместе с Эмилией была в деревне по хозяйственным делам (надо было, например, хорошенько выругать прачку за розовые подтеки на белом джампере). Автомобиль Макса она, однако, проглядела, но зато, зайдя на почтамт за газетами, узнала, что только что полный господин справлялся о Кречмаре и поехал к нему.

В это время в маленькой гостиной, освещенной солнцем через стеклянную дверь на веранду, сидели

друг против друга Кречмар и Горн. Горн нарочно оставался теперь дома, так как желал сполна насладиться последними днями этого чрезвычайно забавного житья. Было решено через неделю ехать в Берлин, и уже там нельзя было рассчитывать на такое увеселение — слишком рискованно. Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый. От ежедневных солнечных ванн в саду или на крыше (где он, нежно воя, изображал элову арфу), его художавое, но сильное тело, с черной шерстью в форме распростертого орла на груди, было кофейно-желтого цвета. Ногти на ногах были грязны и зазубрены. Недавно он облил голову под краном на кухне, так что темные его волосы лежали плоско и лоснились. В красных выпученных губах он держал длинный стебелек травы и, скрестив мохнатые ноги и подперев подбородок рукой, на кисти которой горел Магдин браслет, он не спускал глаз с лица Кречмара, который тоже, казалось, пристально смотрит на него. На Кречмаре был широкий мышинового цвета халат, бордатовое лицо выражало мучительное напряжение. Он прислушивался — последнее время он только и делал, что прислушивался, и Горн это знал и внимательно наблюдал отражение каких-то ужасных мыслей, пробегавших по лицу слепого, и при этом испытывал восторг, ибо все это было изумительной карикатурой, высшим достижением карикатурного искусства. Затем Горн, желая еще обострить забаву, легонько шлепнул себя по колену, и Кречмар, который как раз поднимал руку к нахмуренному своему челу, замер с приподнятой рукой. Тогда, медленно подавшись вперед, Горн тронул это чело пушистым концом длинной былинки, которую только что сосал. Кречмар, странно и отрывисто вздохнув, отогнал невидимую муху. Горн пощекотал ему губы — снова отгоняющий жест. Это было весьма смешно. Вдруг слепой резко двинулся, насторожившись. Горн повернул голову и увидел через стеклянную дверь краснолицего толстяка, как будто знакомого, с автомобиль-

ными очками над бровями, остолбеневшего от изумления на каменной площадке веранды.

Горн, глядя на него, приложил палец к губам и хотел еще показать, что сейчас выйдет к нему, но тот рванул дверь и вступил в гостиную.

— Конечно, я вас знаю. Ваша фамилия Горн, — сказал Макс, тяжело дыша и смотря в упор на этого голого человека, который ухмылялся и все прикладывал палец к губам, нисколько не стыдясь своей отвратительной наготы.

Кречмар меж тем встал, розовая краска шрама словно разлилась по всему его лбу, он стал вдруг кричать, кричать совершенно бессмысленно, и только постепенно из этой мешанины грудных звуков стали образовываться слова.

— Макс, я тут один, — кричал он. — Макс, скажи, что я один. Горн в Америке, Горна здесь нет, я умоляю. Я ведь совершенно слеп.

— Дурак, — сказал Горн, махнув рукой, и побежал к двери, ведущей на лестницу.

Макс схватил трость, лежавшую на полу, около кресла, догнал Горна — Горн обернулся, выставив ладони, — и Макс, добрейший Макс, который в жизни своей не ударил живого существа, со всей силы треснул Горна палкой по голове около уха. Тот отскочил, продолжая усмехаться, — и вдруг произошла замечательная вещь: словно Адам после грехопадения, Горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу. Макс кинулся на него, но голый увильнул и избежал по лестнице. В это мгновение что-то навалилось сзади на Макса. Это был Кречмар — он кричал, он держал в руке мраморное пресс-папье.

— Макс, — захлебывался он, — Макс! Я все понимаю, дай мне пальто, дай скорее пальто, оно тут в шкапу!

— Желтое? — спросил Макс, борясь с одышкой. Кречмар сразу нащупал в кармане то, что ему было нужно, и перестал кричать.

— Я немедленно везу тебя прочь отсюда, — сказал Макс. — Снимай халат и надевай пальто. Оставь это

пресс-папье. Дай, я тебе помогу... Это чудовищно, что они тут делали с тобой. Вот. Бери мою шляпу, — ничего, что ты в ночных туфлях. Пойдем, пойдем, Бруно, у меня там, внизу, автомобиль — главное, скорее убраться из этого застенка!

— Нет, — сказал Кречмар. — Нет. Я сперва должен с ней поговорить — она должна подойти ко мне вплотную, вплотную. Сейчас вернется, подождем ее. Я хочу, Макс. Это продолжится одну минуту.

Но Макс вытолкнул его на веранду, затем в сад и, увидя оттуда внизу на дороге свой автомобиль, заорал и замахал, призывая шофера.

— Только чтобы она подошла ко мне, — повторял Кречмар, — совсем близко. Ради Бога, скажи, Макс. Может быть, она уже здесь? Может быть, она уже вернулась? Может быть, она идет рядом?

— Нет, Бруно, успокойся. Идем, пожалуйста. Никого нет, только этот голый смотрит из окна. Пойдем, милый, пойдем.

— Я пойду, — сказал Кречмар. — Но только ты скажи мне, если ее увидишь, мы ее можем встретить. Тогда не мешай ей, пускай она ко мне приблизится, прибли, бли, приблизится...

Они стали спускаться по тропинке, но через несколько шагов Кречмар вдруг повалился навзничь в глубоком обмороке, Макс едва успел его поддержать. Подоспел запыхавшийся шофер. Он и Макс понесли Кречмара в автомобиль. В это время подъехала таратайка, из нее выскочила Магда. Она подбежала, крикнула что-то, но автомобиль попятился, чуть ее не задавил и сразу ринулся вперед и скрылся за поворотом.

## XXXVII

Аннелиза получила телеграмму из Цюриха во вторник, а в среду, около восьми часов вечера, услышала в прихожей голос Макса, стук чемодана о косяк, шаги, движение. Дверь открылась, Макс ввел Кречмара. Он

был чисто выбрит, в темно-синих очках, на бледном лбу был шрам, незнакомый бледно-лиловый костюм казался слишком просторным.

— Привез, — спокойно сказал Макс, и Аннелиза заплакала, прижимая платок ко рту. Кречмар безмолвно поклонился по направлению невнятного плача.

— Пойдем помыть руки, — сказал Макс, медленно ведя его через комнату.

Потом сидели втроем в столовой, ужинали. Аннелиза все не могла привыкнуть смотреть на мужа. Ей казалось, что он все-таки чувствует ее взгляд. Печальная торжественность его движений, манера ощупывать воздух доводили ее до какого-то тихого исступления жалости. Макс говорил с Кречмаром как с ребенком и деловито резал ему ветчину.

Его поместили в бывшую комнату Ирмы — Аннелиза сама удивилась тому, как легко ей было, ради этого нечаянного жильца, нарушить сон комнатки, все в ней изменить, переставить, приноровить ее к удобствам слепца.

Кречмар молчал. Правда, сначала, то есть еще в Цюрихе, проездом в Берлин, он не переставая, с тяжелой, бредовой настойчивостью упрашивал Макса вызвать Магду на минутное свидание — он клялся, что эта последняя встреча продлится не более минуты; действительно, долго ли нужно, чтобы в привычной темноте нащупать и, крепко схватив одной рукой, сразу ткнуть стволом браунинга в грудь или в бок и выстрелить — раз, еще раз, до семи раз. Макс упорно отказывался просьбу его уважить — и тогда-то он замолчал, молча ехали до Берлина, молча прибыл и затем промолчал три дня... Аннелиза так и не услышала его голоса — словно бы он не только ослеп, но и онемел.

Черная увесистая вещь, сокровищница смерти, лежала в глубоком кармане пальто, завернутая в шелковистое кашне. Запершись в уборной вагона, он переместил браунинг в задний карман штанов, а затем, когда приехал, — в свой чемодан и ключ от чемодана

ночью держал в кулаке, но к утру, во время какой-то сложной и смутной погони, потерял его и, проснувшись, долго его искал, шарил в беспросветной тьме постели, и, найдя его наконец, отпер чемодан и снова переложил браунинг в карман штанов, так, чтобы он оставался всегда, всегда при нем.

И он продолжал молчать. Присутствие Аннелизы в доме, ее шаги, ее шепот (она почему-то говорила с прислугой и с Максом шепотом) были в конце концов столь же условны и призрачны, как его воспоминание о ней. Да, шелестящее, слабо пахнущее одеколоном воспоминание, больше ничего. Подлинная жизнь, та хитрая, увертливая, мускулистая, как змея, жизнь, жизнь, которую следовало пресечь немедленно, находилась где-то в другом месте, — где? Неизвестно. С необычайной ясностью он представлял себе, как после его отъезда она и Горн — оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами навывкате — собирают вещи, как Магда целует Горна, трепеща жалом, извиваясь среди открытых сундуков, как наконец они уезжают — но куда, куда? Миллион городов и сплошной мрак.

Прошло три немых дня. На четвертый, рано утром, так случилось, что он остался без надзора: Макс только что уехал на службу, Аннелиза, не спавшая всю ночь, еще не выходила из своей спальни. Кречмар, в мучительной жажде немедленного действия, пошел ходить по квартире, ощупывая мебель и косяки. Уже некоторое время звонил в кабинете телефон, и это напоминало о том, что в Берлине есть издательства, к которым тот, невидимый, был причастен, общие знакомые, возможность что-нибудь узнать, — но Кречмар не мог припомнить ни одного телефонного номера, все было где-то записано, ничего не хранилось в голове. Звон напряженно раздувался и спадал опять. Кречмар снял незримую трубку и приложил ее к уху. Смутно-знакомый мужской-голос спрашивал господина Гогенварта, то есть Макса.

— Нет дома, — ответил Кречмар.

— Ах, вот как, — замялся голос и вдруг бодро сказал: — Это вы, господин Кречмар?

— Да, да, а вы кто?

— Шиффермюллер. Я вот по какому поводу. Я только что звонил в контору к господину Гогенварту, но его еще не было. Я думал, что успею застать его дома. Как удачно, что вы тут, господин Кречмар. Вероятно, все в порядке, но как-никак, я почел своим долгом... Дело в том, что сейчас заехала сюда фрейлейн Петерс за своими вещами. Я ее пустил в вашу квартиру, но я не знаю... может быть, какие-нибудь распоряжения...

— Все в порядке, — сказал Кречмар, с трудом двигая одеревеневшими, как от кокаина, губами.

— Что вы говорите?

— Все в порядке, — повторил Кречмар.

— Я не слышу, простите?

— Все в порядке, — повторил Кречмар чуть яснее и дрожа повесил трубку.

Каким-то чудом ничего не задев, он пробрался в переднюю, хотел было отыскать трость и шляпу, но это выходило слишком долго, слишком сложно. Поспешно поглаживая края ступеней подошвами и скользя ладонью по перилам, неловко подгибая колени на площадках и повторяя «в порядке, в порядке», — Кречмар спустился и вот оказался на улице. Мелкое, мокрое сразу закололо его в лоб. Он двинулся, потрагивая склизкое железо палисадника и прислушиваясь, не проезжает ли таксомотр. Вот — неторопливый и влажный шелест шин. Кречмар отрывисто крикнул. Шелест бесстрастно удалился. «Ах, надо скорее», — пробормотал он.

— Хотите, я помогу вам перейти? — предложил приятный женский голос у самого плеча.

— Ради Бога, автомобиль, — сказал Кречмар.

Звук мотора, шелест. Кто-то помог ему влезть. Кто-то захлопнул дверцу.

— Прямо, прямо, — тихо произнес Кречмар, а когда уже автомобиль тронулся, он подался вперед,

наткнулся пальцем на стекло, постучал, сообщил адрес.

Будем считать повороты. Первый — это, вероятно, Моцштрассе. Слева заскрежетал и звякнул трамвай. Кречмар вдруг повел рукой вокруг себя, ощупал сиденье, переднюю стенку, пол, пораженный мыслью, что, быть может, кто-нибудь сел вместе с ним. Опять поворот — это, должно быть, Виктория-Луизе-Плац. Или Прагер-Плац? Сейчас будет Кайзер-Аллее. Остановились. Неужели приехали? Не может быть, просто перекресток. Еще по крайней мере пять минут езды до... Но дверца открылась.

— Пожалуйста, — сказал голос шофера. — Пятьдесят шестой номер.

Кречмар вышел на панель. Перед ним в воздухе, радостно приближаясь, появилось полное издание того голоса, который только что звучал в телефоне. Шиффермюллер, швейцар дома, сказал:

— Как неожиданно, как приятно, господин Кречмар. Фрейлейн Петерс у вас наверху, она...

— Тише, тише, — пробормотал Кречмар. — Заплатите тут. У меня с глазами... — Он наткнулся коленом на что-то звонкое и как будто валкое — детский велосипед, может быть. — Да впустите же меня в дом, — сказал он. — Дайте мне ключ от моей квартиры. Скорее же. Теперь введите меня в лифт. Скорее же. Нет, нет, оставайтесь внизу. Я один поднимусь. Я сам нажму кнопку...

Лифт мягко застонал, голова слегка закружилась, потом ударило под пятки, доехал.

Он вышел, шагнул, но, не совсем рассчитав направление, сошел одной ногой в бездну, нет, не в бездну, а просто вниз, на следующую ступеньку лестницы, и невольно сел. «Правее, гораздо правее», — прошептал он и, вытянув руку, добрался до двери. Стараясь не слишком царапать и звякать, он нашел скважину, сунул в нее ключ, повернул, знакомая песня отворяющейся двери.

Слева, слева, да — в небольшой угловой гостиной — проворно шуршала бумага, затем что-то легко, легко хрустнуло, как будто суставы приседающего на корточки человека. «Вы сейчас мне будете нужны, господин Шиффермюллер, — сказал Магдин голос. — Вы должны будете мне помочь все это...» Голос осекся. «Увидела», — подумал Кречмар и вынул из кармана пистолет. Слева, в комнате, туго щелкнуло, Магда крикнула и певуче продолжала: «...все это снести вниз. Или лучше позовите...» Тут голос ее как бы обернулся на слове «позовите», и последовала тишина.

Кречмар, держа в правой руке браунинг, нащупал левой косяк открытой двери, вошел, захлопнул дверь за собой и спиной прислонился к ней.

Тишина продолжалась. Он знал, что он с Магдой один в этой комнате, откуда только один выход, — тот, который он заслонял. Комнату он словно видел воочию: слева — полосатый диванчик, у правой стены — столик, и на нем фарфоровая балерина, в углу у окна — шкафчик с драгоценными миниатюрами, посередине — другой стол, побольше, и два полосатых стула.

Выпрямив руку, он стал поводить браунингом перед собой, стараясь вынудить какой-нибудь уяснительный звук. Чутьем, впрочем, он знал, что Магда где-то около горки с миниатюрами, — оттуда шло как бы легчайшее ядовито-душистое тепло, и что-то дрожало там, как дрожит воздух в зной. Он начал суживать дугу, по которой водил стволом, и вдруг раздался тихий скрип. Выстрелить? Нет, еще рано. Нужно подойти ближе. Он ударился о стол и остановился. Ядовитое тепло куда-то передвинулось, но звука перехода он не уловил за громом и треском собственных шагов. Да, теперь оно было левее, у самого окна. Запереть за собой дверь, тогда будет свободнее. Ключа не оказалось. Тогда он взялся за край стола и, отступая, потянул его к двери. Опять тепло передвинулось, сузилось, уменьшилось. Он заставил дверь и стал опять водить перед собой

браунингом и опять нашел во мраке живую дрожащую точку. Тогда он тихо двинулся вперед, стараясь не скрипеть, чтобы не мешать слуху. Он наткнулся на твердое и, не опуская браунинга, исследовал препятствие. Небольшой сундук. Он отодвинул его к дивану и опять пошел по диагонали комнаты, загоня невидимую добычу в угол. Его слух и осязание были так обострены, что теперь он отлично чувствовал ее. Это был не звук дыхания и не биение сердца, а некое сборное впечатление, звучание самой жизни, которое сейчас, вот сейчас, будет прекращено, и тогда наступит покой, ясность, освобождение от тьмы... Но он почувствовал внезапно какое-то полегчание в том углу — повел пистолетом в сторону, и угол опять наполнился теплым присутствием. Затем оно как бы стало понижаться, это присутствие, оно опускалось, опускалось, вот поползло, вот стелется по полу. Кречмар не выдержал и нажал собачку. Выстрел словно лягнул тьму, и тотчас после этого что-то взвилось и ударило его — сразу в голову, в плечо и в грудь. Он упал, запутавшись — в чем? — в стуле, в летающем стуле. Падая, он выронил браунинг, мгновенно нащупал его, но одновременно почувствовал быстрое дыхание, холодная, проворная рука попыталась выхватить то, что он сам хватал, Кречмар вцепился в живое, в шелковое, и вдруг — невероятный крик, как от щекотки, но хуже, и сразу: звон в ушах и нестерпимый толчок в бок, как это больно, нужно посидеть минутку совершенно смирно, посидеть, потом потихоньку пойти по песку к синей волне, к синей, нет, к сине-красной в золотистых прожилках волне, как хорошо видеть краски, лыются они, лыются, наполняют рот, ох, как мягко, как душно, нельзя больше вытерпеть, она меня убила, какие у нее выпуклые глаза, базедова болезнь, надо все-таки встать, идти, я же все вижу, — что такое слепота? отчего я раньше не знал... но слишком душно булькает, не надо булькать, еще раз, еще, перевалить, нет, не могу...

Он сидел на полу, опустив голову, и потом вяло наклонился вперед и криво упал на бок.

Тишина. Дверь широко открыта в прихожую. Стол отодвинут, стул валяется рядом с мертвым телом человека в бледно-лиловом костюме. Браунинга не видно, он под ним. На столике, где некогда, во дни Аннелизы, белела фарфоровая балерина (перешедшая затем в другую комнату), лежит вывернутая дамская перчатка. Около полосатого дивана стоит щегольской сундучок с цветной наклейкой: Сольфи, Отель Адриатик. Дверь из прихожей на лестницу тоже осталась открытой.

# Приглашение на казнь

РОМАН



«Comme un fou se croit Dieu nous  
nous croyons mortels».

*Delalande.*

«Discours sur les ombres»<sup>1</sup>

## I

Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь цинциннатовой камеры, — не тот ключ, — всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, — сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, — был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, — он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.

Итак — подбираемся к концу. Правая, еще непопечатавшая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спо-

---

<sup>1</sup> «Как сумасшедший мнит себя Богом, так мы считаем себя смертными». Делаланд. «Рассуждения о теньях» (*франц.*).

койная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтения — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста. Цинциннат написал: «и все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым скиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно! Родион смотрел в голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы — четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка, — официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).

Спустя некоторое время, тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера. Цинциннат был легок

как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.

Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержащих необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери — картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных», загнувшийся угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города, — а именно: доменная печь с крыльями, — и давали нужный материал вечернему отблеску). Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стенело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоящий электрический свет.

Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь открылась, и вошел директор тюрьмы.

Он был как всегда в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой

морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, — но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, — и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.

— Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, — начал он сдобным басом, — я почел своим долгом, сударь мой —

Цинциннат сказал:

— Любезность. Вы. Очень. (Это еще нужно расставить.)

— Вы очень любезны, — сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.

— Помилуйте, — воскликнул директор, не замечая бестактности слова. — Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?

Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.

— Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, — проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобное было есть пудинг-кабинет.

Цинциннат сказал:

— Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.

— Превосходный сабайон! Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.

— Так что может быть в ближайшее утро? — спросил Цинциннат.

— Если вас интересует, — сказал директор. — Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу.

А теперь, pour la digestion<sup>1</sup>, позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, — добавил он находчиво.

— Я спрашиваю, — сказал Цинциннат, — я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас... Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, — это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда — вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ... Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему.

— Ах, пожалуйста, не надо бормотать, — нервно сказал директор. — Это, во-первых, против правил, а, во-вторых, — говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это, что со дня на день ожидается приезд вашего суженого, — а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?

— Нет, — ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. — Но только мне кажется, что по закону — ну не вы, так управляющий городом обязан —

— Потолковали, и будет, — сказал директор; — я собственно здесь не для выслушивания жалоб, а для того... — Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.

— Пепельницы тут нет, — заметил он, поводя папиросой, — что ж, давайте утопим в остатке этого соуса... Так-э. Свет, пожалуй, чуточку режет.. Может быть, если... Ну да уж ничего, сойдет.

---

<sup>1</sup> Для пищеварения (*франц.*).

Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры». — Я думаю, нам лучше встать, — озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.

Цинциннат встал тоже.

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем произвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, — и этого я не забуду никогда, — обставить твоё житие в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые позволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъавлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».

— Вот, — сказал директор, складывая очки. — Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.

Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Цинциннат вышел.

В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теновом табурете, — и лишь мельком, с краю, вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Цинциннат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, с неосязаемой спиралью призрачных перил. Дойдя до низу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот: «канцелярия» — была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинциннат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был: молчание, — и солдат у ворот отозвался

молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, попал на пепельную тропу между скал, пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая; наконец стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, — и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цепью, но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею. Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамириных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков... Там, где, бывало, когда все становилось невтерпез и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами... Зеленое, муравчатое Там, тамошние холмы, томление прудов, тамтам далекого оркестра... Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип, мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины, и вышел на Телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера на подразумеваемой скамейке. «А ведь он ошибается», — сказал один. Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно смешиваясь с шелестом листвы. Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу, — голова кубом, слепившиеся ноги, — и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах одинаковых домов, неординаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но

открыто. Дети должно быть спали на горбоносом балконе: там белелось что-то. Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно! На столе блестел карандаш. Паук сидел на желтой стене.

— Потушите! — крикнул Цинциннат.

Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться; но вмешались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще один раз, а Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда (то есть лежа навзничь на тюремной койке, за полночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение.

Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой, сливочной белизны, шее, была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом, и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел ярко-цветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, — но лица были неясны, — одна только круглоглазая Марфинька из всех зрителей и запомнилась ему. Адвокат и прокурор, оба крашенные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые

полагались каждому. Они говорили вперемежку, и судья, следя за мгновенными репликами, вправо, влево мотал головой, и равномерно мотались все головы, — и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на Цинцинната, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации, выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело.

Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинцинната в ушах, и шум крови превращался в рукоплескания, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, — приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самой дуле, выпустила одинокий, но длинный волос, — произнес сырым шепотом: «с любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр», — выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник.

«А я ведь сработан так тщательно, — думал Цинциннат, плача во мраке. — Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна»...

Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.

## II

Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, — местный листок «Доброе Утречко» и более серьезный орган «Голос Публики», — как всегда кишели цветными снимками. В первой он нашел фасад своего дома: дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфиньки; во второй — знакомый вид

из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности.

Цинциннат родился от неизвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за Стропью (только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цецилией Ц., зачавшей его ночью на Прудах, когда была совсем девочкой). С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изошрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особенность. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков — лукавый отвод, и что в действительности Цинциннат непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении, собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и наконец спрашивал:

— Да что с тобой, Цинциннат?

Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.

С течением времени безопасных мест становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, — как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас — и тебя, и меня, и вот его, — делающий то, что в данное мгновение

хотелось бы сделать, а нельзя...). Цинциннат спокойно отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку, — и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения.

Детство на загородных газонах. Игнали в мяч, в свинью, в карамору, в чехарду, в малину, в тычь... Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимой городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на «стеклянных» сабуровских санках... Как быстро наступала ночь, когда с катанья возвращались домой... Какие звезды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна; женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицу из дома в дом; электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запыленным рельсам.

Голосок: «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинцинната...»

Он не сердился на доносчиков, но те умножались и, мужая, становились страшны. В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, — ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре, куда его водили в детстве, и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, — но каждая была для всех горожан кроме него так же ограничена и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не

названо, — не существует. К сожалению, все было названо.

«Бытие безымянное, существенность беспредметная...» — прочел Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.

«Вечные именинники, мне вас — » — написано было в другом месте.

Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии: «Обратите внимание, что когда они с вами говорят — » — дальше, увы, было стерто.

Рядом — корявыми детскими буквами: «Писателей буду штрафовать» — и подпись: директор тюрьмы.

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смерьте до смерти, — потом будет поздно».

— Меня во всяком случае смерили, — сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. — Как мне, однако, не хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лет было Цинциннату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, — и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом ценные волюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в Стропь посредством специально прорытого канала.

Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, — тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь

в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоношенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговицы Добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, но другое отвлекло его внимание.

Там-то, на той маленькой фабрике, работала Марфинька, — полуоткрыв влажные губы, целилась ниткой в игольное ушко: «Здравствуй, Цинциннатик!» — и вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных (так что даже случилось — холмы в отдалении бывали дымчаты от блаженства своего отдаления) Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день-деньской играющие в прятки; какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки (уловка, — подделка из коричневой крашеной жести), — какой-нибудь олененок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца, — вот они были каковы эти сады! Там, там — лепет Марфиньки, ее ноги в белых чулках и бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда — хотя бы древесные макушки, хотя бы грядку отдаленных холмов...

Цинциннат подвязал потуже халат. Цинциннат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости стол: как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу, его содрогания передавались пальцам Цинцинната, небу Цинцинната, отступавшего к окну (то есть к той стене, где высоко, высоко была за решеткой пологая впадина окна). Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покатылся карандаш, за-

скользила книга по книге. Цинциннат поднял брыкающийся стул на стол. Сам наконец влез. Но, конечно, ничего не было видно, — только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синева. Цинциннат едва мог дотянуться до решетки, за которой покато поднимался туннель окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробовал тоже».

Цинциннат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения, руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки.

— Того и гляди свалитесь, — сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. — Ничего, ничего, держу. Можете слезать.

У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудная рыжая борода. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинциннату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил, сам же Цинциннат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, — после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь в пол, — приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать.

Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже

пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел.

Цинциннат, сидя на полу, сквозь слезы посмотрел ввысь, где отражение решетки уже переменило место. Он попробовал — в сотый раз — подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены. Он съел винную ягоду и опять зашагал по камере.

Девятнадцать, двадцать, двадцать один. В двадцать два года был переведен в детский сад учителем разряда Ф, и тогда же на Марфиньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей (состоявших в том, чтобы занимать хроменьких, горбатеньких, косеньких), был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал — оттого, что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, — пожить немного с Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, — дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, — а по праздникам качался с ними на качелях: вся гроздь замирала, взлетая; пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать.

Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять; с кем попало и где попало. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журуя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как женщина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение».

Скоро она забеременела — и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова — и снова не от него — и родила девочку. Мальчик был хром и зол; тупая, тучная девочка — почти слепа. Вследствие своих дефектов оба ребенка попали к нему в сад, и странно бывало видеть ловкую, ладную, румяную Марфиньку, ведущую домой этого калеку, эту тумбочку. Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, — и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится —» — тут последовало страшное, почти забытое слово, — и налетел ветер на акации, — и Цинциннат не нашел ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят.

«Вероятно, завтра», — сказал Цинциннат, медленно шагая по камере. — «Вероятно, завтра», — сказал Цинциннат и сел на койку, уминая ладонью лоб. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. «Вероятно, завтра, — сказал со вздохом Цинциннат. — Слишком тихо было сегодня, а уже завтра, спозаранку —»

Некоторое время все молчали: глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира; стены, друг

другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну; бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку; большие черные книги на столе...

«Какое недоразумение!» — сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело —

Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив, — подарок супруги директора.

Цинциннат, тебя освежило преступное твоё упражнение.

### III

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре.

Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, — все равно — с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, — тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), — прикрыв сердце и слегка прижав, Цинциннат слушал. Было шарканье многих шагов, в различных слоях слышимости; были голоса — тоже во многих разрезах; один набегал, вопрошающий; другой, поближе, отвечал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов — невнятных, но бесспорно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню проби-

вался детский голос, — у директора была дочка. Цинциннат различал и жалующийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родиона... Вот опять, на бегу, кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил. Кряхтение, треск, стукотня, — точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директор. Пробежали шаги. Пробежали шаги. Пробежали, вернулись. Цинциннат, изнемогая, спустил ноги на пол: так и не дали свидания с Марфинькой... Начать одеваться, или придут меня наряжать? Ах, довольно, войдите...

Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась и, скользя, влетел адвокат.

Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились.

— Запонку потерял, — воскликнул он, быстро, как пес, дыша. — Задел обо что... должно быть... когда с милой Эммочкой... шалунья всегда... за фалды... всякий раз как зайду... я, главное, слышал, как что-то... но не обратил... смотрите, цепочка очевидно... очень дорожил... ну, ничего не поделаешь... может быть еще... я обещал всем сторожам... а досадно...

— Глупая сонная ошибка, — тихо сказал Цинциннат. — Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца.

— Да нет, спасибо, пустяки, — рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.

Цинциннат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в ногах.

— Я к вам шел, — сказал адвокат, — такой бодрый, веселый... Но теперь меня расстроил этот пустяк, — ибо в конце концов это же пустяк, согласитесь, — есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?

— Склонным к откровенной беседе, — прикрыв глаза, отвечал Цинциннат. — Хочу поделиться с вами

некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории — хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня, вы, Роман Виссарионович, самый, кажется, убогий, но с другой стороны, — по вашему логическому положению в нашем выдуманном быту, — вы являетесь в некотором роде советником, заступником...

— К вашим услугам, — сказал адвокат, радуясь, что Цинциннат наконец разговорился.

— Вот я и хочу вас спросить: на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, — я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что... — Погодите же! Я хочу знать, во-первых: от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых: как добиться толку от этого учреждения, или лица, или собрания лиц...

Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли.

— Оставьте манжету, — сказал Цинциннат, — и попробуйте сосредоточиться.

Роман Виссарионович порывисто переменял положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом:

— Вот за этот тон...

— Меня и казнят, — сказал Цинциннат, — знаю. Дальше!

— Давайте переменяем разговор, умоляю вас, — воскликнул Роман Виссарионович. — Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного? Право же, это ужасно, это свыше моих сил. Я к вам зашел, просто чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-

либо законных желаний... например (тут у него лицо оживилось), вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания, вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение, которое мы оба с вами сейчас вместе и составили бы, — с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляров речей требуется вам, и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок, давайте, ах, давайте этим займемся, прошу вас! Я даже специальный конверт заготовил.

— Курьеза ради... — проговорил Цинциннат, — но прежде... Неужто же и вправду нельзя добиться ответа?

— Специальный конверт, — повторил адвокат, соблазняя.

— Хорошо, дайте сюда, — сказал Цинциннат и разорвал толстый, с начинкой, конверт на завивающиеся клочки.

— Это вы напрасно, — едва не плача, вскричал адвокат. — Это очень напрасно. Вы даже не понимаете, что вы сделали. Может, там находился приказ о помиловании. Второго не достать!

Цинциннат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято.

— Вот вы всегда так, — подвывал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. — Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его... Ужасно! Ну, что мне с вами делать? Теперь пиши пропало... А я-то — такой довольный... Так подготавливал вас...

— Можно? — растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. — Я вам не помешаю?

— Просим, Родриг Иванович, просим, — сказал адвокат, — просим, Родриг Иванович, дорогой. Только не очень-то у нас весело...

— Ну, а как нонче наш симпатичный смертник, — пошутил элегантный, представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку Цинцинната. — Все хорошо? Ничего

не болит? Все болтаете с нашим неугомонным Романом Виссарионовичем? Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович... могу вас порадовать, — озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. *La voici*<sup>1</sup>. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Compliments я обычно не делаю, но должен сказать...

Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются. Цинциннат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки — и с тоненьким бисерным звуком, под конец с запинками —

— Да, большой вкус, большой вкус, — повторял директор, — возвращаясь из угла под руку с адвокатом. — Вы, значит, здоровы, молодой человек, — бессмысленно обратился он к Цинциннату, влезавшему обратно в постель. — Но капризничать все-таки не следует. Публика — и все мы, как представители публики, хотим вашего блага, это, кажется, ясно. Мы даже готовы пойти навстречу вам в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литературных камер поселится новый арестант. Познакомьтесь, это вас развлечет.

— На днях, — переспросил Цинциннат. — Значит, дней-то будет еще несколько?

— Нет, каков, — засмеялся директор, — все ему нужно знать. А, Роман Виссарионович?

— Ох, друг мой, и не говорите, — вздохнул адвокат.

— Да-с, — продолжал тот, потряхивая ключами, — вы должны быть покладистее, сударик. А то все: гордость, гнев, глум. Я им вечор слив этих, значит, нес, — так что же вы думаете? — не изволили кушать, погнушались. Да-с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Ужо накалякаетесь с ним, а то вишь нос повесили. Что, не так говорю, Роман Виссарионович?

---

<sup>1</sup> Вот она (*франц.*).

— Так, Родион, так, — подтвердил адвокат с невольной улыбкой. Родион погладил бороду и продолжал:

— Оченно жалко стало их мне, — вхожу, гляжу, — на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка квояла. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка, — благодать, радость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то, — а сам реву, — вот истинное слово — реву... Оченно, значит, меня эта жалость разобрала.

— Повести его, что ли, наверх? — нерешительно предложил адвокат.

— Это, что же, можно, — протянул Родион со степенным добродушием, — это всегда можно.

— Облачитесь в халат, — произнес Роман Виссарионович.

Цинциннат сказал:

— Я покоряюсь вам, — призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам. Но все-таки я требую, — вы слышите, требую (и другой Цинциннат истерически затопал, теряя туфли), — чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить... и дадут ли мне свидание с женой.

— Вероятно, дадут, — ответил Роман Виссарионович, переглянувшись с Родионом. — Вы только не говорите так много. Ну-с, пошли.

— Пожалуйста, — сказал Родион и толкнул плечом отпертую дверь.

Все трое вышли: впереди — Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду; за ним — адвокат, во фраке, с нечистой тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисеи на затылке, там, где кончался черный парик; за ним, — наконец, Цинциннат, теряющий туфли, запахивающий полы халата.

У загиба коридора другой стражник, безымянный, дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли, шли, — за излучкой излука, — и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную

ребристую лошаль. Кое-где надо было включить электричество; горьким, желтым огнем загоралась пыльная лампочка, вверху или сбоку. Случалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где неожиданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора, Эммочка, в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках — дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, — играла в мяч, мяч равномерно стучался об стену. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвонил ключами; адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам; но она глядела на Цинциннату, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красносиним мячом.

Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где, над свернутой кишкой брандспойта, светилась красная лампочка. Родион отпер низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок: Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинциннату, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице, с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было не легко, а поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись. Воздух исподволь бледнел. Цинциннат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот, и вдруг налетел густой ветер, ослепительно распахнулось летнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточек.

Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние,

дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, вясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака.

Дальше большим полукругом расположился на солнцепеке город: разноцветные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени, — и можно было различить движение на Первом Бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь дубовых рощ, там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало, — а другие яркие овалы воды собирались, горя в нежном тумане, вон там на западе, где начиналась жизнь излучистой Стропи. Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов, на сизые, тающие холмы за ними, — ах, долго не мог оторваться...

В нескольких шагах от него, на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. Он задумчиво смотрел в пространство, левым лакированным башмаком наступя на правый и так оттягивая пальцами щеки, что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу и, молча, мел плиты террасы.

— Как это все обаятельно, — обратился Цинциннат к садам, к холмам, — (и было почему-то особенно приятно повторять это «обаятельно» на ветру, вроде того, как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира). — Обаятельно! Я никогда не видал именно такими этих хол-

мов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах, нельзя было бы мне. — Нет, лучше об этом не думать.

Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков; луга сменялись нивами, за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где сохранился почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями, самолет, который еще иногда пускался по праздникам, — главным образом для развлечения калек. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай.

Цинциннат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку.

— Будет с вас, — добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. — Айда по домам.

— Да, пора, — откликнулся адвокат, посмотрев на часы.

И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди — директор Родриг Иванович, за ним — адвокат Роман Виссарионович, за ним — узник Цинциннат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук у директора был сзади запачкан в известку.

#### IV

Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, — проскользнув под его руками, державшими поднос.

— Тю-тю-тю, — предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы: вот проказница...

Эммочка между тем спряталась от него за стол, присев на корточки.

— Книжку читаете? — заметил Родион, светясь добротой. — Дело хорошее.

Цинциннат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание, утвердительный ямб, — но глаза уже не брали строчек.

Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, — тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыль и накормив паука, — удалился.

Эммочка — все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на рессорах, — скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми, ресницами, смотрела поверх стола на дверь. Уже знакомое движение: быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцинната, который отложил книжку и ждал, что будет дальше.

— Ушел, — сказал Цинциннат.

Она встала с корточек, но, еще согбенная, смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг, оскалась, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, — разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух.

Цинциннат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать.

— А меня тебе жалко? — спросил Цинциннат.

На это она не ответила ничего. Подняла к лицу глиняный кувшин, стоявший в углу. Пустой, гулкий. Погукала в его глубину, а через мгновение опять метнулась, — и теперь стояла, прислонившись к стене, опираясь одними лопатками да локтями, скользя вперед напряженными ступнями в плоских туфлях — и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцинната, продолжая сползать. По всему судя, — это было дикое, беспокойное дитя.

— Неужели тебе не жалко меня? — сказал Цинциннат. — Невозможно, не допускаю. Ну, поди сюда, глупая лань, и поведай мне, в какой день я умру.

Но Эммочка ничего не ответила, а съехала на пол и там смирно села, прижав подбородок к поднятым сжатым коленкам, на которые натянула подол, показывая снизу гладкие ляжки.

— Скажи мне, Эммочка, — я так прошу тебя... Ты ведь все знаешь, — я чувствую, что знаешь... Отец говорил за столом, мать говорила на кухне... Все, все говорят. Вчера в газете было аккуратное оконце, — значит, толкуют об этом, и только я один...

Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и, опять кинувшись к двери, застучала в нее, — не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распущенные, шелковистобледные волосы кончались длинными буклями.

«Будь ты взрослой, — подумал Цинциннат, — будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней...»

— Эммочка! — воскликнул он: — умоляю тебя, скажи мне, я не отстану, скажи мне, когда я умру?

Грызая палец, она подошла к столу, где громоздились книги. Распахнула одну, перелистала с треском, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бежала по ее лицу, — то морщился веснушчатый нос, то язык снутри натягивал щеку.

Лязгнула дверь: Родион, посмотревший, вероятно, в глазок, вошел, довольно сердитый.

— Брысь, барышня! Мне же за это достанется.

Она визгливо захохотала, увильнула от его ракообразной руки и бросилась к открытой двери. Там, на пороге, остановилась вдруг с очаровательной танцевальной точностью, — и, не то посылая воздушный поцелуй, не то заключая союз молчания, взглянула через плечо на Цинцинната; после чего — с той же ритмической внезапностью — сорвалась и убежала большими высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полет.

Родион, бурча, бренча, тяжело за нею последовал.

— Постоите! — крикнул Цинциннат. — Я кончил все книги. Принесите мне опять каталог.

— Книги... — сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь.

Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат, — и безжалостный бой часов, и жирный паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла. Пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдернуть целиком с поверхности — уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку. Он едва тепл под ней, — сладковатый, стоячий. Три гренка в черепаховых подпалинах. Кружок масла с тисненым вензелем директора. Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели.

Погоревав, поахав, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне, долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паек неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть восемь правил для заключенных:

1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы.

2. Кротость узника есть украшение темницы.

3. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно.

4. Воспрещается приводить женщин.

5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни.

6. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал, ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник.

7. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, поскольку таковое участие будет предложено ему.

8. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного.

Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска! На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Цинциннат искал, пошарил, заглянул в толстый том... перебрал, не сядясь, уже виденные страницы.

Это был том журнала, выходившего некогда, — в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико — так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атлассистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцеви́то, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутив-

шись как бы в другом измерении... — Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен, — две-три машины, два-три фонтана, — и никому не было жаль прошлого, да и самое понятие «прошлого» сделалось другим.

«А может быть, — подумал Цинциннат, — я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографии. Это богатство теней, и потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостное отражение, и плавные переходы из одной стихии в другую, — все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства, и мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, — точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир».

«А может быть (быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе) я неверно толкую... Эпохе придаю... Это богатство... Потоки... Плавные переходы... И мир был вовсе... Точно так же, как наши... Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне... Я, который должен пройти через сверхмучительное испытание, я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного (далее безмолвной бледности все равно не пойду, — все равно не герой...) должен во время этого испытания владеть всеми своими способностями, я, я... медленно слабею... неизвестность ужасна, — ну, скажите мне наконец... Так нет, замирай каждое утро... Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что... Небольшой труд... запись проверенных мыслей... Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть, я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, — и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли, а в том-то и мучение, что говоришь себе: вот вчера успел бы, — и опять думаешь:

вот и вчера бы... И вместо нужной, ясной и точной работы, вместо мерного приготовления души к минуте утреннего вставания, когда... ведро палача, когда подадут тебе, душа, умыться... так, вместо этого, невольно предаешься банальной, безумной мечте о бегстве, — увы, о бегстве... Когда она примчалась сегодня, топая и хохоча, — то есть, я хочу сказать... Нет, надобно все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, — но главное: дар сочетать все это в одной точке... Нет, тайна еще не раскрыта, — даже это — только огниво, — и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь. Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, — а может быть, мне это приснилось, — я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала... о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены... — но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, — эта секунда, эта синкопа, — вот редкий сорт времени, в котором живу, — пауза, перебой, — когда сердце, как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я еще не скажу... Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить... Когда она сегодня примчалась, — еще ребенок, — вот, что хочу сказать, — еще ребенок, с какими-то лазейками для моей мысли, — я подумал словами древних стихов — напоила бы сторожей... спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, — и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасе-

ние, спасение... И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта... Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снега в тени горной скалы! А ведь это вредно — то, что делаю, — я и так слаб, а разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы. Какая тоска, ах, какая... И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха».

Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил. Донесся бой часов. Пользуясь их звоном, как платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались, и вот в камеру вошли: Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом.

Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выпцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть, штанов, сжав под мышкой большую переплетенную в черную кожу книгу. Цинциннат уже раз имел удовольствие видеть его.

— Каталог, — сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью.

— Хорошо, оставьте у меня, — сказал Цинциннат, — я выберу. Если хотите подождать, присесть, — пожалуйста. А если хотите уйти...

— Уйти, — сказал библиотекарь.

— Хорошо. Тогда я потом передам каталог Родиону. Вот, можете забрать... Эти журналы древних — прекрасны, трогательны... С этим тяжелым томом я, знаете, как с грузом, пошел на дно времен. Пленительное ощущение.

— Нет, — сказал библиотекарь.

— Принесите мне еще, я выпишу, какие годы. И роман какой-нибудь, поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?

Оставшись один, Цинциннат принялся за суп; одновременно перелистывал каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана; среди печатного текста было множество заглавий мелко, но четко впи-

сано от руки красными чернилами. Неспециалисту разобраться в каталоге было трудно из-за расположения названий книг — не по алфавиту, а по числу страниц в каждой, причем тут же отмечалось, сколько (во избежание совпадений) вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Цинциннат поэтому искал без определенной цели, а так, что приглянется. Каталог сохранился в образцовой чистоте; тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинциннат не сразу разгадал.

## V

— Позвольте вас от души поздравить, — маслянистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к Цинциннату.

Родриг Иванович казался еще наряднее, чем обычно: спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана ватой, широкая, плоско-жирная, парик лоснился, как новый, сдобное тесто подбородка было напудрено, точно калач, а в петлице розовел восковой цветок с крапчатой пастью. Из-за статной его фигуры, — он торжественно остановился на пороге, — выглядывали с любопытством, тоже праздничные, тоже припомаженные, служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орден.

— Я готов. Я сейчас оденусь. Я знал, что сегодня.

— Поздравляю, — повторил директор, не обращая внимания на суетливые движения Цинцинната. — Честь имею доложить, что у вас есть отныне сосед, — да, да, только что въехал. Заждались небось? Ничего, — теперь, с наперсником, с товарищем по играм и занятиям, вам не будет так скучно. Кроме того, — но это, конечно, должно остаться строго между нами, могу сообщить, что пришло вам разрешение на свидание с супругой: *demain matin*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Завтра утром (*франц.*).

Цинциннат опять опустился на койку и сказал:

— Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла, кучер, крашенная сволочь... Простите, я немножко...

Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражения в поколебленной воде; директор зазыблился, койка превратилась в лодку. Цинциннат схватился за край, чтобы не свалиться, но уключина осталась у него в руке, — и, по горло среди тысячи крапчатых цветов, он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили.

— Мы нервозны, как маленькая женщина, — сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. — Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают? Продолжайте в том же духе и, если будете очень послушны, то может быть, может быть, мы вам позволим одним глазком на новичка... но чур, только одним глазком...

— Как долго... это свидание... сколько мне дадут... — с трудом выговорил Цинциннат.

— Сейчас, сейчас. Не торопитесь так, не волнуйтесь. Раз обещано показать, то покажем. Наденьте туфли, пригладьте волосы. Я думаю, что... — Директор вопросительно взглянул на Родиона, тот кивнул. — Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину, — обратился он опять к Цинциннату, — и ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте. Вы не заслужили этого, вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрешается вам... Теперь — ни слова, тихонько...

На цыпочках, балансируя руками, Родриг Иванович вышел, и с ним Цинциннат в своих больших шепелявых туфлях. В глубине коридора, у двери с внушительными скрепами, уже стоял, согнувшись, Родион и, отодвинув заслонку, смотрел в глазок. Не отрываясь, он сделал рукой жест, требующий еще большей тишины, и незаметно изменил его на другой — приглашающий. Директор еще выше поднялся

на цыпочках, обернулся, грозно гримасничая, но Цинциннат не мог не пошаркивать немножко. Там и сям, в полутьме переходов, собирались, горбились, прикладывали козырьком ладонь, словно стараясь что-то вдаль разглядеть, смутные фигуры тюремных служащих. Лаборант Родион пустил Родрига Ивановича к наставленному окуляру. Плотно скрипнув спиной, Родриг Иванович впился... Между тем, в серых потемках, смутные фигуры беззвучно перебегали, беззвучно подзывали друг друга, строились в шеренги, и уже как поршни ходили на месте их мягкие многие ноги, готовясь выступить. Директор наконец медленно отодвинулся и легонько потянул Цинцинната за рукав, приглашая его, как профессор — захожего профана, посмотреть на препарат. Цинциннат кротко припал к светлому кружку. Сперва он увидел только пузыри солнца, полосы, — а затем: койку, такую же, как у него в камере, около нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками и большой продолговатый футляр вроде как для тромбона...

— Ну что, видите что-нибудь, — прошептал директор, близко наклоняясь и благоухая, как лилии в открытом гробу.

Цинциннат кивнул, хотя еще не видел главного; передвинул взгляд левее и тогда увидел по-настоящему.

На стуле, бочком к столу, неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежеевыглаженной арестантской пижамке, — весь полосатый, в полосатых носках, в новеньких сафьяновых туфлях, — являл девственную подошву, перекинув одну короткую ногу через другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинце вспыхивал прозрачный аквамарин, светлорусые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посередине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов. Весь он был

как бы подернут слегка блеском, слегка таял в снопе солнечных лучей, льющихся на него сверху. На столе ничего не было, кроме щегольских дорожных часов в кожаной раме.

— Будет, — шепнул с улыбкой директор, — я тозе хочу, — и он прильнул опять.

Родион знаками показал Цинциннату, что пора восвояси. Смутные фигуры служащих почтительно приближались гуськом: позади директора уже составилась целый хвост желающих взглянуть; некоторые привели своих старших сыновей.

— Балуете вы нас, — проворчал Родион напоследок, — и долго не мог отпереть дверь цинциннатовой камеры, — даже наградил ее круглым русским словом, и это подействовало.

Все стихло. Все было как всегда.

— Нет, не все, — завтра ты придешь, — вслух произнес Цинциннат, еще дрожа после давешней дурноты.

«Что я тебе скажу? — продолжал он думать, бормотать, содрогаться. — Что ты мне скажешь? Наперекор всему я любил тебя, и буду любить — на коленях, со сведенными назад плечами, пятки показывая кату и напрягая гусиную шею, — все равно, даже тогда. И после, — может быть, больше всего именно после, — буду тебя любить, — и когда-нибудь состоится между нами истинное, исчерпывающее объяснение, — и тогда уж как-нибудь мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке, решим головоломку: провести из такой-то точки в такую-то... чтобы ни разу... или — не отнимая карандаша... или еще как-нибудь... соединим, проведем, и получится из меня и тебя тот единственный наш узор, по которому я тоскую. Если они будут каждое утро так делать, то вышколят, буду совсем деревянный...»

Цинциннат раззевался, — слезы текли по щекам, и опять, и опять вырастал во рту холм. Нервы, — спать не хотелось. Надо было чем-нибудь себя занять до завтра, — книг свежих еще не было, каталога он не

отдал... Да, рисуночки! Но теперь при свете завтрашней встречи...

Детская рука, несомненно Эмочки, нарисовала ряд картиночек, составлявших (как вчера Цинциннату казалось) связный рассказ, обещание, образчик мечты. Сначала: горизонтальная черта, то есть сей каменный пол, на нем — элементарный стул вроде насекомого, а сверху — решетка в шесть клеток. То же самое, но с участием полной луны, кисло опустившей уголки рта за решеткой. Далее: на табурете из трех черточек тюремщик без глаз, значит — спящий, а на полу — кольцо с шестью ключами. То же кольцо с ключами, но покрупнее, и к нему тянется рука, весьма пятипалая, в коротком рукавике. Начинается интересное: дверь полуоткрыта, из-за нее — как бы птичья лапа: все, что видно от утекающего узника. Он сам, с запятыми на голове вместо кудрей, в темном халатике, посильно изображенном в виде равнобедренного треугольника; его ведет девочка: вилкообразные ножки, волнистая юбочка, параллельные линии волос. То же самое, но в виде плана, а именно: квадрат камеры, кривая коридора, с пунктиром маршрута и гармоникой лестницы в конце. Наконец эпилог: темная башня, и над ней довольная луна — уголки рта кверху.

Нет, — самообман, вздор. Дитя намарало, без мысли... Выпишем заглавия и отложим каталог. Да, дитя... Высунув справа язык, крепко держа изрисованный карандашиком, напирая на него побелевшим от усилия пальцем... А затем — после удачно замкнувшейся линии — откидываясь, поводя так и сяк головой, вертя лопатками, и опять, припав к бумаге и переводя язык налево... так старательно... Вздор, не будем больше об этом...

Ища, чем себя занять, и как оживить вялое время, Цинциннат решил освежить свою внешность ради завтрашней Марфиньки. Родион согласился притащить опять такую же лохань, в какой Цинциннат полоскался накануне суда. В ожидании воды Цинциннат сел за стол, стол сегодня немножко колыхался.

«Свидание, свидание, — писал Цинциннат, — начинается по всей вероятности, что мое ужасное утро уже близко. Послезавтра, вот в это время, моя камера будет пуста. Но я счастлив, что тебя увижу. Мы поднимались к мастерским по двум разным лестницам, мужчины по одной, женщины по другой, — но сходились на предпоследней площадке. Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил ее в первый раз, но помнится, сразу заметил, что она приоткрывает рот за секунду до смеха, — и круглые карие глаза, и коралловые сережки, — ах, как хотелось бы сейчас воспроизвести ее такой, совсем новенькой и еще твердой, — а потом постепенное смягчение, — и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, — каждый день для себя, для меня, для всех. Но откуда, — еще тогда, в первые дни, — откуда злость и упрямство, которые вдруг... Мягкая, смешная, теплая и вдруг... Сначала мне казалось, что это она нарочно: показывает, что ли, как другая на ее месте остервенела бы, заупрямилась. Как же я был удивлен, когда оказалось, что это она сама и есть! Из-за какой ерунды, — глупая моя, какая голова маленькая, если прощупать сквозь все русое, густое, которому она умеет придать невинную гладкость, с девическим переливом на темени. «Женка у вас — тишь да гладь, а кусачая», — сказал мне ее первый, незабвенный любовник, причем подлость в том, что эпитет — не в переносном... она действительно в известную минуту... одно из тех воспоминаний, которые надо сразу гнать от себя, иначе одолеет, заломает. «Марфинька сегодня опять...» — а однажды я видел, я видел, я видел — с балкона, — я видел, — и с тех пор никогда не входил ни в одну комнату без того, чтобы не объявить издали о своем приближении — кашлем, бессмысленным восклицанием. Как страшно было уловить тот изгиб, ту захлебывающуюся

торопливость, — все то, что было моим в тенистых тайниках Тамариных Садов, — а потом мною же утрачено. Сосчитать, сколько было у нее... Вечная попытка: говорить за обедом с тем или другим ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать, — смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудовища, верхняя часть которого, вполне благообразная, представляет собою молодую женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и болтающих, — а нижняя часть это — четырехногое нечто, свивающееся, бешеное... Я опустил в ад за оброненной салфеткой. Марфинька потом о себе говорила (в этом же самом множественном числе): «Нам очень стыдно, что нас видели», — и надувала губы. И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, губельно, непоправимо — Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя... Когда тебе наглядно доказали, что меня не хотят, от меня сторонятся, — ты удивилась, как это ты ничего не заметила сама, — а ведь от тебя было так легко скрывать! Я помню, как ты умоляла меня исправиться, совершенно не понимая, в сущности, что именно следовало мне в себе исправить, и как это собственно делается, и до сих пор ты ничего не понимаешь, не задумываясь над тем, понимаешь ли или нет, а когда удивляешься, то удивляешься почти уютно. Но когда судебный пристав стал обходить со шляпой публику, ты все-таки свою бумажку бросила в нее».

Над качающейся у пристани лоханью поднимался ничем не виноватый, веселый, заманчивый пар. Цинциннат порывисто — в два быстрых приема — вздохнул и отложил исписанные страницы. Из скромного своего сундучка он извлек чистое полотенце. Цинциннат был такой маленький и узкий, что ему удалось целиком поместиться в лохани. Он сидел, как в душегубке, и тихо плыл. Красноватый вечерний луч, мешаясь с паром, возбуждал в небольшом мире каменной камеры разноцветный трепет. Доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу. Обтираясь, он боролся с голо-

вокругением, с сердечной истомой. Был он очень худ, — и сейчас, при закатном свете, подчеркивавшим тени ребер, самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы. Бедненький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят, и все это выльется. Кости у него были легкие, тонкие: выжидательно, с младенческим вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то невинные), — и, когда он так сидел на койке, — голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, обсуждалось что-то, шуршали, — но ничего, пусть), Цинциннат мог сойти за болезненного отрока, — даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский — и на редкость сподручный. Из того же сундучка Цинциннат достал зеркальце и баночку с душистой вытравкой, ему всегда напоминавшей ту необыкновенно густошерстную мышку, которая была у Марфиньки на боку. Втер в колючие щеки, тщательно обходя усы.

Теперь хорошо, чисто. Вдохнул и надел прохладную, еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку.

Стемнело. Он лежал и все продолжал плыть. Родион в обычный час зажег свет и убрал ведро, лохань. Паук спустился к нему на ниточке и сел на палец, который Родион протягивал мохнатому зверьку, беседуя с ним, как с кенарем. Между тем, дверь в коридор оставалась чуть приоткрытой, — и там мелькнуло что-то... на миг свесились витые концы бледных локонов и исчезли, когда Родион двинулся, глядя вверх на уходившего под купол цирка крохотного акробата. Дверь все оставалась на четверть приотворенной. Тяжелый, в кожаном фартуке, с курчаво-красной бородой, Родион медленно двигался по камере и, когда захрипели перед боем часы (приблизившиеся теперь

благодаря сквозному сообщению), вынул откуда-то из-за пояса луковицу и сверил. Затем, полагая, что Цинциннат спит, довольно долго смотрел на него, опираясь на метлу, как на алебарду. Неизвестно до чего додумавшись, он зашевелился опять... Тем временем в дверь беззвучно и не очень скоро вбежал красно-синий резиновый мяч, прокатился по катету прямо под койку, на миг скрылся, там звякнулся и выкатился по другому катету, то есть по направлению к Родиону, который, так его и не заметив, случайно его пнул, переступив, — и тогда, по гипотенузе, мяч ушел в ту же дверную промежку, откуда явился. Родион, взяв метлу на плечо, покинул камеру. Свет погас.

Цинциннат не спал, не спал, не спал, — нет, спал, но со стоном опять выкарабкался, — и вот опять не спал, спал, не спал, — и все мешалось, Марфинька, плаха, бархат, — и как это будет, — что? Казнь или свидание? Все слилось окончательно, но он еще на один миг разжмурился, оттого что зажегся свет, и Родион на носках вошел, забрал со стола черный каталог, вышел, погасло.

## VI

Что это было — сквозь все страшное, ночное, неповоротливое, — что это было такое? Последним отодвинулось оно, нехотя уступая грузным, огромным возам сна, и вот сейчас первым выбежало, — такое приятное, приятное, — растущее, яснеющее, обливающее горячим сердце: Марфинька нынче придет!

Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Цинциннат, присев на постель, прочел следующее: «Миллион извинений! Непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона, обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда. Итак, отложим на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь, у нас все то же, хлопот полон рот, краска, присланная для будок, оказалась опять никуда негодной, о чем я уже писал, но безрезультатно».

Родион, стараясь не глядеть на Цинцинната, собирал со стола вчерашнюю посуду. Погода, верно, стояла пасмурная: сверху проникающий свет был серый, и темная кожаная одежда сердобольного Родиона казалась сырой, жухлой.

— Ну что ж, — сказал Цинциннат, — пожалуйста, пожалуйста... Я все равно бессилён. (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком). Завтра, так завтра. Но я попрошу вас позвать...

— Сию минуту, — выпалил Родион с такой готовностью, словно только и жаждал этого, — метнулся было вон, — но директор, слишком нетерпеливо ждавший за дверью, явился чуть-чуть слишком рано, так что они столнулись.

Родриг Иванович держал стенной календарь — и не знал, куда его положить.

— Миллион извинений, — крикнул он, — непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона... — дословно повторив свою записку, Родриг Иванович сел в ноги у Цинцинната и поспешно добавил: — Во всяком случае можете подать жалобу, но считаю долгом вас предупредить, что ближайший съезд состоится осенью, а к тому времени много чего утечет. Ясно?

— Я жаловаться не собираюсь, — сказал Цинциннат, — но хочу вас спросить: существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?

— Обещание? — удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря (крепость на закате, акварель). — Какое обещание?

— Насчет завтрашнего прихода моей жены. Пускай в данном случае вы не согласитесь мне дать гарантию, — но я ставлю вопрос шире: существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука, — или даже самая идея гарантии неизвестна тут?

Пауза.

— А бедный-то наш Роман Виссарионович, — сказал директор, — слышали? Слег, простудился и, кажется, довольно серьезно...

— Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне; это логично, — ибо и безответственность вырабатывает в конце концов свою логику. Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, — но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира.

Директор кашлянул — и продолжал как ни в чем не бывало:

— Настолько серьезно, что я, как врач, не уверен, сможет ли он присутствовать, — то есть выздоровеет ли он к тому времени, — bref<sup>1</sup>, удастся ли ему быть на вашем бенефисе...

— Уйдите, — через силу произнес Цинциннат,

— Не падайте духом, — продолжал директор. — Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете... А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принес.

Цинциннат прикрыл глаза. Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные по-видимому Родионом.

— Нонче придется особенно хорошо убрать вашу обитель, — сказал он, не оборачиваясь; — привести все в порядок по случаю завтрашней встречи... Покамест будем тут мыть пол, я вас попрошу... вас попрошу...

Цинциннат зажмурился снова, и уменьшившийся голос продолжал:

— ...вас попрошу выйти в коридор. Это продлится недолго. Приложим все усилия, чтобы завтра должным образом, чисто, нарядно, торжественно...

— Уйдите, — воскликнул Цинциннат, привстав и весь трясаясь.

---

<sup>1</sup> Короче (*франц.*).

— Никак не можем, — степенно произнес Родион, возясь с ремнями фартука. — Придется тут того, — поработать. Вишь пыли-то... Сами спасибочко скажете.

Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец подойдя к койке, подал Цинциннату одеться. В туфли было предусмотрительно напихано немного скомканной бумаги, а полы халата были аккуратно подогнуты и зашпилены. Цинциннат, покачиваясь, оделся и, слегка опираясь на руку Родиона, вышел в коридор. Там он сел на табурет, заложив руки в рукава, как больной. Родион, оставив дверь палаты широко открытой, принялся за уборку. Стул был поставлен на стол; с койки сорвана была простыня; звякнула ведерная дужка; сквозняк перебрал бумаги на столе, и один лист спланировал на пол.

— Что же вы это раскисли? — крикнул Родион, возвышая голос над шумом воды, шлепаньем, стуком, — пошли бы прогуляться маленько, по коридорам-то... Да не бойтесь, — я тут как тут в случае чего, только кликнете.

Цинциннат послушно встал с табурета, — но, едва он двинулся вдоль холодной стены, несомненно сродной скале, на которой выросла крепость; едва он отошел несколько шагов, — и каких шагов! слабых, невесомых, смиренных; едва он обратил местоположение Родиона, отворенной двери, ведер, в уходящую вспять перспективу, — как Цинциннат почувствовал струю свободы. Она плеснула шире, когда он завернул за угол. Голые стены, кроме потных разводов и трещин, не были оживлены ничем; только в одном месте кто-то расписался охрой, малярным махом: «Проба кисти, проба кис» — и уродливый опływ. От непривычки ходить одному у Цинцинната размякли мышцы, в боку закололо.

Вот тогда-то Цинциннат остановился и, озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себе во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяс-

нить свое положение. Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона; приговоренный за оное преступление к смертной казни; заключенный в крепость в ожидании неизвестного, но близкого, но неминуемого срока этой казни (которая ясно предощущалась им, как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом); стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, — еще живой, еще непчатый, еще цинциннатный, — Цинциннат Ц. почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой, вещественной, вещественноосуществимой свободе, и мгновенно вообразил — с такой чувственной отчетливостью, точно это все было текучее, венцеобразное излучение его существа, — город за обмелевшей рекой, город, из каждой точки которого была видна, — то так, то этак, то яснее, то синее, — высокая крепость, внутри которой он сейчас находился. И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле: его тюремщики, каковыми в сущности были все, показались сговорчивей... в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку... играла перед глазами какая-то мечта... словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре... Стоя в тюремном коридоре и слушая полновесный звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет, он представил себе жизнь города такой, какой она обычно бывала в этот свежий утренний час: Марфинька, опутив глаза, идет с корзинкою из дому по голубой панели, за ней в трех шагах черноусый хват; плывут, плывут по бульвару сделанные в виде лебедей или лодок электрические вагонетки, в которых сидишь, как в карусельной люльке; из мебельных складов выносят для проветривания диваны, кресла, и мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с та-

кой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик; по освеженной, влажной мостовой стрекочут заводные, двухместные «часики», как зовут их тут в провинции (а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин... почему я вспомнил? да — снимки в журнале); Марфинька выбирает фрукты; дряхлые, страшные лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада, развозят с фабрик товар по городским выдачам; уличные продавцы хлеба, с золотистыми лицами, в белых рубахах, орут, жонглируя булками: подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их; у окна, обросшего глициниями, четверо веселых телеграфистов поют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих; знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в павильоне на Малых Прудах; вот облака прорвались, и под музыку духового оркестра пятнистое солнце бежит по пологим улицам, заглядывает в переулки; быстро идут прохожие; пахнет липой, карбурином, мокрой пылью; вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, ниспадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышущие розы; Марфинька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной, за ней в трех шагах белокурый франт... Так Цинциннат смотрел и слушал сквозь стены, пока били часы, и хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно по сравнению с тайной жизнью Цинцинната и его преступным пламенем, хотя он знал это твердо и знал, что надежды нет, а все-таки в эту минуту захотелось попасть на знакомые пестрые улицы... но вот часы дозвенели, мыслимое небо заволочлось, и темница опять вошла в силу.

Цинциннат затаил дыхание, двинулся, остановился опять, прислушался: где-то впереди, в неведомом отдалении, раздался стук.

Это был мерный, мелкий, токающий стук, и Цинциннат, у которого сразу затрепетали все листики,

почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий; в который раз завернул за угол. Стук прекратился, но потом словно перелетел поближе, как невидимый дятел. Ток, ток, ток. Цинциннат ускорил шаг, и опять темный коридор загнулся. Вдруг стало светлее, — хотя не по-дневному, — и вот стук сделался определенным, довольным собой. Впереди бледно освещенная Эммочка бросала об стену мяч.

Проход в этом месте был широк, и сначала Цинциннату показалось, что в левой стене находится большое глубокое окно, откуда и льется тот странный добавочный свет. Эммочка, нагнувшись, чтобы поднять мяч, а заодно подтянуть носок, хитро и застенчиво оглянулась. На ее голых руках и вдоль голеней дыбом стояли светлые волоски. Глаза блестели сквозь белесые ресницы. Вот она выпрямилась, откидывая с лица льняные локоны той же рукой, которой держала мяч.

— Тут нельзя ходить, — сказала она, у нее было что-то во рту, щелкнуло за щекой, ударилось о зубы.

— Что ты сосешь? — спросил Цинциннат.

Эммочка высунула язык; на его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец.

— У меня еще есть, — сказала она, — хотите?

Цинциннат покачал головой.

— Тут нельзя ходить, — повторила Эммочка.

— Почему? — спросил Цинциннат.

Она пожала плечом и, ломаясь, выгибая руку с мячом и напрягая икры, подошла к тому месту, где ему показалось — углубление, окно, — и там, ерзая, вдруг становясь голенастее, устроилась на каменном выступе вроде подоконника.

Нет, это было лишь подобие окна; скорее — витрина, а за ней — да, конечно, как не узнать! — вид на Тамарины Сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал не столько террариум или театральную макету, сколько

тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. Все передано было довольно точно в смысле группировок и перспектив, — и кабы не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроворность освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь через башенное окно, вот из этой темницы, на те сады. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера, — вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают лицедеи, стояли неподвижные, кучевые облака. И все это было как-то не свежо, ветхо, покрыто пылью, и стекло, через которое смотрел Цинциннат, было в пятнах, — по иным из них можно было восстановить детскую пятерню.

— А все-таки выведи меня туда, — прошептал Цинциннат, — я тебя умоляю.

Он сидел рядом с Эмочкой на каменном выступе, и оба всматривались в искусственную даль за витриной, она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам, и от ее волос пахло ванилью.

— Тятка идет, — вдруг хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись; соскочила на пол и скрылась.

Действительно, со стороны, противоположной той, с которой пришел Цинциннат (сперва даже подумалось — зеркало), близился Родион, позванивая ключами.

— Пожалте домой, — сказал он шутливо.

Свет потух в витрине, и Цинциннат сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался.

— Куды, куды, — крикнул Родион; — подите прямо, так ближе.

И только тогда Цинциннат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник, — ибо теперь, завернув за угол, он увидел в глубине свою дверь, а не доходя до нее,

прошел мимо камеры, где содержался новый арестант. Дверь этой камеры была настежь, и там, в своей полосатой пижамке, стоял на стуле уже виденный симпатичный коротыш и прибивал к стене календарь: ток, ток, — как дятел.

— Не заглядывайтесь, девица красная, — добродушно сказал Родион. — Домой, домой. Убрано-то как у вас, а? Теперича и гостей принять не стыдно.

Особенно, казалось, был он горд тем, что паук сидел на чистой, безукоризненно правильной, очевидно только что созданной паутине.

## VII

Очаровательное утро! Свободно, без прежнего трения, оно проникало сквозь зарешеченное стекло, промытое вчера Родионом. Новосельем так и несло от желтых, липких стен. Стол покрывала свежая скатерть, еще с воздухом, необлегающая. Щедро окаченный каменный пол дышал фонтанной прохладой.

Цинциннат надел лучшее, что у него с собой было, — и пока он натягивал белые шелковые чулки, которые на гала-представлениях имел право носить как педагог, — Родион внес мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами из директорского садика и поставил ее на стол, посередке, — нет не совсем посередке; вышел, пятась, а через минуту вернулся с табуретом и добавочным стулом, и мебель разместил не как-нибудь, — а с расчетом и вкусом. Входил он несколько раз, и Цинциннат не смел спросить «скоро ли» — и как бывает в тот особенно бездеятельный час, когда, празднично выглаженный, ждешь гостей, и ничем как-то нельзя заняться, — слонялся, то присаживаясь в непривычных углах, то поправляя в вазе цветы, — так что наконец Родион сжалился и сказал, что теперь уже скоро.

Ровно в десять вдруг явился Родриг Иванович, в лучшем, монументальнейшем своем сюртуке, пышный, неприступный, сдержанно возбужденный; поставил

массивную пепельницу и все осмотрел (за исключением одного только Цинцинната, поступая как поглощенный своим делом мажордом, внимание направляющий лишь на убранство мертвого инвентаря, живому же предоставляя самому украсить). Вернулся он, неся зеленый флакон, снабженный резиновой грушей, и с мощным шумом стал выдувать сосновое благовоние, довольно бесцеремонно оттолкнув Цинцинната, когда тот попался ему под ноги. Стулья Родриг Иванович поставил иначе, чем Родион, и долго смотрел выпученными глазами на спинки: они были разнородны, — одна лирой, другая «покоем». Наконец, надув щеки и выпустив со свистом воздух, повернулся к Цинциннату.

— А вы-то готовы? — спросил он. — Все у вас нашлось? Пряжки целы? Почему у вас тут как-то смято? Эх вы... Покажите ладошки. Вон<sup>1</sup>. Теперь постарайтесь не замараться. Я думаю, что уже недолго.

Он вышел, и с перекатами зазвучал в коридоре его сочный распорядительный бас. Родион отворил дверь камеры, закрепил ее в таком положении и на пороге развернул поперечно-полосатый половичок.

— Идут-с, — шепнул он с подмигом и снова скрылся.

Вот где-то трижды трахнул ключ в замке, раздалось смешанные голоса, прошло дуновение, от которого зашевелились волосы у Цинцинната...

Он очень волновался, и дрожь на губах все принимала образ улыбки.

— Сюда, вот мы уже и пришли, — донеслось басистое приговаривание директора, и в следующее мгновение он появился, галантно, под локоток, вводя толстенького полосатенького арестантика, который, прежде чем войти, остановился на половичке, беззвучно составил вместе сафьяновые ступни и ловко поклонился.

— Позвольте вам представить м-сье Пьера, — обратился, ликуя, директор к Цинциннату. — Пожалуй-

---

<sup>1</sup> Хорошо (франц.).

те, пожалуйста, м-сье Пьер, вы не можете вообразить, как вас тут ждали... Знакомьтесь, господа... Долгожданная встреча... Поучительное зрелище... Не побрезгайте, м-сье Пьер, не взыщите...

Он сам не знал, что говорит, — захлебывался, тяжело пританцовывал, потирая руки, лопался от сладостного смущения.

М-сье Пьер, очень спокойный и собранный, подошел, поклонился снова, — и Цинциннат машинально обменялся с ним рукопожатием, причем тот на какие-то полсекунды дольше, чем это бывает обычно, задержал в своей мягкой маленькой лапе ускользавшие пальцы Цинцинната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор, — так мягко, так аппетитно, — и вот отпустил.

Певучим, тонким горловым голосом м-сье Пьер сказал:

— Я тоже чрезвычайно рад с вами наконец познакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче.

— Именно, именно, — захохотал директор, — ах, садитесь... Будьте, как дома... Коллега так счастлив вас видеть у себя, что не находит слов.

М-сье Пьер сел, и тут оказалось, что его ножки не совсем хватают до полу: это впрочем нисколько не отнимало у него ни солидности, ни той особой грациозности, которою природа одаривает некоторых отборных толстячков. Своими светлыми, глазированными глазами он вежливо глядел на Цинцинната, а Родриг Иванович, присев тоже к столу, посмеивающийся, науськивающий, опьяневший от удовольствия, переводил взгляд с одного на другого, жадно следя после каждого слова гостя за впечатлением, производимым им на Цинцинната.

М-сье Пьер сказал:

— Вы необыкновенно похожи на вашу матушку. Мне лично никогда не довелось видеть ее, но Родриг Иванович любезно обещал показать мне ее карточку.

— Слушаю-с, — сказал директор, — достанем.

М-сье Пьер продолжал:

— Я и вообще, помимо этого, увлекаюсь фотографией смолоду, мне теперь тридцать лет, а вам?

— Ему ровно тридцать, — сказал директор.

— Ну вот видите, я, значит, правильно угадал. Раз вы тоже этим интересуетесь, я вам сейчас покажу...

С привычной прыткостью он вынул из грудного карманчика пижамной куртки разбухший бумажник, а из него — толстую стопочку любительских снимков самого мелкого размера. Перебирая их, как крохотные карты, он принялся их класть по одной штучке на стол, а Родриг Иванович хватал, вскрикивал от восхищения, долго рассматривал, — и медленно, продолжая любоваться снимком или уже потягиваясь к следующему, передавал дальше, — хотя дальше все было недвижно и безмолвно. На всех этих снимках был м-сье Пьер, м-сье Пьер в разнообразнейших положениях, — то в саду, с премированным томатисцем в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила (профиль, трубка во рту), то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой...

— Превосходно, замечательно, — приговаривал Родриг Иванович, ежась, качая головой, впиваясь в каждый снимок или даже держа сразу два и перебегая взглядом с одного на другой. — У-ух, какие у вас тут бицепсы! Кто бы мог подумать — при вашей-то изящной комплекции. Сногшибательно! Ах ты прелесть какая, — с птичкой разговариваете!

— Ручная, — сказал м-сье Пьер.

— Презабавно! Ишь как... А это что же такое — никак арбуз кушаете!

— Так точно, — сказал м-сье Пьер. — Те вы уже просмотрели. Вот — пожалуйста.

— Очаровательно, доложу я вам. Давайте-ка эту порцию сюда, он еще ее не видал...

— Жонглирую тремя яблоками, — сказал м-сье Пьер.

— Здорово! — директор даже прицокнул.

— За утренним чаем, — сказал м-сье Пьер, — это — я, а это — мой покойный батюшка.

— Как же, как же, узнаю... Благороднейшие морщины!

— На берегу Стропи, — сказал м-сье Пьер. — Вы там бывали? — обратился он к Цинциннату.

— Кажется, что нет, — ответил Родриг Иванович. — А это где же? Какое элегантное пальтецо! Знаете что, а ведь вы тут выглядите старше своих лет. Погодите, я хочу еще раз ту, где с лейкой.

— Ну вот... Это все, что у меня с собой, — сказал м-сье Пьер и опять обратился к Цинциннату: — Если бы я знал, что вы так этим интересуетесь, я бы захватил еще, у меня альбомов с десятков наберется.

— Чудесно, поразительно, — повторял Родриг Иванович, вытирая сиреневым платком глаза, увлажнившиеся от всех этих счастливых смешков, ахов, переживаний.

М-сье Пьер сложил бумажник. Вдруг у него очутилась в руках колода карт.

— Задумайте, пожалуйста, любую, — предложил он, раскладывая карты на столе; локтем отодвинул пепельницу; продолжал раскладывать.

— Мы задумали, — бодро сказал директор.

М-сье Пьер, немножко дурачась, приставил перст к челу; затем быстро собрал карты, молодежато протрещал колодой и выбросил тройку треф.

— Это удивительно, — воскликнул директор. — Просто удивительно!

Колода исчезла так же незаметно, как появилась, — и, сделав невозмутимое лицо, м-сье Пьер сказал:

— Приходит к доктору старушка: у меня, говорит, господин доктор, очень сурьезная болесть, страсть боюсь, что от нее помру... — Какие же у вас симптомы? — Голова трясется, господин доктор. — И м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Родриг Иванович дико захохотал, хлопнув кулаком по столу, едва не упал со стула, закашлялся, застонал, насилиу успокоился.

— Да вы, м-сье Пьер, душа общества, — проговорил он, плача, — сущая душа! Такого уморительного анекдота я от роду не слыхал!

— Какие мы печальные, какие нежные, — обратился м-сье Пьер к Цинциннату, вытягивая губы, как если бы хотел рассмешить надувшегося ребенка. — Все молчим, да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные...

— Все от радости, — поспешно вставил директор. — N'y faites pas attention<sup>1</sup>.

— Да, в самом деле, радостный день, красный день, — сказал м-сье Пьер, — у меня самого душа так и кипит... Не хочу хвастаться, но во мне, коллега, вы найдете редкое сочетание внешней общительности и внутренней деликатности, разговорчивости и умения молчать, игривости и серьезности... Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? М-сье Пьер. Кто заступится за вдову? М-сье Пьер. Кто снабдит трезвым советом, кто укажет лекарство, кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьер. Все — м-сье Пьер.

— Замечательно! Талант! — воскликнул директор, словно слушал стихи, — а между тем все поглядывал, шевеля бровью, на Цинцинната.

— Вот мне и кажется, — продолжал м-сье Пьер. — Да, кстати, — перебил он самого себя, — вы довольны помещением? По ночам не холодно? Кормят вас досыта?

— Он получает то же, что и я, — ответил Родриг Иванович; — стол прекрасный.

— Прекрасный стол под орех, — пошутил м-сье Пьер.

Директор собрался опять грохнуть, но тут дверь отворилась, и появился мрачный, длинный библиотекарь с кипой книг под мышкой. Горло у него было обмотано шерстяным шарфом. Ни с кем не поздоровавшись, он свалил книги на койку, — над ними в воздухе

---

<sup>1</sup> Не обращайтесь внимания (*франц.*)

на мгновение повисли стереометрические призраки этих книг, построенные из пыли, — повисли, дрогнули и рассеялись.

— Пойдите, — сказал Родриг Иванович, — вы, кажется, незнакомы.

Библиотекарь не глядя кивнул, а учтивый м-сье Пьер приподнялся со стула.

— М-сье Пьер, пожалуйста, — взмолился директор, прикладывая ладонь к манишке, — пожалуйста, покажите ему ваш фокус!

— Ах, стоит ли... Это так, пустое... — заскромничал м-сье Пьер, но директор не унимался:

— Чудо! Красная магия! Мы вас все умоляем! Ну, сделайте милость... — Пойдите, стойте же, — крикнул он библиотекарю, который двинулся было к двери. — Сейчас м-сье Пьер кое-что покажет. Просим, просим! Да не уходите вы...

— Задумайте одну из этих карт, — с комической важностью произнес м-сье Пьер; стасовал; выбросил пятерку пик.

— Нет, — сказал библиотекарь и вышел.

М-сье Пьер пожал кругленьким плечом.

— Я сейчас вернусь, — пробормотал директор и вышел тоже.

Цинциннат и его гость остались одни. Цинциннат раскрыл книжку и углубился в нее, то есть все перечитывал первую фразу. М-сье Пьер с доброй улыбкой смотрел на него, положив лапку на стол ладошкой кверху, точно предлагал Цинциннату мир. Директор вернулся. Он крепко держал в кулаке шерстяной шарф.

— Может быть вам, м-сье Пьер, пригодится, — сказал он, подал шарф, сел, шумно, как лошадь, отскакал и стал рассматривать большой палец, с конца которого серпом торчал полусорванный ноготь.

— О чем, бишь, мы говорили? — с прелестным тактом, будто ничего не случилось, воскликнул м-сье Пьер. — Да — мы говорили о фотографиях. Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас. Это будет весело. Что вы читаете, можно взглянуть?

— Книжку бы отложили, — заметил директор срывающимся голосом; — ведь у вас гость сидит.

— Оставьте его, — улыбнулся м-сье Пьер.

Наступило молчание.

— Становится поздно, — глухо произнес директор, посмотрев на часы.

— Да, сейчас пойдем... Фу, какой бука... Смотрите, смотрите, — губки вздрагивают... солнышко, кажись, вот-вот выглянет... Бука, бука!..

— Пошли, — сказал директор, встав.

— Сейчас... Мне здесь так приятно, что прямо не оторваться... Во всяком случае, милый мой сосед, буду пользоваться разрешением приходить к вам часто, часто, — если, конечно, вы мне разрешение даете, — а ведь вы мне даете его, — правда?.. Итак, до свидания. До свидания! До свидания!

Смешно кланяясь, кому-то подражая, м-сье Пьер отретировался; директор опять взял его под локоток, издавая сладострастно гнусавые звуки. Ушли, — но в последнюю минуту донеслось: «Виноват, кое-что забыл, сейчас догоню вас», — и директор хлынул назад в камеру, близко подошел к Цинциннату, улыбка сошла на мгновение с его лилового лица:

— Мне стыдно, — просвистел он сквозь зубы, — стыдно за вас. Вы себя вели как... Иду, иду, — заорал он, опять сияя, — схватил со стола вазу с пионами и, расплескивая воду, вышел.

Цинциннат все глядел в книгу. На страницу попала капля. Несколько букв сквозь каплю из петита обратились в цицero, вспухнув, как под лежачей луной.

## VIII

(Есть, которые чинят карандаш к себе, будто картошку чистят, а есть, которые стругают от себя, как палку... К последним принадлежал Родион. У него был старый складной нож с несколькими лезвиями и штопором. Штопор ночевал снаружи.)

«Нынче восьмой день (писал Цинциннат карандашом, укоротившимся более чем на треть), и я еще не только жив, то есть собою обло ограничен и затмен, но, как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу: вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления. Правда, в моем случае осторожность велит орудовать только очень небольшими цифрами, — но ничего, ничего, я жив. На меня этой ночью, — и случается так не впервые, — нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! — как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, — о мое верное, мое вечное... и мне довольно этой точки, — собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще и не вставала), быть может, просто так — ярмарочный монстр в глазающем, безнадежно-праздничном мире, — я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, — но все боюсь, что не успею. С тех пор, как помню себя, — а помню себя с беззаконной зоркостью, — собственный сообщник, который слишком много знает о себе, а потому опасен, а потому... Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, — что до сих пор ощущаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, — скользкий, голый! Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да... но даже теперь, когда все равно кончено, даже теперь... — Боюсь ли кого соблазнить? Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удушенных слов, как висельники... вечерние очерки глаголей, воронье... Мне кажется, что я бы предпочел веревку, оттого что достоверно и неотвратно знаю, что будет

топор; выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого, что я ценю всякую передышку, отсрочку... я имею в виду время мысли, — отпуск, который даю своей мысли для дарового путешествия от факта к фантазии — и обратно... Я еще многое имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость... Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу... хочется бросить, — а вместе с тем — такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щеколки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, — я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю со своей душой жаркой возни в темной комнате; никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться — всей мировой немоте назло. Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно, — и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощущимо держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, — и кажется, вот-вот все скомкаю, разорву... Ошибкой попал я сюда — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный, полосатый мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности — беда, ужас, безумие, ошибка, — и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполнинский резной медведь. А ведь с раннего детства мне снились сны... В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды — приобретали волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обе-

щание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, — больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания, — как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! Как боюсь того мгновения, вернее: половины мгновения, — уже тогда срезанного, когда, по-дровосечному гакнув... — А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся «ать» не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так просто не отпишешься. Да и нехорошо, что мою мысль все время засасывает дыра в будущем, — хочу я о другом, хочу другое пояснить... но пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади, на шее, между моих хрупких позвонков: безумное око, широко отверстое, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь! Даже — сильнее, с сипотой: не трожь! Я все предчувствую! И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клопочущий кашель, которым исходит свежеебезглавленный. Но все это — не то, и мое рассуждение о снах и яви — тоже не то... Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар, — и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски — я-то сам так отчетливо представляю себе все это, но

вы — не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошной моей задачи. Не тут! Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неумно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое... Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, — и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснее дымчатый воздух, — и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области. — Но дальше, дальше? — да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на-воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, — о, лишь мгновенный облик добычи! Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудачки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, — и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца, — с ленивой, длительной пристальностью женщины, подбирающей кушак к платью, — и вот она

плавно двинулась по направлению ко мне, мерно бодая бархат коленом, — все понявшая и мне понятная. — Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик... И все это — не так, не совсем так, — и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чем больше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное... и в конце концов следовало бы бросить и я бросил бы, ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться. Мне холодно, я ослаб, мне страшно, затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно-пристально смотрит, — но все-таки — я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу, — и не встану, пока не выскажусь... Повторяю (ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон), повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что... Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в которые ровесники мои без труда, без боли все и превратились; еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, и ярко расписанных пособий, и проникающих душу сквозняков, — я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, — знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь: постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов — не сдать, не прозвенеть... и до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечатлелось самое

начало этого усилия, то есть первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен. Хорошо же запомнился тот день! Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где петунии, флоксы и бархатцы образовали длинные изречения. Я сидел с ногами на низком подоконнике и смотрел сверху, как на газоне сада мои сверстники, в таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружатся около столба с лентами. Был ли я наказан? Нет, вернее неохота других детей принимать меня в игру и смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой, повелительно-звонкий голос рыжей гички, я видел ее локоны и очки, — и с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим меня, наблюдал, как самых маленьких она подталкивала, чтобы они вертелись шибче. И эта учительница, и полосатый столб, и белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливалось такой страстный, ищущий чего-то свет, так искрометно повторялось в стекле откинутой рамы... Словом, я чувствовал такой страх и грусть, что старался потонуть в себе самом, там притаиться, точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня. В это время в конце каменной галереи, где я находился, появился старейший из воспитателей — имени его не помню, — толстый, потный, с мохнатой черной грудью, — отправлялся купаться. Еще издали крикнув мне голосом, преувеличенным акустикой, чтобы я шел в сад, он быстро приблизился, взмахнул полотенцем. В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, — вместо того, чтобы спуститься в сад по лестнице (галерея находилась в третьем этаже), — я, не думая о том, что делаю,

но в сущности послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и — ничего не испытав особенного кроме полуощущения босоты (хотя был обут), — медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянno посасывая и разглядывая палец, который утром занозил... но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья, — я увидел внизу поднятые ко мне, как бледные маргаритки, лица оцепеневших детей и как бы падавшую навзничь гичку, увидел и кругло остриженные кусты, и еще не долетевшее до газона полотенце, увидел себя самого — мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха, — увидел, обернувшись, в трех воздушных от себя шагах только что покинутое окно и протянувшего мохнатую руку, в зловещем изумлении...»

(Тут, к сожалению, погас в камере свет, — он тушился Родионом ровно в десять.)

## IX

И снова день открылся гулом голосов. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу... Как они вваливались! Старый отец Марфиньки, — огромная лысая голова, мешки под глазами, каучуковый стук черной трости; братья Марфиньки, — близнецы, совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой с смоляными; дед и бабушка Марфиньки по матери, — такие старые, что уже просвечивали; три бойкие кузины, которых, однако, в последнюю минуту почему-то не пропустили; Марфинькины дети — хромой Диомедон и болезненно полненькая Полина; наконец, сама Марфинька, в своем выходном черном платье, с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке; при ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем.

Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло, поставил с усилием толстую замшевую ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из-под тяжелых век уставился на Цинцинната, которого охватило знакомое мутное чувство при виде бренденбургов, украшающих теплую куртку тестя, морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение, и багрового пятна на жилистом виске, со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле.

Дед и бабушка (он — дрожащий, ошипанный, в заплятанных брючках; она — стриженная, с белым бобриком, и такая худенькая, что могла бы натянуть на себя шелковый чехол зонтика), расположились рядышком на двух одинаковых стульях с высокими спинками; дед не выпускал из маленьких волосатых рук громоздкого, в золоченой раме, портрета своей матери, — туманной молодой женщины, державшей в свою очередь какой-то портрет.

Между тем все продолжали прибывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением (а именно: уголок супружеской спальни, — полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь). Вкатили невеселый с ортопедическими ухищрениями велосипедик. На столике с инкрустациями лежал уже десять лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфинька села на свою черную, вытканную розами, кушетку.

— Горе, горе! — провозгласил тесть и стукнул тростью.

Старички испуганно улынулись.

— Папенька, оставьте, ведь тысячу раз пересказано, — тихо проговорила Марфинька и зябко повела плечом.

Ее молодой человек подал ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнувшись одним уголком тонких губ, отвела его чуткую руку. («Я первым делом смотрю мужчине на руки».) Он был в шикарной черной форме телеграфного служащего и надушен фиалкой.

— Горе! — с силой повторил тесть и начал подробно и смачно проклинать Цинцинната. Взгляд Цинцинната увело зеленое в белую горошинку платье Полины: рыженькая, косенькая, в очках, не смех возбуждающая, а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передвигая толстые ножки в коричневых шерстяных чулках и сапожках на пуговках, она подходила к присутствующим и словно каждого изучала, серьезно и молчаливо глядя своими маленькими темными глазами, которые сходились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфеткой, — забыли, видно, снять после завтрака.

Тесть перевел дух, опять стукнул тростью, и тогда Цинциннат сказал:

— Да, я вас слушаю.

— Молчать, грубиян, — крикнул тот, — я вправе ждать от тебя, — хотя бы сегодня, когда ты стоишь на пороге смерти, — немножко почтительности. Ухитрись угодить на плаху... Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел...

Марфинька что-то тихо спросила у своего молодого человека, который осторожно возился, шаря вокруг себя и под собой на кушетке.

— Нет, нет, ничего, — ответил он так же тихо; — я должно быть ее по дороге. — Ничего, найдется... А скажите, вам наверное не холодно?

Марфинька, отрицательно качая головой, опустила мягкую ладонь к нему на кисть; и, тотчас отняв руку, поправила на коленях платье и шипящим шепотом позвала сына, который приставал к своим дядьям, отталкивавшим его, — он им мешал слушать. Диомедон, в серой блузе с резинкой на бедрах, весь искривляясь с ритмическим выкрутом, довольно все же проворно прошел расстояние от них к матери. Левая нога была у него здоровая, румяная; правая же походила на ружье в сложном своем снаряде: ствол, ремни. Круглые карие глаза и редкие брови были материнские, но нижняя часть лица, бульдожьи брыльца — это было, конечно, чужое.

— Садись сюда, — сказала вполголоса Марфинька и быстрым хлопком задержала стекавшее с кушетки ручное зеркало.

— Ты мне ответь, — продолжал тесть, — как ты смел, ты, счастливый семьянин, — прекрасная обстановка, чудные детишки, любящая жена, — как ты смел не принять во внимание, как не одумался, злодей? Мне сдается иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю, — потому что иначе надобно допустить такую бездну мерзости... Молчать! — взревел он, — и старички опять вздрогнули и улыбнулись.

Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу Цинцинната, потом очутилась на буфете, проводившем ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечо к адвокату, который, только что на цыпочках войдя, сидел в углу на плюшевом пуфе, — очень был простужен, и, поверх готового для употребления носового платка, оглядывал присутствующих и различные предметы домашнего обихода, придававшие такой вид камере, точно тут происходил аукцион; кошка испугала его, он судорожно ее скинул.

Тесть клокотал, множил проклятия и уже начинал хрипеть. Марфинька прикрыла рукой глаза, ее молодой человек смотрел на нее, играя желваками скул. На диванчике с изогнутым прислоном сидели братья Марфиньки; брюнет, весь в желтом, с открытым воротом, держал трубку нотной бумаги еще без нот, — был одним из первых певцов города; его брат, в лазоревых шароварах, щеголь и остряк, принес подарок зятю, — вазу с ярко сделанными из воска фруктами. Кроме того, он на рукаве устроил себе креповую повязку и, ловя взгляд Цинцинната, указывал на нее пальцем.

Тесть на вершине красноречивого гнева вдруг задохнулся и так двинул креслом, что тихонькая Полина, стоявшая рядом и глядевшая ему в рот, повалилась назад, за кресло, где и осталась лежать, надеясь, что никто не заметил. Тесть начал с треском вскрывать папиросную коробку. Все молчали.

Примятые звуки постепенно начинали расправляться. Брат Марфиньки, брюнет, прочистил горло и пропел вполголоса: «Mali é trano t'amesti...» — осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза. Адвокат, чему-то улыбаясь, опять принялся за платок. Марфинька на кушетке перешептывалась со своим кавалером, который упрашивал ее накинуть шаль, — тюремный воздух был сыроват. Они говорили на вы, но с каким грузом нежности проплывало это «вы» на горизонте их едва уловимой беседы... Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, передал портрет старушке и, заслоня дрожавшее, как он сам, пламя, подошел к своему зятю, к Цинциннатову тестю, и хотел ему... — Но пламя потухло, и тот сердито поморщился:

— Надоели, право, со своей дурацкой зажигалкой, — сказал он угрюмо, но уже без гнева, — и тогда воздух совсем оживился, и сразу заговорили все.

«Mali é trano t'amesti...», — полным голосом пропел Марфинькин брат.

— Диомедон, оставь моментально кошку, — сказала Марфинька, — позавчера ты уже одну задушил, нельзя же каждый день. Отнимите, пожалуйста, у него, Виктор, милый.

Пользуясь общим оживлением, Полина выползла из-за кресла и тихонько встала. Адвокат подошел к Цинциннатову тестю и дал ему огня.

— Возьми-ка слово «ропот», — говорил Цинциннату его шурин, остряк, — и прочти обратно. А? Смешно получается? Да, брат, — втяпался ты в историю. В самом деле, как это тебя угораздило?

Между тем дверь незаметно отворилась. На пороге, оба одинаково держа руки за спиной, стояли м-сье Пьер и директор — и тихо, деликатно, двигая только зрачками, осматривали общество. Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться.

— Знаешь что, — жарко дыша, говорил шурин, — послушайся друга муругого. Покайся, Цинциннатик. Ну, сделай одолжение. Авось еще простят? А? Поду-

май, как это неприятно, когда башку рубят. Что тебе стоит? Ну, покаяйся, — не будь остолопом.

— Мое почтение, мое почтение, мое почтение, — сказал адвокат, подходя. — Не целуйте меня, я еще сильно простужен. О чем разговор? Чем могу быть полезен?

— Дайте мне пройти, — прошептал Цинциннат, — я должен два слова жене...

— Теперь, милейший, обсудим вопрос материальный, — сказал освежившийся тесть, протягивая так палку, что Цинциннат на нее наскочил. — Постой, постой же, я с тобою говорю!

Цинциннат прошел дальше; надо было обогнуть большой стол, накрытый на десять персон, и затем протиснуться между ширмой и шкапом для того, чтобы добраться до Марфиньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Цинциннат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диомедона. Он оглянулся и увидел Эмочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика: подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками. Цинциннат поймал ее за голое предплечье, но она вырвалась, побежала; за ней спешила, переваливаясь, Полина в тихом экстазе любопытства.

Марфинька повернулась к нему. Молодой человек очень корректно встал.

— Марфинька, на два слова, умоляю тебя, — скороговоркой произнес Цинциннат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки, запахиваясь в свой пеплом запаханный халат.

— Легкая мигрень, — сказал молодой человек. — Оно и понятно. Ей вредны такие волнения.

— Вы правы, — сказал Цинциннат. — Да, вы правы. Я хочу вас попросить... мне нужно наедине...

— Позвольте, сударь, — раздался голос Родиона возле него.

Цинциннат встал, Родион и другой служитель взяли, глядя друг другу в глаза, за кушетку, на которой

полулежала Марфинька, крикнули, подняли и понесли к выходу.

— До свиданья, до свиданья, — по-детски кричала Марфинька, покачиваясь в лад с шагом носильщиков, но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел озади, неся поднятые с полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета. Братья убирали посуду в сундук. Их отец, астматически дыша, одолевал многостворчатую ширму. Адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги, неизвестно где им добытый; его видели безуспешно пытающимся завернуть в него чан с бледно-оранжевой рыбкой в мутной воде. Среди суеты широкий шкаф со своим личным отражением стоял, как брюхатая женщина, бережно держа и отворачивая зеркальное чрево, чтобы не задела. Его наклонили назад и, шатаясь, унесли. К Цинциннату подходили прощаться.

— Ну-с, не поминай лихом, — сказал тесть и с холодной учтивостью поцеловал Цинциннату руку, как того требовал обычай. Белокурый брат посадил чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Цинциннатом простились и ушли, как живая гора. Дед с бабкой, вздрагивая, кланялись и поддерживали туманный портрет. Служители все продолжали выносить мебель. Подошли дети: Полина, серьезная, поднимала лицо, а Диомедон, напротив, смотрел в пол. Их увел, держа обоих за руки, адвокат. Последней подлетела Эммочка: бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, — она молчала, но вдруг поднялась на слегка хрустнувших носках, обвинив горячие руки вокруг его шеи, — неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула. Родион схватил ее за кисть, — судя по его бормотанию, он звал ее давно и теперь решительно потащил к выходу. Она же, изогнувшись, отклонив и обернув к Цинциннату голову со струящимися волосами и протянув к нему ладонью кверху очаровательную руку, с видом балетной пленницы, но с тенью настоящего отчаяния, нехотя следо-

вала за влачившим ее Родионом, — глаза у нее закатывались, бридочка сползла с плеча, — и вот он размашисто, как из ведра воду, выплеснул ее в коридор; все еще бормоча, вернулся с совком, чтобы подобрать труп кошки, плоско лежавший под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было поверить, что в этой камере только что...

## Х

— Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, и я сердечно этому рад, — говорил м-сье Пьер, сидя по своему обыкновению боком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками, и беря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе. Цинциннат, подпирая голову, лежал на койке.

— Мы сейчас одни, а на дворе дождь, — продолжал м-сье Пьер. — Такая погода благоприятствует душевным шушуканьям. Давайте раз навсегда выясним... У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит, отношение нашего начальства ко мне; выходит так, будто я на положении особом, — нет, нет, не возражайте, — давайте уж начистоту, коли на то пошло. Позвольте же мне сказать вам две вещи. Вы знаете нашего милого директора (кстати: волчонок к нему не совсем справедлив, но об этом после...), вы знаете, как он впечатлителен, как пылок, как увлекается всякой новинкой, — думаю, что и вами он увлекался в первые дни, — так что пассия, которой он теперь ко мне воспылал, не должна вас смущать. Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но по-видимому вам до сих пор неизвестно, за что я угодил сюда, — а вот, когда я вам скажу, вы многое поймете. Простите, — что это у вас на шее, — вот тут, тут, — да, тут.

— Где? — машинально спросил Цинциннат, ощупывая себе шейные позвонки.

М-сье Пьер подошел к нему и сел на край койки.

— Вот тут, — сказал он, — но я теперь вижу, — это просто тень так падала. Мне показалось — какая-то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете головой. Болит? Простудили?

— Ах, не приставайте ко мне, прошу вас, — скорбно сказал Цинциннат.

— Нет, постойте. У меня руки чистые, позвольте мне тут прощупать. Как будто все-таки... Вот тут не болит? А тут?

Маленькой, но мускулистой рукой он быстро трогал Цинцинната за шею, внимательно осматривая ее и с легким присвистом дыша через нос.

— Нет, ничего. Все у вас в исправности, — сказал он, наконец, отодвигаясь и хлопая пациента по загривку. — Только ужасно она у вас тоненькая, — но так все нормально, а то знаете иногда случается... Покажите язык. Язык — зеркало желудка. Накройтесь, накройтесь, тут прохладно. О чем мы беседовали? Напомните мне.

— Если вы бы действительно желали мне блага, — сказал Цинциннат, — то оставили бы меня в покое. Уйдите, прошу вас,

— Неужели вы не хотите меня выслушать, — возразил с улыбкой м-сье Пьер, — неужели вы так упрямо верите в непогрешимость своих выводов, — неизвестных мне вдобавок, — заметьте это, неизвестных.

Цинциннат молчал, пригорюнившись.

— Так позвольте рассказать, — с некоторою торжественностью продолжал м-сье Пьер, — какого рода совершенно мною преступление. Меня обвинили, — справедливо или нет, это другой вопрос, — меня обвинили... В чем же, как вы полагаете?

— Да уж скажите, — проговорил с вялой усмешкой Цинциннат.

— Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке... Ах, неблагодарный, недоверчивый друг... Меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда.

— Это правда? — спросил Цинциннат.

— Я никогда не лгу, — внушительно сказал м-сье Пьер. — Может быть, нужно иногда лгать, — это другое дело, — и, может быть, такая щепетильная правдивость глупа и не приносит в конце концов никакой пользы, — допустим. Но факт остается фактом: я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью... Где? Скажем в Вышнеграде. Да, — я вышнеградец. Солеломни, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вышнями, — не отвечаю за каламбур, — так у нас в городском гербе. Там — не в гербе, а в остроге — ваш покорный слуга просидел трое суток. Затем экстренный суд. Затем — перевели сюда.

— Вы, значит, хотели меня спасти... — задумчиво произнес Цинциннат.

— Хотел ли я или не хотел — мое дело, друг сердечный, таракан запечный. Во всяком случае, меня в этом обвинили, — доноскики, знаете, все публика молодая, горячая, и вот: «я здесь перед вами стою в упоенье...» — помните романс? Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею вашего бегства, таракаша.

— Будто бы или?... — спросил Цинциннат.

— Какое это наивное, прелестное существо! — осклабился м-сье Пьер, показывая многочисленные зубы. — У него все так просто, — как, увы, не бывает в жизни!

— Но хотелось бы знать, — сказал Цинциннат.

— Что? Правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасти? Эх вы...

М-сье Пьер встал и заходил по камере.

— Оставим это, — сказал он со вздохом, — решайте сами, недоверчивый друг. Так ли, иначе ли, — но сюда я попал из-за вас. Более того: мы и на эшафот взойдем вместе.

Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пинжамкой, — и Цинциннат с тяжелым унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка.

— Смеха ради, поверю, — сказал, наконец, Цинциннат, — посмотрим, что из этого получится. Вы слышите, — я вам верю. И даже, для вящей правдоподобности вас благодарю.

— Ах, зачем, это уже лишнее... — проговорил м-сье Пьер и опять сел у стола. — Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе... Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это — хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез.

— Как тут ужасно, — осторожно сказал Цинциннат.

— Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет, нет, не отмахивайтесь, разрешите мне на правах дружбы... Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, — при этом любит поговорить, — все так, мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь, — особенно когда на душе кошки, простите за выражение, скребутся. Но каковы бы ни были его недостатки, — он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты, — не спорьте, — я не говорил бы, кабы не знал, а я никогда не говорю наобум, и я опытнее, лучше знаю жизнь и людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родрига Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку... Что же касается Родиона, то как это вы, такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умильную благодать этого взрослого ребенка. Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины, — а все-таки, Цинциннат, — вы меня простите, но нехорошо, нехорошо... И, вооб-

ще, вы людей обижаете... Едва притрагиваетесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся, — поверьте, что я тоже кое-что смыслю в гастрономии, — но вы издеваетесь над ними, — а ведь кто-то их стряпал, кто-то старался... Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять и пошалить, — но почему думать только о себе, о своих хотениях, почему вы ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родрига Ивановича?.. Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали...

— Защита во всяком случае остроумная, — сказал Цинциннат, — но я в куклах знаю толк. Не уступлю.

— Напрасно, — обиженно сказал м-сье Пьер. — Это вы еще по молодости лет, — добавил он после молчания. — Нет, нет, нельзя быть таким несправедливым...

— А скажите, — спросил Цинциннат, — вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра?

— Вы бы таких слов лучше не употребляли, — конфиденциально заметил м-сье Пьер. — Особенно с такой интонацией... В этом есть что-то вульгарное, недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить, — удивляюсь вам...

— А все-таки — когда? — спросил Цинциннат.

— Своевременно, — уклончиво ответил м-сье Пьер, — что за глупое любопытство? И вообще... Нет, вам еще многому надобно научиться, так нельзя. Эта заносчивость, эта предвзятость...

— Но как они тянут... — сонно проговорил Цинциннат. — Привыкаешь, конечно... Изо дня в день держишь душу наготове, — а ведь возьмут врасплох. Так прошло десять дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-то... Неясная, как в воде, — но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве... Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется... Какие-

то намеки... Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом...

Он остановился, вздохнув.

— Нет, это любопытно, — сказал м-сье Пьер, — какие же это надежды и кто этот спаситель?

— Воображение, — отвечал Цинциннат. — А вам бежать хочется?

— Как так — бежать? Куда? — удивился м-сье Пьер.

Цинциннат опять вздохнул:

— Да не все ли равно — куда. Мы бы с вами вместе... Но я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать? Ваши ноги...

— Ну, это вы того, заврались, — ерзая на стуле, проговорил м-сье Пьер. — Это в детских сказках бегут из темницы. А замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе.

— Спать хочется, — сказал Цинциннат.

М-сье Пьер закатал правый рукав. Мелькнула татуировка. Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое животное. Он крепко стал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он поддерживал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление.

Незаметно дыша, он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, покамест паука, как меньшей в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной.

Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью; левая штанина спустилась, обнажая щиколотку; перевернутые глаза, — как у всякого в такой позитуре, — стали похожи на глаза спрута.

— Ну что? — спросил он, снова вспрянувшись и приводя себя в порядок.

Из коридора донесся гул рукоплесканий — и потом, отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопал клоун, но бацнулся о барьер.

— Ну что? — повторил м-сье Пьер, — силушка есть? Ловкость налицо? Али вам этого еще недостаточно?

М-сье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. М-сье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы да скрипела челюсть.

Тихо отпахнулась дверь, и — в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до сиреновой слепоты, освещенный, вошел директор цирка.

— Сенсация! Мировой номер! — прошептал он и, сняв цилиндр, сел подле Цинцинната.

Что-то хрустнуло, и м-сье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но по-видимому не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, м-сье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе.

Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Цинцинната, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу.

На том представление и кончилось.

## XI

Теперь газет в камеру не доставлялось: заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Цинциннат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился: вместо шоколада — хотя бы слабого — давали брандахлыст с флотилией чаинок; гренокв же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо-привередливого узника наскучило ему.

За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородаща, бессмысленная синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням, — все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что Цинциннат отворачивался к стене, покуда происходила уборка.

Так было и нынче, — и только возвращение стула, с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки, послужило особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от м-сье Пьера записку, — барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дружескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится.

«Позвольте вас заверить, — так кончалась записка, — что физически я очень, очень силен (дважды, по линейке, подчеркнуто), и если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные (подчеркнуто) примеры ловкости и поразительного мускульного развития».

Затем три часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Цинциннат, то пощипывая усы, то листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально, — знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет.

Со стенами дело обстояло так: их было неизменно четыре; они были сплошь выкрашены в желтый цвет; но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глинятым, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охряное отражение окна; тут, на свету, были отчетливо заметны все пузырьки густой, желтой краски, — даже волнистый заворот бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти, — и была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра.

От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки, холодок; недоразвитое, злое,

маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка, с лампочкой (окруженной решеткой) посредине, — то есть нет, не совсем посредине: неправильность, мучительно раздражавшая глаз, — и в этом смысле не менее мучительна была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь.

Из трех представителей мебели, — койки, стола, стула, лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху, там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфинька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Сложив перед собою лапы, так что торчали врозь мохнатые локти, он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька, — и вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, с шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком сквозняке.

Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил. Унесен был — а может быть разбит — классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство «тюремности» подавлялось бесстрашием — канцелярской, больничной или какой-то другой — комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру, и слышно только жужжание в ушах... причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка.

На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали, в сапожно-черных переплетах, библиотечные томы. Карандаш, утративший стройность и сильно искусанный, покоился на мельнице сложенных, стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфиньке, оконченное Цинциннатом

еще накануне, то есть в день после свидания; но он все не мог решиться отослать его, а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате, мысль.

Речь будет сейчас о драгоценности Цинцинната; о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его, — Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно глупый, — как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп. Но и во сне все равно, все равно — настоящая его жизнь слишком сквозила.

Прозрачно побелевшее лицо Цинцинната, с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это, казалось, растрепавшийся над губой солнечный свет; небольшое и еще молодое, невзирая на все терзания, лицо Цинцинната, со скользящими, непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными, глазами, — было по выражению своему совершенно у нас недопустимо, — особенно теперь, когда он перестал таиться. Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление (откуда-то все-таки был сквозняк!) прозрачных волос на висках — дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить, — она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся и сходящихся вновь лучей в дышащих глазах... но и это все разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцинната: это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Каза-

лось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом все в нем дышало тонкой, сонной, — но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своеобычной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленном растворенным светом... и так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, уничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то невозможное, вольное, ослепительное, — довольно, довольно, — не ходи больше, ляг на койку, Цинциннат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать, — и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу.

Книги, черневшие на столе, были вот какие: во-первых, современный роман, который Цинциннат в бытность свою на свободе прочитать не удосужился; во-вторых, одна из тех без числа издаваемых хрестоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы; в-третьих, переплетенные номера старого журнала; в-четвертых, несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке, — он этого не заказывал.

Роман был знаменитый «Quercus»<sup>1</sup>, и Цинциннат прочел из него уже добрую треть: около тысячи страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинциннат остановился, дубу шел третий век; простой расчет подсказывал, что к концу

---

<sup>1</sup> «Дуб» (лат.).

книги он достигнет по крайней мере возраста шестисотлетнего.

Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева (одинокое и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды), автор чередой разворачивал все те исторические события, — или тени событий — коих дуб мог быть свидетелем; то это был диалог между воинами, сошедшими с коней — изабелловой масти и в яблоках, — дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы; то привал разбойников и песнь простоволосой беглянки; то — под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева; то на плаще труп, как будто еще трепещущий — от движения лиственной тени; то — мимоletная драма в среде поселян. Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «п».

Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Quercus'a — высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба, с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии, — или описаниями популярными, с участием народного юмора. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды.

Цинциннат почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время, — однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли: на что мне это далекое, ложное, мертвое, — мне, готовящемуся умереть? Или же начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, — и это было как-то смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было

потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора.

Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл фриштык. Опять бабочкино крыло скользило у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру.

— Неужели он все еще не приехал? — спросил Цинциннат, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не ответил ничего.

— А свидания больше не дадут? — спросил Цинциннат.

В ожидании обычной изжоги, он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисункам, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и кругленьких их теней; находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом; потом терял и уже не мог восстановить. От этой вохры тянуло могилой, она была прыщевата, ужасна, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки, — так недоставало, так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке.

«А в общем они, кажется, доконали меня, — подумал Цинциннат. — Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом».

Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулясь. Испустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке. Мелкий, густой, узористый набор, с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв, был, пожалуй, восточный, — напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички... иная в желтых подтеках...

Часы пробили семь, и вскоре явился Родион с обедом.

— Он наверное еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион было ушел, но на пороге обернулся:

— Стыд и срам, — проговорил он, всхлипнув, — деннонощно груши околачиваете... кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете, что с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный...

Время, ровно жужжа, продолжало течь. В камере воздух потемнел, и когда он уже был совсем слепой и вялый, деловито зажегся свет посередине потолка, — нет, как раз-то и не посередине, — мучительное напоминание. Цинциннат разделся и лег в постель с Quercus'ом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох, — судя по разговору трех веселых путников, Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном мху под черным вечерним дубом.

— Неужели никто не спасет? — вдруг громко спросил Цинциннат и присел на постели (руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет).

— Неужели никто, — повторил Цинциннат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони.

Сквозняк обратился в дубравное дуновение. Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный в блестящий желтоватый цвет, отполированный и плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке, бутафорский желудь.

## XII

Он проснулся от глухого постукивания, свербежа, что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки, — туруп, туруп, тэк, тэк, тэк, — без мысли об их значении, а просто так, — потому что они разбудили его, и потому что слуху ничего другого

не оставалось делать. Турупт, стук, скребет, сыпь-сыпь-сыпь-сыпь. Где? Справа? Слева? Цинциннат приподнялся.

Он слушал, — вся голова обратилась в слух, все тело — в тугое сердце; он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках: слабый настой темноты в камере... темное осело на дно... За решеткой окна — серый полусвет: значит — три, половина четвертого... Замерзшие сторожа спят... Звуки идут откуда-то снизу, — нет, пожалуй, сверху, нет, все-таки снизу, — точно за стеной, на уровне пола, скребется железными когтями большая мышь.

Особенно волновала Цинцинната сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи — быть может еще далекую, — но несомненно достижимую цель. Сдерживая дыхание, он, с призрачной легкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул... и на цыпочках, по липкому, цепкому... к тому углу, откуда, как будто... как будто... но, подойдя, понял, что ошибся, — стук был правее и выше; он двинулся — и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, второпях обслуживается не тем ухом.

Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: «Цинциннат!» — сказал поднос укоризненно, — и тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность — и, неподвижно стоя у стены, большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую, полую голову, Цинциннат чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он.

Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, Цинциннат попробовал снова определить их положение: справа, ежели стать лицом к двери, — да, справа, — и во всяком случае еще далеко... вот все, что после

долгого прислушивания ему удалось заключить. Двинувшись, наконец, обратно к койке, за туфлями, — а то босиком становилось невмочь, — он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте, — и опять звуки оборвались, — на сей раз окончательно, то есть может быть они бы и продолжались после осторожного перерыва, но утро уже входило в силу, и Цинциннат видел — глазами привычного представления, — как на своем табурете в коридоре, весь дымясь от сырости и разеваая ярко-красный рот, потягивается Родион.

Все утро Цинциннат прислушивался да прикидывал, чем бы и как изъяснить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась — просто, но со вкусом, поставленная — летняя гроза, в камере было темно, как вечером, слышался гром, то крупный, круглый, то колкий, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень явился Родриг Иванович.

— К вам пришли, — сказал он, — но я сперва хотел узнать...

— Кто? — спросил Цинциннат, одновременно подумав: только бы не теперь... (то есть только бы не теперь возобновился стук).

— Видите ли, какая штука, — сказал директор, — я не уверен, желаете ли вы... Дело в том, что это ваша мать, — *votre mère, paraît-il*<sup>1</sup>.

— Мать? — переспросил Цинциннат.

— Ну да, — мать, мамаша, мамахен, — словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорей.

— ...Видал всего раз в жизни, — сказал Цинциннат, — и, право, никаких чувств... нет, нет, не стоит, не надо, это ни к чему.

— Как хотите, — сказал директор и вышел.

Через минуту, любезно воркуя, он ввел маленькую, в черном макинтоше, Цецилию Ц.

---

<sup>1</sup> Ваша мать, кажется (*франц.*).

— Я вас оставлю вдвоем, — добавил он добродушно; — хотя это против наших правил, но бывают положения... исключения... мать и сын... преклоняюсь...

Exit<sup>1</sup>, пятясь, как придворный.

В блестящем, черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями (придававших ей что-то штормово-рыбачье), Цецилия Ц. осталась стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына; расстегнулась; шумно втянула сопельку и сказала скорым, дробным своим говорком:

— Грозница, грязища, думала, никогда не долезу, навстречу по дороге потоки, потофы...

— Садитесь, — сказал Цинциннат, — не стойте так.

— Что-что, а у вас тут тихо, — продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. — Одно можно сказать, — тихо и довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера. Ах, постель, — миленький мой — в каком у вас виде постель!

Она плюхнула свой профессиональный саквояжик, проворно стянула черные нитяные перчатки с маленьких подвижных рук — и, низко наклонившись над койкой, принялась стелить, стелясь как бы сама, постель наново. Черная спина с тюленьим глянцем, поясok, заштопанные чулки.

— Вот так-то лучше, — сказала она, разогнувшись, — и затем, на мгновение подбоченясь, покосилась на загроможденный книгами стол.

Она была моложава, и все ее черты подавали пример цинциннатовым, по-своему следовавшим им; Цинциннат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посреди довольно открытой груди краснелся от душки вниз треугольник веснушчатого загара, — но, вообще, кожа была все та же, из которой некогда

---

<sup>1</sup> Вышел (лат.).

выкроен был отрезок, пошедший на Цинцинната, — бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках.

— Ай-я-яй, тут тоже следовало бы... — пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками. Мимоходом заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана макинтоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенсне. — Двадцать шестой год, — проговорила она, усмехнувшись, — какая старина, просто не верится.

(...две фотографии: на одной белозубый президент на вокзале в Манчестере пожимает руку умашенной летами правнучке последнего изобретателя; на другой — двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае...)

Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла: упс!

— Оставьте, — сказал Цинциннат, — тут не может быть беспорядка, тут может быть только перемещение.

— Вот — я вам принесла (вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто). Вот. Конфеток. Сосите на здоровьице.

Села и надула щеки.

— Лезла, долезла и устала, — сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину сверху.

— Зачем вы пришли? — спросил Цинциннат, шагая по камере. — Ни вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать... Но представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук, как же мне верить в него, если даже вы обман. Вы бы еще сказали: гостинцев. И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие, — ведь это небрежность. Передайте бутафору.

Она — поспешно и виновато:

— Да я же была в калошах, внизу в канцелярии оставила, честное слово...

— Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснения. Играйте свою роль, — побольше лепета, побольше беспечности, — и ничего, — сойдет.

— Я пришла, потому что я ваша мать, — проговорила она тихо, и Цинциннат рассмеялся:

— Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным — но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала: драма может уйти. Вы бы лучше... да, вот что, повторите, повторите мне, пожалуйста, предание о моем отце. Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда — это странно...

— Только голос, — лица не видала, — ответила она все так же тихо.

— Во, во, подыгрывайте мне, я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом, — с тоской продолжал Цинциннат, прищелкивая пальцами и шагая, шагая: — или лесным разбойником, гастролирующим в парке. Или загулявшим ремесленником, плотником... — Ну, скорей, придумайте что-нибудь.

— Вы не понимаете, — воскликнула она, — (в волнении встала и тотчас села опять), — да, я не знаю, кто он был, — бродяга, беглец, да, все возможно... Но как это вы не понимаете... да, — был праздник, было в парке темно, и была я девчонкой, — но ведь не в том дело. Ведь обмануться нельзя! Человек, который сжигается живьем, знает небось, что он не купается у нас в Стропи. То есть я хочу сказать: нельзя, нельзя ошибиться... Ах, как же вы не понимаете!

— Чего не понимаю?

— Ах, Цинциннат, он — тоже...

— Что — тоже?

— Он тоже, как вы, Цинциннат...

Она совсем опустила лицо, уронила пенсне в горсточку.

Пауза.

— Откуда вам это известно, — хмуро спросил Цинциннат, — как это можно так сразу заметить...

— Больше вам ничего не скажу, — произнесла она, не поднимая глаз.

Цинциннат сел на койку и задумался. Его мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела наверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы, солнце провело по стене свою полосу, то бледневшую, то разгоравшуюся опять.

— Сейчас васильки во ржи, — быстро заговорила она, — и все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в Докторском, — и когда приезжаю к вам в город, когда еду полями, в старом шарабанчике, и вижу, как блесстит Стропь, и вижу этот холм с крепостью и все, — мне всегда кажется, что повторяется, повторяется какая-то замечательная история, которую все не успеваю или не умею понять, — и все ж таки кто-то мне ее повторяет — с таким терпением! Я работаю целый день в нашем приюте, мне все трын-трава, у меня любовники, я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить, потому что расширение аорты, — и вот я сижу у вас, — я сижу у вас и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему это рассказываю, и мне теперь будет жарко переть вниз в этом пальто и шерстяном платье, солнце будет совершенно бешеное после такой грозы...

— Нет, вы все-таки только пародия, — прошептал Цинциннат.

Она вопросительно улыбнулась.

— Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов, — прошептал Цинциннат.

— Вот как, — сказала она и снова высморкалась.

— Да, вот значит как, — повторила она.

Оба молчали, не глядя друг на друга, между тем как с бессмысленной гулкостью били часы.

— Вы обратите внимание, когда выйдете, — сказал Цинциннат, — на часы в коридоре. Это — пустой

циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую, — вот так и живешь по крашеному времени, а звон производит часовой, почему он так и зовется.

— А вы не шутите, — сказала Цецилия Ц., — бывают, знаете, удивительные уловки. Вот, я помню: когда была ребенком, в моде были, — ах, не только у ребят, но и у взрослых, — такие штуки, назывались «нетки», — и к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое — абсолютно искаженное, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана... Или, скорее, к его кривизне были так подобраны... Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов: всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых, — но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо, — и вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было — на заказ — даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немного жутко — вдруг ничего не получится! — брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную...

— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил Цинциннат.

Она молчала.

— Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях, завтра, может быть...

Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было так, словно проступило нечто, настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно о чем, пускай — ужас, жалость... Но скажем лучше: она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не зыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цецилия Ц. встала, делая невероятный маленький жест, а именно расставляя руки с вытянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер, — длину, скажем, младенца... Потом сразу засуетилась, подняла с полу черный, толстенный, на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана.

— Ну вот, — сказала она прежним лепечущим говорком, — посидела и пойду. Кушайте мои конфетки. Засиделась. Пойду, мне пора.

— О да, пора! — с грозной веселостью грянул Родриг Иванович, широко отворяя дверь.

Наклонив голову, она скользнула вон. Цинциннат, дрожа, шагнул было вперед...

— Не беспокойтесь, — сказал директор, подняв ладонь, — эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!

— Но я все-таки... — начал Цинциннат.

— Арьер! — заорал Родриг Иванович.

Из глубины коридора, между тем, появилась плотная полосатая фигурка м-сье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу

перед собой, ящичек, полишинеля под мышкой, еще что-то...

— Гости были? — вежливо справился он у Цинцинната, когда директор оставил их в камере одних. — Магушка ваша? Так-с, так-с. А теперь я, бедненький, слабенький м-сье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвечуся. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись дяде. Правда, уморительный? Ну, сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра! Давайте, я вас научу!

### ХIII

Ждал, ждал и вот — в мертвейший час ночи сызнова заработали звуки. Один в темноте, Цинциннат улыбулся. Я вполне готов допустить, что и они — обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной.

Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью; не тяпали сослепу; как сомневаться в их приближающемся, поступательном движении? Скромность их! Ум! Таинственное, расчетливое упрямство! Обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием (из амальгамы негоднейшего вещества и всесильной человеческой воли), — но кто-то как-то — это было ясно — пробивал себе ход.

Стояла холодная ночь; серый, сальный отблеск луны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке оконной пади; вся крепость ощущалась, как налитая густым мраком снутри и выложенная луной снаружи, с черными изломами теней, которые сползали по скалистым скатам и бесшумно рушились во рвы; да, — стояла бесстрастная, каменная ночь, — но в ней, в глухом ее лоне, подтачивая ее мощь, пробивалось нечто совершенно чуждое ее составу и строю. Или это старые, романтические бредни, Цинциннат?

Он взял покорный стул и крепче ударил им в пол, потом несколько раз в стену, — стараясь, хотя бы посредством ритма, придать стуку смысл. И действи-

тельно: пробирающийся сквозь ночь сначала стал, как бы соображая — враждебны ли или нет встречные стуки, — и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Цинциннату, что его отклик понят.

Он убедился, — да, это именно к нему идут, его хотят спасти, — и, продолжая постукивать в наиболее болезненные места камня, он вызывал — в другом диапазоне и ключе — полнее, сложнее, слаще, — повторение тех нехитрых ритмов, которые он предлагал.

Он уже подумывал о том, как наладить азбуку, когда заметил, что не месяц, а другой, непрощенный, свет разбавляет потемки, — и не успел он заметить это, как звуки втянулись. Напоследок довольно долго что-то сыпалось, но и это постепенно смолкло, — и странно было представить себе, что так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплотную приноживающейся и придавленным щипцом храпящей — и снова роющей с остервенением, как пес, добирающийся до барсука.

Через зыбкую дремоту он видел, как входил Родион, — и было уже за полдень, когда совсем проснулся — и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко.

Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой; ходил вокруг стола, где белелось все еще неотправленное письмо; а не то воображал опять мгновенный, захватывающий дух, — как перерыв в этой жизни, — взгляд вчерашней гостьи, или слушал про себя шорох Эммочки. Что ж, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу, надежды мои не сбылись, я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое, на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось — шумно, мелко, нелепо, я даже не мог к тебе подойти, твой страшный отец едва

не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу, это — последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут убивать, неужели так трудно, я у тебя не прошу долгих вдовьих вздыханий, траурных лилий, но молю тебя, мне так нужно — сейчас, сегодня, — чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит, и так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянино приближение, — «тише, тише», — все еще продолжаешь орать, вот как тебе должно страшно стать, Марфинька, даром что мало любишь меня, но ты должна понять, хотя бы на мгновение, а потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этим расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь, — темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяло мягкость, которой обросла так щедро твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел. Поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждал осоловельный взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь, между тем, как приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату некстати. «Марфиньке всякие фрукты полезны», — с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую, сладкую, проклятую складочку, — и если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, — и еще для того, чтобы ты знала,

чтобы ты знала... Что? Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь меня, — как сумасшедший принимает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за вислотады гиен, — но еще есть безумцы, — те неуязвимы! — которые принимают самих себя за безумцев, — и тут замыкается круг. Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, — о, если бы ты могла вырваться на миг, — потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не требуется, но на миг вырвись, и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами, и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами, то есть вернее я-то сам знаю почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд. Но все-таки я опять попытаюсь: «меня убивают!» — так, все разом, еще: «меня убивают!» — еще раз: «...убивают!» — я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши, — свои тонкокожие, обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос, — но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие, мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфинька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется: приди одна, приди одна! Так называемая жизнь кончена, передо мною только скользкая плаха, меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой — видишь — как пьяный, — но, ничего, у меня хватит, Марфинька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла, и не думай, что это письмо — подлог, это я пишу, Цинциннат, это плачу я, Цинциннат, который собственно ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал:

— Вот это письмо. Вот это письмо я вас попрошу... Тут адрес...

— Вы бы лучше научились, как другие, вязать, — проворчал Родион, — и связали бы мне фаршик. Писатель! Ведь только что видались, — с женкой-то.

— Попробую все-таки спросить, — сказал Цинциннат. — Есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?

Родион побагровел, но смолчал.

— А мужик еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и вчера, — липко шлепая сафьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бильбоке...

— Симпатичному Родиону мое нижайшее, — то-неньким голосом произнес м-сье Пьер и, не меняя шага, дрыгая, шлепая, вошел в камеру.

— Я вижу, — сказал он, садясь, — что симпатяга понес от вас письмо. Верно то, которое вчера лежало тут на столе? К супруге? Нет, нет — простая дедукция, я не читаю чужих писем, хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якоре резались. Хотите нынче в шахматы?

Он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой со взведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные — по старому арестантскому рецепту — из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать.

— Сам я холост, но я понимаю, конечно... Вперед. Я это быстро... Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед. Вашу супругу я мельком видал, — ядреная бабенка, что и говорить, — шея больно хороша, люблю... Э, стойте. Это я маху дал, разрешите переиграть. Так-то будет правильнее. Я большой любитель женщин, а уж меня как они любят, подлые, прямо не поверите. Вот вы писали вашей супруге о ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имел — Почему же я не могу съесть? Ах, вот что. Прытко, прытко. Ну, ладно, — ушел. Недавно я имел половое общение с исключительно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь удовольствие, когда крупная брюнетка...

Это что же? Вот тебе раз. Вы должны предупреждать, так не годится. Давайте, сыграю иначе. Так-с. Да, роскошная, страстная — а я, знаете, сам с усами, обладаю такой пружинкой, что — ух! Вообще говоря, из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно, собираюсь постепенно представить вашему вниманию, соблазн любви — Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду. Как — мат? Почему — мат? Сюда — не могу, сюда — не могу, сюда... Тоже не могу. Позвольте, как же раньше стояло? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело. Зовок. Пошел так. Да, — красная роза в зубах, черные ажурные чулки по сии места и больше ни-че-го, — это я понимаю, это высшее... а теперь вместо восторгов любви — сырой камень, ржавое железо, а впереди... сами знаете, что впереди. Не заметил. А если так? Так лучше. Партия все равно — моя, вы делаете ошибку за ошибкой. Пускай она изменяла вам, но ведь и вы держали ее в своих объятиях. Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности. Ничего нет приятнее, например, чем окружиться зеркалами и смотреть, как там кипит работа, — замечательно! А вот это вовсе не замечательно. Я честное слово думал, что пошел не сюда, а сюда. Так что вы не могли... Назад, пожалуйста. Я люблю при этом курить сигару и говорить о незначительных вещах, и чтобы она тоже говорила, — ничего не поделаешь, известная развратность... Да, — тяжело, страшно и обидно сказать всему этому «прости» — и думать, что другие такие же молодые и сочные, будут продолжать работать, работать... эх! не знаю, как вы, но я в смысле ласок обожаю то, что у нас, у борцов, зовется макароны — шлеп ее по шее, и чем плотнее мяса... Во-первых, могу съесть, во-вторых, могу просто уйти; ну, так. Постойте, постойте, я все-таки еще подумаю. Какой был последний ход? Поставьте обратно и дайте подумать. Вздор, никакого мата нет. Вы, по-моему, тут что-то, извините, смошенничали, вот это стояло тут или

тут, а не тут, я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте...

Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном, смешал остальные. Цинциннат сидел, облокотясь на одну руку; задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел.

— В другую игру, в другую игру, в шахматы вы не умеете, — суетливо закричал м-сье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся.

Бросил кости — и сразу поднялся с трех на двадцать семь, — но потом пришлось спуститься опять, — зато с двадцати двух на сорок шесть взвился Цинциннат. Игра тянулась долго. М-сье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу.

— Почему от вас так пахнет? — спросил Цинциннат со вздохом.

Толстенькое лицо м-сье Пьера исказилось принужденной улыбкой.

— Это у нас в семье, — пояснил он с достоинством, — ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничто не берет. Должен сказать, что, хотя страдаю этим с детства, и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно...

— Я дышать не могу, — сказал Цинциннат.

#### XIV

Они были еще ближе — и теперь так торопились, что грешно было их отвлекать выстукиванием вопросов. И продолжались они позже, чем вчера, и Цинциннат лежал на плитах крестом, ничком, как сраженный солнечным ударом, и, потворствуя ряжению чувств, ясно, через слух видел потайной ход, удлиняющийся с каждым скребом, и ощущал, словно ему облегчали темную, тесную боль в груди, как расшатываются

камни, и уже гадал, глядя на стену, где-то она даст трещину и с грохотом разверзнется.

Еще потрескивало и шуршало, когда пришел Родион. За ним, в балетных туфлях на босу ногу и шерстяном платице в шотландскую клетку, шмыгнула Эммочка и, как уже раз было, спряталась под стол, скрючившись там на корточках, так что ее льняные волосы, выющиеся на концах, покрывали ей и лицо, и колени, и даже лодыжки. Лишь только Родион удалился, она вспрыгнула — да прямо к Цинциннату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нем карабкаться. Холодные пальцы ее горячих голых рук впивались в него, она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зеленого листа.

— Садись смирно, — сказал Цинциннат, — я устал, всю ночь сомей не очкнул, — садись смирно и Расскажи мне.

Эммочка, возясь, уткнулась лбом ему в грудь; из-под ее рассыпавшихся и в сторону свесившихся буклей обнажилась в заднем вырезе платья верхняя часть спины, со впадиной, менявшейся от движений лопаток и вся ровно поросшая белесоватым пушком, казавшимся симметрично расчесанным.

Цинциннат погладил ее по теплой голове, стараясь ее приподнять. Схватила его за пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам.

— Вот ластушка, — сонно сказал Цинциннат, — ну, будет, будет. Расскажи мне...

Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребенок валял Цинцинната, как щенка.

— Перестань! — крикнул Цинциннат. — Как тебе не стыдно!

— Завтра, — вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу.

— Завтра умру? — спросил Цинциннат.

— Нет, спасу, — задумчиво проговорила Эммочка (она сидела на нем верхом).

— Вот это славно, — сказал Цинциннат, — спасители отовсюду! Давно бы так, а то с ума сойду. Пожалуйста слезь, мне тяжело, жарко.

— Мы убежим, и вы на мне женитесь.

— Может быть, — когда подрастешь; но только жена у меня уже есть.

— Толстая, старая, — сказала Эммочка.

Она соскочила с постели и побежала вокруг камеры, как бегают танцовщицы, крупной рысью, тряся волосами, и потом прыгнула, будто летя, и наконец закружилась на месте, раскинув множество рук.

— Скоро опять школа, — сказала она, мгновенно сев к Цинциннату на колени, — и, тотчас все забыв на свете, погрузилась в новое занятие: принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени, корка уже наполовину была снята, и нежно розовел шрам.

Цинциннат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света, профиль, и дремота долила его.

— Ах, Эммочка, помни, помни, помни, что ты обещала. Завтра! Скажи мне, как ты устроишь?

— Дайте ухо, — сказала Эммочка.

Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно и совершенно невнятно загудела ему в ухо.

— Ничего не слышу, — сказал Цинциннат. Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла.

— Бу... бу... бу... — гулко бормотала она, — и вот отскочила, взвилась, — и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапедии, сложив и вытянув клином носки.

— Я все же очень на это рассчитываю, — сквозь растущую дрему проговорил Цинциннат; медленно приник мокрым гудящим ухом к подушке.

Засыпая, он чувствовал, как она перелезала через него, — и потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы, и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять, — и на минуту он очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион.

Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной... как рискованно! Ведь середина дня... но они не могли сдержаться, и тихонько проталкивались к нему все ближе, все ближе, — и он, испугавшись, что сторожа услышат, начал ходить, топать, кашлять, напевать, — и когда, с сильно бьющимся сердцем, сел за стол, звуков уже не было.

А к вечеру, — как теперь завелось, — явился м-сье Пьер, в парчовой тюбетейке; непринужденно, по-домашнему, прилег на Цинциннатову койку и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием пэри, оперся на локоток. Цинциннат сидел у стола, дожевывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока.

— Я их сегодня припудрил, — бойко сказал м-сье Пьер, — так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях.

— Наслаждение любовное, — сказал м-сье Пьер, — достигается путем одного из самых красивых и полезных физических упражнений, какие вообще известны. Я сказал — достигается, но может быть слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В часы досуга работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным выражением глаз, веселостью нрава и свежим цветом лица. Обратите также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление, или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином любовного или эротического наслаждения.

Тут, на Цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сед на табурет, который сам принес.

М-сье Пьер обратил на него взор, блестящий доброжелательством.

— Продолжайте; продолжайте, — зашептал Родриг Иванович, — я пришел послушать. Pardon, одну ми-

нуточку, — только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Voilà. Умаялся все-таки, — а вы?

— Это у вас с непривычки, — сказал м-сье Пьер. — Так разрешите продолжать. Мы тут беседовали, Родриг Иванович, о наслаждениях жизни и разобрали в общих чертах эрос.

— Понимаю, — сказал директор.

— Я следующие отметил пункты... вы извините, коллега, что повторяю, но мне хочется, чтобы Родригу Ивановичу тоже было интересно. Я отметил, Родриг Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело.

— И лирику лунных ночей, — добавил от себя Родриг Иванович, строго взглянув на Цинциннату.

— Нет, вы уж не мешайте мне развивать тему, захотите, — после скажете. Итак, я продолжаю. Кроме наслаждений любовных, имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день; когда наливаются почки, и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветки кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча: «ах не надо, не рви нас, наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышит грудь в такой день, когда поют пташки, и на первых деревьях появляются первые скромные листочки. Все радуется, и все ликует.

— Мастерское описание апреля, — сказал директор, тряхнув щеками.

— Я думаю, что каждый испытал это, — продолжал м-сье Пьер, — и теперь, когда не сегодня завтра мы все взойдем на плаху, незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть: «о, вернись, вернись; дай мне еще раз пережить тебя». — «Пережить тебя», — повторил м-сье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке.

— Далее, — сказал м-сье Пьер, — переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, — увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать: наслаждение искусством, — оно занимает в жизни не малое место.

— Еще бы, — сказал в нос Родриг Иванович и посмотрел на Цинцинната.

— Гастрономические наслаждения, — продолжал м-сье Пьер. — Смотрите: вот — лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей; вот — мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут; вот — на красивой тарелке солидный кусок белого сала; вот — столовое вино, вишневка; вот — рыбка, — не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща.

— Одобряю, — пробасил Родриг Иванович.

— Этот чудный пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть: праздничную музыку; любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки; дружеские беседы; блаженство отправления естественных надобностей, которое некоторые ставят наравне с блаженством любви; сон после обеда; курение... Что еще? Любимые вещицы, — да, это уже было (опять появилась шпаргалка). Блаженство... и это было. Ну, всякие еще мелочи...

— Можно кое-что добавить? — подобострастно спросил директор, но м-сье Пьер покачал головой:

— Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств...

— Я только хотел насчет съедобного, — заметил вполголоса директор. — Тут, по-моему, можно некоторые подробности. Например, *en fait de potage*<sup>1</sup>... Молчу, молчу, — испуганно докончил он, встретив взгляд м-сье Пьера.

---

<sup>1</sup> Насчет супа (*франц.*).

— Ну, что ж, — обратился м-сье Пьер к Цинциннату, — что вы на это скажете?

— В самом деле, что мне сказать? — проговорил Цинциннат. — Сонный, навязчивый вздор.

— Неисправим! — воскликнул Родриг Иванович.

— Это он так нарочно, — сказал с грозной, фарфоровой улыбкой м-сье Пьер. — Поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мною явлений.

— ...Но кое-что не понимает, — гладко въехал Родриг Иванович, — он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например, на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, — да, раскаялся бы, — вот моя мысль, — тогда была бы для него некоторая отдаленная — не хочу сказать надежда, но во всяком случае...

— Пропустил насчет гимнастики, — зашептал м-сье Пьер, просматривая свою бумажку, — экая досада!

— Нет, нет, прекрасно сказали, прекрасно, — вздохнул Родриг Иванович, — лучше нельзя было. Во мне встрепенулись желания, которые дремали десятки лет. Вы что — еще посидите? Или со мной?

— С вами. Он сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало, — одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго.

Вскоре после их ухода потух свет, и Цинциннат в темноте перебрался на койку (неприятно, чужой пепел, но больше некуда лечь) и, по всем хрящикам и позвонкам выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся; вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть: просто каменщики. Чинят. Обман слуха: может быть все это происходит далеко, далеко (выдохнул). Он лежал на спине, шевеля торчавшими из-под одеяла пальцами ног и поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни. Свет вспыхнул опять.

Почесывая рыжую грудь под рубашкой, явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он недолго думая сел на него, тяжело крикнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и по-видимому собрался всхрапнуть.

— Еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион немедленно встал и вышел с табуретом.

Мрик — мрак.

Оттого ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок: две недели, — оттого ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе, — но в эту ночь Цинциннат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно (осторожно, Цинциннат!) сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся, звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей... впервые, впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед-арестантчик, с наливным личиком, лоснящимся, как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять; появлялся адвокат, подвижной, поджарый, высвобождающий из рукавов фрака манжеты; появлялся мрачный библиотекарь, и в черном, гладком парике дебелый Родриг Иванович, и Эммочка, и вся Марфинькина семья, и Родион, и другие, смутные сторожа и солдаты, — и, вызывая их, — пускай не веря в них, но все-таки вызывая, — Цинциннат давал им право на жизнь, содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая, как разымчивое ожидание музыки, — так что Цинциннат находился в странном, трепетном, опасном состоянии, — и с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы, — и вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, смыкались в круг освещенные фигуры — и, слегка напирая

вбок, и кренясь, и тащась, начинали — сперва тугое, влачащееся — круговое движение, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, пошло, — и чудовищные тени от плеч и голов пробежали, повторяясь, все шибче по каменным сводам, и тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смешав остальных, более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен.

## XV

Утро прошло тихо, но зато около пяти пополудни начался сокрушительнейший треск: тот, кто работал, рьяно торопился, бесстыдно гремел; впрочем, ненадолго приблизился со вчерашнего дня.

Внезапно произошло нечто особенное: рухнула будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки проявились с такой выпуклостью и силой (мгновенно перейдя из одного плана в другой — прямо к рампе), что стало ясно: они вот тут, сразу за тающей, как лед, стеной, и вот сейчас, сейчас прорвутся.

И тогда узник решил, что пора действовать. Страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли; нашел носовой платок, два носовых платка, три носовых платка (беглое преображение их в те простыни, которые связываются вместе); на всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов (не засовывалась, кончик висел); ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего; не сделал этого, а кинулся к столу, с намерением захватить написанное; но и тут на полпути переменял направление, ибо от победоносной, бешеной стукотни мешались мысли... Он стоял, вытянувшись, как стрела, руки держа по швам, когда, в совершенстве воплощая его мечту,

желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась.

Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез, с киркой в руке, весь осыпанный белым, весь извивающийся и шлепающийся, как толстая рыба в пыли, весь зыблющийся от смеха, м-сье Пьер, и, сразу за ним, — но раком, — толстозадый, с прорехой, из которой торчал клочок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помирающий со смеху, Родриг Иванович, и, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись, со всеми переходами от хо-хо-хо до кхи-кхи-кхи и обратно, с жалобными писками в интервалах взрывов, — толкая друг друга, друг на друга валясь...

— Мы, мы, это мы, — выдавил наконец м-сье Пьер, повернув к Цинциннату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал.

— Это мы, — проговорил неожиданным для него фальцетом Родриг Иванович и густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика.

— Уф! — произнес м-сье Пьер, вдруг успокоившись; встал с пола и, обивая ладонь о ладонь, оглянулся на дыру: — Ну и поработали же мы, Родриг Иванович! Вставайте, голубчик, довольно. Какая работа! Что же, теперь можно и воспользоваться этим превосходным тоннелем... Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю.

— Если вы только меня коснетесь... — прошелестел Цинциннат, — и, так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный м-сье Пьер, а с другой, — тоже раскрыв объятия, голоплечий, в свободно висящей манишке, — Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него, то Цинциннат избрал единственное возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. М-сье Пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие.

— Присоединяйтесь, — обратился он к Родригу Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета.

Сплющенный и зажмуренный, полз на карачках Цинциннат, сзади полз м-сье Пьер, и, отовсюду тесня, давила на хребет, колола в ладони, в колени, крошечная тьма, полная осыпчивого треска, и несколько раз Цинциннат утыкался в тупик, и тогда м-сье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что, не будь сзади сопящего, бодучего спутника, — он бы тут же лег и умер. Но вот, после длительного продвижения в узкой, угольно-черной тьме (в одном месте, сбоку, красный фонарик тускло обдал лоском черноту), после тесноты, слепоты, духоты, — вдали показался округлявшийся бледный свет: там был поворот и наконец — выход; неловко и кратко Цинциннат выпал на каменный пол, — в пронзенную солнцем камеру м-сье Пьера.

— Милости просим, — сказал хозяин, вылезая за ним; тотчас достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего Цинцинната, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно. При этом он, сгибаясь, будто опутывая его чем, ходил кругом Цинцинната, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженный, вернее, не самой мыслью, — а тем, что она не явилась ему раньше.

— А я, разрешите, сделаю так, — произнес м-сье Пьер и стянул с себя пыльную фуфайку; на мгновение, как бы невзначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему злобование. Вокруг левого соска была находчивая татуировка — два зеленых листика, — так что самый сосок казался бутонем розы (из марципана и цуката). — Присаживайтесь, прошу, — сказал он, надевая халат в ярких разводах, — чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только

держу его в чистоте и украшаю... украшаю, чем могу (он слегка задохнулся, вроде как от волнения).

Украшаю. Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеало, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра, и висела кабинетная фотография м-сье Пьера; из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов, и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержавший, казалось, музыкальный инструмент.

— Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя, — говорил м-сье Пьер, прогуливаясь взад и вперед и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. — Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри? Вот дайте (он перевел дух), дайте договорить, и тогда покажу вам...

— Наша дружба, — продолжал, разгуливая и слегка задыхаясь, м-сье Пьер, — наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете, — и уж конечно интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям... Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять Родрига Ивановича оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие, а ведь он уже далеко не молод и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу... Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок

не ускользает от меня, и потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение... Для меня вы прозрачны, как — извините изысканность сравнения — как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. Не знаю, у меня что-то с дыханием, простите, сейчас пройдет. Но, если я вас так близко изучил и — что таить — полюбил, крепко полюбил, — то и вы, стало быть, узнали меня, привыкли ко мне, — более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы, вот в чем заключалась первая моя задача, и по-видимому я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут.

Он сел, хватаясь за грудь, к столу против Цинцинната, но сразу вскочил опять; вынул из-под подушки кожаный кошелек, из кошелька — замшевый чехольчик, из чехольчика — ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу.

— Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью, — сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. — ...Но видите ли, аккуратность украшает жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому себе...

В раскрывшемся футляре, на черном бархате, лежал широкий, светлый топор.

— ...самому себе доказывает, что у него есть гнездышко... Гнездышко, — продолжал м-сье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь, — гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом... Тут вообще большая философская тема, но по некоторым признакам мне кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет: чайку мы с вами попьем после, — а сейчас пойдите к себе и прилягте, идите. Мы оба молоды, вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят, а теперь идите. Я тоже возбужден, я тоже не владею собой, вы должны это понять...

Цинциннат тихо теребил запертую дверь.

— Нет, нет, вы — по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дыру занавешиваю, а то некрасиво. Пожалуйста...

— Сам, — сказал Цинциннат.

Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже в тесную темноту. М-сье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому завел сторку, — ибо Цинциннат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был.

С трудом дыша шероховатым воздухом, натываясь на острое — и без особого страха ожидая обвала, — Цинциннат вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки, и, как смиренное отступающее животное, подавался назад, и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое, хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи, он начал торопиться, поскольку ему это позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, — и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, быть может, уснуть, — как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз, под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель, и пахло сыростью, плесенью, точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру, и с низкого свода над ним, каждая на коготке, головкой вниз, закутавшись, висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши в ожидании своего выступления, — щель пламенисто раздвинулась, и повеяло свежим дыханием вечера, и Цинциннат вылез из трещины в скале на волю.

Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли

что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашенный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он, как капля, выжался, а под ногами — бредовые обрывы и клевером курящийся туман.

Отдышавшись, справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахающей, ухающей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осели, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста. А там, по другую сторону, дымчатый, синий город, с окнами, как раскаленные угольки, не то еще занимал блеск у заката, не то уже засветился за свой счет, — можно было различить, как, постепенно нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль Крутой, — и была необычайно отчетлива тонкая арка в верхнем ее конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, — но над невидимыми садами, в розовой глубине неба, стояли цепью прозрачно-огненные облачка, и тянулась одна длинная лиловая туча с горящими прорезами по нижнему краю, — и пока Цинциннат глядел, там, там, вдали, венецианской ярью вспыхнул поросший дубом холм и медленно затмился.

Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник, выскочила Эммо́чка, с лицом и ногами, розовыми от заката и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой. Во всех ее движениях сказывалось волнение, восторженная поспешность.

— Куда мы? Вниз? — прерывисто спрашивал Цинциннат, смеясь от нетерпения.

Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, — незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь; за ней был темноватый проход, где

стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка, и пахло керосином; тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру, ибо, — уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эмочка ввела его в столовую, где, за освещенным овальным столом, все сидели и пили чай. У Родрига Ивановича салфетка широко покрывала грудь; его жена — тощая, веснушчатая, с белыми ресницами — передавала бублики м-сье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками; около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти, и блестели стеклянистые спицы. Востроносая старушка в наkolке и черной мантилке хохлилась в конце стола.

Увидев Цинцинната, директор разинул рот, и что-то с угла потекло.

— Фу! озорница! — с легким немецким акцентом проговорила директорша.

М-сье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза.

— В самом деле, что за шалости? — сквозь дынный сок произнес Родриг Иванович. — Не говоря о том, что это против всяких правил!

— Оставьте, — сказал м-сье Пьер, не поднимая глаз. — Ведь они оба дети.

— Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить, — быстро проговорила директорша.

Эмочка, нарочито стуча стулом, егозя и облизываясь, села за стол и, навсегда забыв Цинцинната, принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим, лохматый ломоть дыни, в который затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей, и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол.

— Ай! — щекотливо дернулась Эмочка, не отрываясь впрочем от дыни.

— Садитесь-ка покамест там, — сказал директор, фруктовым ножом указывая Цинциннату зеленое,

с антимакассаром, кресло, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьеры. — Когда мы кончим, я вас отведу восвояси. Да садитесь, говорят вам. Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый!

М-сье Пьер наклонился к Родригу Ивановичу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил.

У того так и громыхнуло в гортани:

— Ну, поздравляю вас, поздравляю, — сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. — Радостно!.. Давно пора было... Мы все... — он взглянул на Цинциннату и уже собрался торжественно.

— Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня, — прошептал м-сье Пьер, тронув его за рукав.

— Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чаю, — игриво произнес Родриг Иванович, а потом, подумав и почавкав, обратился к Цинциннату.

— Эй, вы, там. Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом. Это к ее (жест ножом) возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей... сделал ей... Виноват, Петр Петрович, я забыл, как вы это называли?

— Фотогороскоп, — скромно ответил м-сье Пьер.

— Лимончик оставить? — спросила директорша.

Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой (где только вспыхивал, откалывая крупные секунды, блик маятника), проливала на уютную сервировку стола семейственный свет, переходивший в звон чайного чина.

## XVI

Спокойствие. Паук высосал маленькую, в белом пушку, бабочку и трех комнатных мух, — но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие, ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра.

Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да погуще, — и делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену.

Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый, с массивной темно-серебряной монограммой, альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии: альбом особенный, а именно — фотогороскоп, составленный изобретательным м-сье Пьером, то есть серия фотографий, с естественной постепенностью представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих — ради туалетов, обстановки, ландшафтов, — так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца каменно-плотного, с золотым обрезом, картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала, какой она была сегодня, затем — по окончании школы, то есть спустя три года, скромницей, с чемоданчиком балерины в руке, затем — шестнадцати лет, в пачках, с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе, с поднятым бокалом, среди бледных гуляк, затем — лет восемнадцати, в фатальном трауре, у перил над каскадом, затем... ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней — лежащей.

При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки (искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери), но стоило взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной аляповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие; а на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией м-сье Пьера. В тридцать лет у нее появ-

лялись условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения, — но знатоку говорящие совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в сорок лет Эммочка умирала, — и тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой: лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти!

Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала:

(Со вздохом) «У-е-хали!.. (К пауку) Будет с тебя... (Показывает ладони). Нет у меня ничего. (Снова к Цинциннату). Скучно, ой скучно будет нам без дочки, ведь как летала, да песни играла, баловница наша, золотой наш цветок. (После паузы другим тоном). Чтой-то вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с закавыкой не задаете? А?».

«То-то», — сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился.

А после обеда, совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами (чем-то делавших его похожим на оперного лесника) вошел м-сье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, — Родриг Иванович и, с портфелем, адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах (из приемной), Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел.

Не очень ловко (неловкость, однако, испытанная, привычная) завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колене, частью опирая его о стол — и съезжая то с одной точки, то с другой, — адвокат извлек большой блокнот, запер или, вернее, застегнул слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель; положил его было на

стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла; быстро вынул — точно из петлицы — эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы; но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались.

Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись, — нажимом плотной спины заставляя трещать кресло, и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука; время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат-лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды.

М-сье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами (игра фальшивого аквамарина на мизинце) и, опустив длинные ресницы, секунд десять благоговейно обдумывал, как начнет свою речь.

— Милостивые государи, — не поднимая глаз, тонким голосом сказал м-сье Пьер, — прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-трем удачными штрихами то, что мною уже выполнено.

— Просим, — пробасил директор, сурово скрипнув креслом.

— Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традицией нашего искусства. В самом деле. Каково было бы, если бы я, с бухты-барахты открывшись, предложил Цинциннату Ц. свою дружбу? Ведь это значило бы, господа; заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, — совершить, словом, роковую ошибку.

Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его.

— Не стану говорить о том, — продолжал он, взмахнув ресницами, — как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно, с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно, или даже невозможно, без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось, точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похожее скорее на заклание, — когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу.

(Цинциннат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять).

— И вот, господа, для того, чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удался, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения; но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас (он протянул Цинциннату руку) прошу прощения.

— Да, это — настоящий такт, — вполголоса произнес директор, и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились; он достал сложенный платок, поднес было к бющемуся веку, но раздумал, и вместо того сердито и выжидательно уставился на Цинцинната. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги и вот готовой опять побежать по ней дальше.

— Руку! — побагровев, с надсадом крикнул директор и так треснул по столу, что ушибся.

— Нет, не заставляйте его, если не хочет, — сказал спокойно м-сье Пьер. — Это ведь только проформа. Будем продолжать.

— Кроткий! — пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лобзание, взгляд на м-сье Пьера.

— Будем продолжать, — сказал м-сье Пьер. — За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили...

Цинциннат посмотрел под стол. М-сье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцинната. Адвокат в свою очередь нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинциннат выпрямился. (Ничего особенного — уронил серебряный комочек.)

— Мы проводили, — продолжал м-сье Пьер обиженным голосом, — долгие вечера вместе в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались в силе; я, слабенький, бедненький м-сье Пьер, разумеется, о, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем — об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали, как минуты, минуты, как часы. Иногда, в тихом молчании...

Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул:

— Imprayable<sup>1</sup>, се разумеется, — прошептал он, несколько запоздало оценив шутку.

— ...Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцинната так же известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой, страшный дядя, а ласковый друг

---

<sup>1</sup> Пресуморительный (*франц.*).

поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне, — навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики! (Он встал; встал и директор; адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся.) Так. Я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня.

Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Цинциннату;

— Вот... Это — м-сье Пьер... Bref!... Руководитель казнью... Благодарю за честь, — добавил он, что-то спутав — и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло.

— Ну, это вы не очень, — проговорил недовольно м-сье Пьер. — Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать. Я вовсе не педант, но в такую важную минуту... Нечего прижимать руку к груди, сплеховали, батенька. Нет, нет, сидите, довольно. Теперь перейдем... Роман Виссарионович, где программка?

— А я вам ее дал, — бойко сказал адвокат, — но впрочем... — и он полез в портфель.

— Нашел, не беспокойтесь, — сказал м-сье Пьер, — итак... Представление назначено на послезавтра... на Интересной площади. Не могли лучше выбрать... Удивительно! (Продолжает читать, бормоча себе под нос.) Совершеннолетние допускаются... Талоны циркового абонемена действительны... Так, так, так... Руководитель казнью — в красных лосинах... ну, это, положим, дудки, переборщили, как всегда... (К Цинциннату.) Значит — послезавтра. Вы поняли? А завтра, — как велит прекрасный обычай, — мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города, — у вас, кажется, списочек, Родриг Иванович.

Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ватой обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец листок отыскался.

---

<sup>1</sup> Короча (*франц.*).

— Хорошо-с, — сказал м-сье Пьер, — приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все. Теперь по закону предоставляется слово...

— Ах нет, *c'est vraiment superflu...*<sup>1</sup> — поспешно перебил Родриг Иванович. — Это ведь очень устарелый закон.

— По закону, — твердо повторил м-сье Пьер, обращаясь к Цинциннату, — предоставляется слово вам.

— Честный! — надорванно произнес директор, трясая щеками.

Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша.

— Я подожду одну полную минуту, — сказал м-сье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики.

Адвокат порывисто вздохнул; начал складывать густо исписанные листки.

Минута прошла.

— Заседание окончено, — сказал м-сье Пьер, — идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, просмотреть протокол, прежде чем гектографировать. Нет — погода, у меня сейчас глаза устали.

— Признаться, — сказал директор, — я иногда невольно жалею, что вышла из употребления сис... Он в дверях нагнулся к уху м-сье Пьера.

— О чем вы, Родриг Иванович? — ревниво заинтересовался адвокат. Директор и ему шепнул.

— Да, действительно, — согласился адвокат, — впрочем закончик можно обойти. Скажем, если растянуть на несколько разиков...

— Но, но, — сказал м-сье Пьер, — полегче, шуты. Я зарубок не делаю.

— Нет, мы просто так, теоретически, — искательно улыбнулся директор, — а то раньше, когда можно было применять...

Дверь захлопнулась, голоса удалились.

---

<sup>1</sup> Это, право, излишне... (*франц.*).

Но почти тотчас явился к Цинциннату еще один гость, библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное, бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плечи, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах, — все это вместе производило странное, болезненное впечатление, точно его прищемили и выплющили. Цинциннату, однако, сдавалось, что, вместе с пылью книг, на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого.

— Вы, верно, слышали, — сказал Цинциннат, — послезавтра — мое истребление. Больше не буду брать книг.

— Больше не будете, — подтвердил библиотекарь.

Цинциннат продолжал:

— Мне хочется выполоть несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности... Какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало... Книг больше не буду...

— Что-нибудь мифологическое? — предложил библиотекарь.

— Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения.

— Некоторые берут, — сказал библиотекарь.

— Да, я знаю, но право — не стоит.

— На последнюю ночь, — с трудом dokonчил свою мысль библиотекарь.

— Вы сегодня страшно разговорчивы, — усмехнулся Цинциннат. — Нет, унесите все это. Quercus'a я одолеть не мог! Да, кстати: тут мне ошибкой... эти томики... по-арабски, что ли... я, увы, не успел изучить восточные языки.

— Досадно, — сказал библиотекарь.

— Ничего, душа наверху. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так — переплетены в человечью кожу, все же... довольствуюсь малым... Послезавтра...

Но, дрожа, библиотекарь ушел.

## XVII

Обычай требовал, чтобы накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам, — но для ускорения ритуала было решено, что оные лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом (сам управляющий, его племянник, был в отъезде, — гостил у друзей в Притомске), и что к ужину, запросто, придут туда Цинциннат и м-сье Пьер.

Была темная ночь, с сильным теплым ветром, когда они, оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении шести солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, минуя главные улицы, кремнистыми тропами между шумящих садов стали подниматься в гору.

(Еще на мосту Цинциннат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща: синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей.

— Вы обещали... — прошептал м-сье Пьер, слегка сжав ему локоть, — и Цинциннат снова надвинул куколь.)

Эта ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильна печальными, беспечными, поющими, шепчущими впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления? — получилась на самом деле смутной, незначительной и мелькнула так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности, в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи.

В конце узкой и мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в кадках, и, едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы, слуги, роняя перья на черно-белые плиты, — Цинциннат

и м-сье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все.

Тут выделялся характерной шевелюрой заведующий городскими фонтанами; тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа телеграфистов; тут находился румяный, с похабным носом, начальник снабжения; и с итальянской фамилией укротитель львов; и судья, глухой старец; и, в зеленых лакированных туфлях, управляющий садами; — и множество еще других осанистых, именитых, седовласых особ с отгаливающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать попечительницы учебного округа, очень полной, в сером спортуке мужского покроя, пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической.

Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете. Люстра выронила одну из своих свечей. На небольшой, для осмотра выставленный, гроб кем-то уже был положен букет. Стоя с Цинциннатом в сторонке, м-сье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления.

Но вот хозяин, смуглый старик с эспаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. М-сье Пьер и Цинциннат были посажены рядом во главе ослепительного стола, — и, сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково, в гамлетовки, одетую чету; затем, по мере того, как на губах м-сье Пьера разгоралась улыбка и он начинал говорить, взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и на Цинцинната, который неторопливо, усердно и сосредоточенно, — как будто ища разрешения задачи, — балансировал рыбный нож разными способами, то на солонке, то на сгибе вилки, то приклонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других украшавшей его прибор.

Слуги, наберованные среди самых ловких франтов города, — лучшие представители его малиновой молодежи, — резво разносили кушанья (иногда даже пере-

пархивая с блюдом через стол), и общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, — после чего, с прежним игривым блеском на розовом, безволосом лице, продолжал на весь стол остроумнейший разговор — и вдруг, на полуслове, чуть-чуть засутулясь, хватая соусник или перочницу, вопросительно взглядывал на Цинцинната, который, впрочем, не притрагивался ни к какой еде, а все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик.

— Ваше замечание, — весело сказал м-сье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, вlepившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику, — ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне.

— Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите, — потянулись со всех сторон к нему голоса.

— Извольте, — сказал м-сье Пьер. — Приходит к гинекологу...

— Извините за перебивку, — сказал укротитель львов (седой усач с пуцовой орденой лентой), — но утвержден ли господиш, что та анекдота вцельно для ушей... — он выразительно показал глазами на Цинцинната.

— Полноте, полноте, — строго отвечал м-сье Пьер, — я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрёзности в присутствии... Значит, приходит к гинекологу старенькая дама (м-сье Пьер слегка выпятил нижнюю губу). У меня, говорит, довольно серьезная болезнь и боюсь, что от нее помру. Симптомы? — спрашивает тот. — Голова, доктор, трясется... — и м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Гости грохнули. В другом конце стола глухой судья, страдальчески кривясь, как от запора смеха, лез большим сёрым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал м-сье Пьер, который, между тем, через всю длину

стола, ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то наконец удовлетворил любопытство несчастного.

— Ваш удивительный афоризм, что жизнь есть врачебная тайна, — заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюной, что около рта у него играла радуга, — может быть отлично применен к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе...

— Ну что, Цинциннатик, боязно? — участливым полусшепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино Цинциннату; он поднял глаза; это был его шурин-остряк: — боязно, поди? Вот хлебни винца до венца...

— Это что такое? — холодно осадил болтуна м-сье Пьер, и тот, горбясь, проворно отступил — и вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя.

— Господа! — воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым, ледянистым напитком. — Предлагаю тост за...

— Горько! — крикнул кто-то, и другие подхватили.

— ...На брудершафт, закликаю... — изменившимся голосом, тихо, с лицом, искаженным мольбой, обратился м-сье Пьер к Цинциннату, — не откажите мне в этом, закликаю, это всегда, всегда так делается...

Цинциннат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы.

— ...Я, наконец, вправе требовать, — судорожно прошептал м-сье Пьер — и вдруг, с отрывистым, принужденным смехом, вылил из своего бокала каплю вина Цинциннату на темя, а затем окропил и себя.

— Bravo, bravo! — раздавались кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление, восхищение, и звякали, чокаясь, небьющиеся бокалы, и яблоки с детскую голову ярко громоздились среди пыльно-синих гроздей винограда

на крутогрудом серебряном корабле, и стол поднимался, как пологая алмазная гора, и в туманах плафонной живописи путешествовала многорукая люстра, плача, лучась, не находя пристанища.

— Я тронут, тронут, — говорил м-сье Пьер, и к нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при этом оступались, кое-кто пел. Отец городских пожарных был неприлично пьян; двое слуг под шумок пытались утащить его, но он пожертвовал фалдами, как ящерица хвостом, и остался. Почтенная попечительница, багровея пятнами, безмолвно и напряженно откидываясь, защищалась от начальника снабжения, который игриво нацеливался в нее пальцем, похожим на морковь, как бы собираясь ее проткнуть или пощекотать, и приговаривал: «Ти-ти-ти-ти!»

— Перейдем, господа, на террасу, — провозгласил хозяин, и тогда Марфинькин брат и сын покойного доктора Синеокова раздвинули, с треском деревянных колец, занавес: открылась, в покачивающемся свете расписных фопарей, каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи.

Сытые, урчащие гости расположились в низких креслах. Некоторые околачивались около колонн, другие у балюстрады. Тут же стоял Цинциннат, вертя в пальцах мумию сигары, и рядом с ним, к нему не поворачиваясь, но беспрестанно его касаясь то спиной, то боком, м-сье Пьер говорил при одобрительных возгласах слушателей:

— Фотография и рыбная ловля — вот главные мои увлечения. Как это вам ни покажется странным, но для меня слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной. Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь (мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки), но клянусь вам, что это так, а зря не клянусь. Любовь к природе завещал мне отец, который тоже не умел лгать.

Многие из вас, конечно, его помнят и могут подтвердить — даже письменно, если бы потребовалось.

Стоя у балюстрады, Цинциннат смутно всматривался в темноту, — и вот, как по заказу, темнота прельстительно побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна выскользнула из-за каракулевых облачков, покрывая лаком кусты и трелью света загораясь в прудах. Вдруг с резким движением души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариновых Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми; мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфинькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы с забитыми окнами, сквозившей в листве на пригорке... Теперь, хлопотливым взглядом обследуя местность, он без труда освобождал от пленок ночной мглы знакомые лужайки или, напротив, стирал с них лишнюю лунную пыль, дабы сделать их точно такими, какими были они в памяти. Реставрируя замазанную копотью ночи картину, он видел, как по-старому распределяются рощи, тропинки, ручьи... Вдали, упираясь в металлическое небо, застыли на полном раскате заманчивые холмы в синеватом блеске и складках мрака...

— Луна, балкон, она и он, — сказал м-сье Пьер, улыбаясь Цинциннату, который тут заметил, что все смотрят на него с ласковым, выжидательным участием.

— Вы любуетесь ландшафтом? — вкрадчиво, держа руки за спиной, проговорил управляющий садами, — вы... — он осекся, и как бы слегка смутясь, повернулся к м-сье Пьеру: — Простите... вы разрешаете? Я собственно не был представлен...

— Ах, помилуйте, моего разрешения не требуется, — вежливо ответил м-сье Пьер и, прикоснувшись к Цинциннату, тихо сказал: — Этот господин хочет с тобой побеседовать.

— Ландшафт... Любуетесь ландшафтом? — повторил, кашлянув в кулак, управляющий садами. — Но сейчас мало что видно... Вот погодите, ровно в пол-

ночь, — это мне обещал наш главный инженер... Никита Лукич! А, Никита Лукич!

— Я за него, — бодрым баском отозвался Никита Лукич и подался вперед, услужливо, вопросительно и радостно поворачивая то к одному, то к другому, свое молодое, мясистое, с белой щеткой усов, лицо и, удобно положив руки на плечи управляющему садами и м-сье Пьеру, между которыми он, высываясь, стоял.

— Я рассказывал, Никита Лукич, что вы обещали ровно в полночь, в честь...

— А как же, — сочно отрезал главный инженер. — Беспременно сюрприз будет. Это уже будьте покойны. А который-то час, ребята?

Он освободил чужие плечи от напора своих широких рук и озабоченно ушел в комнаты.

— Что же, через каких-нибудь восемь часов будем уже на площади, — сказал м-сье Пьер, вновь придавив крышку своих часиков. Спать придется немного. Тебе, милый, не холодно? Господин сказал, что будет сюрприз. Нас, право, очень балуют. Эта рыбка за ужином была бесподобна.

— Оставьте, бросьте, — раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и ватрушкой седого шиньончика прямо на м-сье Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения.

— Ти-ти-ти, — игриво пищал тот, — ти-ти-ти.

— Полегче, мадам, — крикнул м-сье Пьер, — мозоли у меня не казенные.

— Обворожительная женщина, — без всякого выражения, вскользь, заметил начальник снабжения и, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн, — и тень его смешалась с их тенями, и ветерок качал бумажные фонари, и выделялись из мрака то рука, важно расправляющая ус, то чашечка, поднятая к старческим рыбьим губам, пытающимся со дна достать сахар.

— Внимание! — вдруг крикнул хозяин, вихрем проносясь между гостей.

Сначала в саду, потом за ним, потом еще дальше, вдоль дорожек, в дубравах, на прогалинах и лугах, поодиночке и пачками, зажигались рубиновые, сапфирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь. Гости заахали. М-сье Пьер, со свистом вобрав воздух, схватил Цинцинната за кисть. Огоньки занимали все большую площадь: вот потянулись вдоль отдаленной долины, вот перекинулись в виде длинной брошки на ту сторону, вот уже повысочили на первых склонах, — а там пошли по холмам, забираясь в самые тайные складки, обнюхивая вершины, переваливая через них!

— Ах, как славно, — прошептал м-сье Пьер, на миг прижавшись щекой к щеке Цинцинната.

Гости аплодировали. В течение трех минут горел разноцветным светом добрый миллион лампочек, искусно рассаженных, в траве, на ветках, на скалах, и в общем размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из П. и Ц., не совсем однако вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе.

Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать и о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстрады. М-сье Пьер, хотя был снимаемым, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Цинцинната и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле, спросонья гремя, разбирали алебарды сумрачные солдаты.

— Несказанно польщен визитом, — обратился на прощание хозяин к Цинциннату: — Завтра, — вернее сегодня утром — я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное. Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики.

— Ну-с, ни пера, ни пуха, — в промежутках тройного лобзания сказал он м-сье Пьеру.

Цинциннат и м-сье Пьер в сопровождении солдат углубились в аллею.

— Ты в общем хороший, — произнес м-сье Пьер, когда они немножко отошли, — только почему ты всегда как-то... Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление. Не знаю, как ты, — добавил он, — но, хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле.

Шли долго. Было очень тихо и туманно.

Ток-ток-ток, — глухо доносилось откуда-то слева, когда они спускались по Крутой. — Ток-ток-ток.

— Подлецы, — пробормотал м-сье Пьер. — Ведь клялись, что уже готово...

Наконец перешли через мост и стали подниматься в гору. Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами. Наверху, у третьих ворот, в шлафроке и ночном колпаке, ждал Родриг Иванович.

— Ну, что, как было? — спросил он нетерпеливо.

— Вас доставало, — сухо сказал м-сье Пьер.

## XVIII

«Прилег, не спал, только продрог, и теперь — рассвет (быстро, нечетко, слов не кончая, — как бегущий оставляет след неполной подошвы, — писал Цинциннат), теперь воздух бледен, и я так озяб, что мне кажется, отвлеченное понятие «холод» должно иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут. Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико, — страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом, и нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно, душа опозорилась, — это ведь не должно бы, не должно бы было быть, было бы быть, — только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье со-слагательного, — о, как мне совестно, что меня за-

нимают, держат душу за полу, вот такие подробности, подростки, лезут, мокрые, прощаться, лезут какие-то воспоминания: я, дитя с книгой, сижу у бегущей с шумом воды на припеке, и вода бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых, старых стихов, — о, как на склоне, — ведь я знаю, что этого не надо, — и суеверней! — ни воспоминаний, ни боязни, ни этой страстной икоты: и суеверней! — и я так надеялся, что будет все прибрано, все просто и чисто. Ведь я знаю, что ужас смерти это только так, безвредное, — может быть даже здоровое для души, — содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку, — и что живали некогда в вертепах, где звон вечной капли и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые, — большие путаники, правда, — а по-своему одолели, — и хотя я все это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает, — все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит, и гудит, и мчится, — и сейчас придут за мной, и я не готов, мне совестно...»

Цинциннат встал, разбежался и — головой об стену, но настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел на стену, грызя карандаш, и вот, слегка запаркав под столом, продолжал писать — чуть менее быстро:

«Сохраните эти листы, — не знаю, кого прошу, — но: сохраните эти листы, — уверяю вас, что есть такой закон, что это по закону, справьтесь, увидите! — пускай полежат, — что вам от этого сделается? — а я так, так прошу, — последнее желание, — нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».

Он опять остановился. Уже совсем прояснилось в камере, и по расположению света Цинциннат знал, что сейчас пробьет половина шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал писать, — но теперь уже

совсем тихо и прерывисто, точно растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание.

«Слова у меня топчутся на месте, — писал Цинциннат. — Зависть к поэтам. Как хорошо должно быть пронестись по странице и прямо со страницы, где останется бежать только тень, — сняться — и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех манипуляций, до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое топорщице. Наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, хотя иная — как раковая опухоль: выразишь, вырежешь, и опять нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, что сегодня утром, через час или два...»

Но прошло и два часа и более, и, как ни в чем не бывало Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш, накормил паука, вынес парашу. Цинциннат ничего не спросил, но, когда Родион ушел и время потянулось дальше обычной своей трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу и что все осталось таким же неопределенным, вязким и бессмысленным, каким было.

Часы только что пробили три или четыре (задремав и наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь приблизительно запечатлел их звуковую сумму), когда вдруг отворилась дверь и вошла Марфинька. Она была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный лиф черного бархатного платья, — при этом что-то не так сидело, это ее делало кривобокой, и она все поправлялась, одергивалась или на месте быстро-быстро поводила бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко.

— Васильки тебе, — сказала она, бросив на стол синий букет, — и, почти одновременно, проворно откинув с колена подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке, натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем нежном сале тисненый след. — И трудно же было добиться разрешения! Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку, —

одним словом, обычная история. Ну, как ты поживаешь, мой бедный Цинциннатик?

— Признаться, не ждал тебя, — сказал Цинциннат. — Садись куда-нибудь.

— Я уже вчера добивалась, — а сегодня сказала себе: лопну, а пройду. Он час меня держал, твой директор, — страшно, между прочим, тебя хвалил. Ах, как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею. Утречком на Интересной ужас что делалось.

— Почему отменили? — спросил Цинциннат.

— А говорят, все были уставши, плюхо выпалились. Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд.

Продолговатые, чудно отшлифованные слезы поползли у Марфиньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям, — одна даже дотекла до ямки над ключицей... но глаза смотрели все так же кругло, топырились короткие пальцы с белыми пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро шевелясь, говорили свое.

— Некоторые уверяют, что теперь отложено надолго, да ни от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе представить, сколько слухов, какая бестолочь...

— Что ж ты плачешь? — спросил Цинциннат усмехнувшись.

— Сама не знаю, измоталась... (Грудным баском.) Надоели вы мне все. Цинциннат, Цинциннат, — ну и наделал же ты делов!.. Что о тебе говорят, — это ужас! Ах, слушай, — вдруг переменяла она побужку речи, заулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь: на днях — когда это было? да, позавчера — приходит ко мне как ни в чем не бывало такая мадамочка, вроде докторши что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе, и начинает: так и так... дело в том... вы понимаете... Я ей говорю, нет, пока ничего не понимаю. Она — ах, нет, я вас знаю, вы меня не знаете... Я ей говорю... (Марфинька, представляя собеседницу, впала в тон суетливый и бестолковый, но трезво тормо-

зила на растянутом: я ей говорю — и, уже передавая свою речь, изображала себя как снег спокойной.) Одним словом, она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя, по-моему, даже с возрастом не выходит, но все равно, и что она безумно боится преследований, будто, значит, ее и допрашивали и всячески подвергали. Я ей говорю: при чем же тут я, и отчего, собственно, вы желаете меня видеть? Она — ах, нет, так и так, я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете... Я ей тогда говорю: отчего, собственно, вы думаете, что я добрая? Она — так и так, ах, нет, ах да, — и вот просит, нельзя ли ей дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала, что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась... Тут, знаешь, так смешно стало Марфиньке, так смешно! Я думаю (протяжным, низким голоском), что это какая-то ненормальная, помешанная, правда? Во всяком случае я ей, конечно, ничего не дала, Виктор и другие говорили, что было бы слишком компрометантно, — что, значит, я вообще знаю каждый твой шаг, если знаю, что ты с ней незнаком, — и она ушла, очень, кажется, сконфуженная.

— Но это была действительно моя мать, — сказал Цинциннат.

— Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно. А вот, почему ты такой скучный, кислый, Цин-Цин? Я думала, ты будешь так рад мне, а ты...

Она взглянула на койку, потом на дверь.

— Я не знаю, какие тут правила, — сказала она вполголоса, — но если тебе нужно, Цинциннатик, пожалуйста, только скоро.

— Оставь. Что за вздор, — сказал Цинциннат.

— Ну, как желаете. Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться — ну, угадай кто? никогда не угадаешь, — помнишь, такой старый хрыч, одно время рядом с нами жил, все трубкой смердел через забор да поглядывал, когда я на яблоню лазила. Каков? И главное — совершенно серьезно! Так

я за него и пошла, за пугало рваное, фу! Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько, хорошенько отдохнуть, — зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чем не думать, — отдохнуть, отдохнуть, — и конечно совершенно одной или с человеком, который действительно бы заботился, все понимал, все...

У нее опять заблестели короткие, жесткие ресницы, и поползли слезы, змеясь по ямочкам яблочно румяных щек.

Цинциннат взял одну из этих слез и попробовал на вкус: не соленая и не солодкая, — просто капля комнатной воды. Цинциннат не сделал этого.

Вдруг дверь взвизгнула, отворилась на вершок, Марфиньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери.

— Ну что вам, ведь еще не пора, мне обещали целый час, — прошептала она скороговоркой. Ей что-то возразили.

— Ни за что! — сказала она с негодованием. — Так и передайте. Уговор был, что только с дирек...

Ее перебили; она вслушалась в настойчивое бормотание; потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол.

— Да уж ладно, — грубовато проговорила она и с какакой-то невинной живостью повернулась к мужу: — Я через пять минуточек вернусь, Цинциннатик.

(Покамест она отсутствовала, он думал о том, что не только еще не приступил к неотложному, важному разговору с ней, но что не мог теперь даже выразить это важное... Вместе с тем у него ныло сердце, и все то же воспоминание скулило в уголку, — а пора, пора было от всей этой тоски поотвыкнуть.)

Она вернулась только через три четверти часа, неизвестно по поводу чего презрительно, в нос, усмехаясь; поставила ногу на стул, щелкнула подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу, точь-в-точь, как сидела давеча.

— Зря, — произнесла она с усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. — Ну, скажи мне что-нибудь, Цинциннатик, петушок мой, ведь... Я, зна-

ешь, их сама собирала, маков не люблю, а вот эти — прелесть. Не лезь, если не можешь, — другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. — Нет, Цин-Цин, это я не тебе. (Вздыхнула.) Ну, скажи мне что-нибудь, утешь меня.

— Ты мое письмо... — начал Цинциннат и кашлянул, — ты мое письмо прочла внимательно, — как следует?

— Прошу тебя, — воскликнула Марфинька, схватясь за виски, — только не будем о письме!

— Нет, будем, — сказал Цинциннат.

Она вскочила, судорожно оправляясь, — и заговорила сбивчиво, слегка шепеляво, как говорила, когда гневалась.

— Это ужасное письмо, это бред какой-то, я все равно не поняла, можно подумать, что ты здесь один сидел с бутылкой и писал. Не хотела я об этом письме, но раз уже ты... Ведь его, поди, прочли передатчики, списали, сказали: ага! она с ним заодно, коли он ей так пишет. Пойми, я не хочу ничего знать о твоих делах, ты не смеешь мне такие письма, преступления свои навязывать мне...

— Я не писал тебе ничего преступного, — сказал Цинциннат.

— Это ты так думаешь, — но все были в ужасе от твоего письма, — просто в ужасе! Я — дура, может быть, и ничего не смыслю в законах, но и я чутьем поняла, что каждое твое слово невозможно, недопустимо... Ах, Цинциннат, в какое ты меня ставишь положение, — и детей, подумай о детях... Послушай, — ну послушай меня минуточку, — продолжала она с таким жаром, что речь ее становилась вовсе невнятной, — откажись от всего, от всего. Скажи им, что ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, покаяйся, сделай это, — пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне, на меня ведь уже пальцем показывают: от она, вдова, от!

— Постой, Марфинька. Я никак не пойму. В чем покаяться?

— Так! Впутывай меня, задавай каверзные... Да кабы я знала в чем, то значит я и была бы твоей соучастницей. Это ясно. Нет, довольно, довольно. Я безумно боюсь всего этого. — Скажи мне в последний раз, — неужели не хочешь, ради меня, ради всех нас...

— Прощай, Марфинька, — сказал Цинциннат.

Она задумалась, сев, облокотившись на правую руку, а левой чертя свой мир на столе.

— Как нехорошо, как скучно, — проговорила она, глубоко, глубоко вздохнув. Нахмурилась и провела ногтем реку. — Я думала, что свидимся мы совсем иначе. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться! Ну, ничего не поделаешь. (Река впала в море — с края стола.) Я ухожу, знаешь, с тяжелым сердцем. Да, но как же мне вылезти? — вдруг невинно и даже весело спохватилась она. — Не так скоро придут за мной, я выговорила себе бездну времени.

— Не беспокойся, — сказал Цинциннат, — каждое наше слово... Сейчас отпрут.

Он не ошибся.

— Плящай, плящай, — залепетала Марфинька. — Постоите, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. Плящай. Если тебе что нужно в смысле рубашечек или там. — Да, дети просили тебя крепко, крепко поцеловать. Что-то еще... Ах, чуть не забыла: папаша забрал себе ковшик, который я подарила тебе, и говорит, что ты ему будто...

— Поторапливайтесь, барынька, — перебил Родион, фамильярной коленкой подталкивая ее к выходу.

## XIX

На другое утро ему доставили газеты, — и это напомнило первые дни заключения. Тотчас кинулся в глаза цветной снимок: под синим небом — площадь, так густо пестрящая публикой, что виден был лишь самый край темно-красного помоста. В столбце, относившемся к казни, половина строк была замазана, а из

другой Цинциннат выудил только то, что уже знал от Марфиньки, — что маэстро не совсем здоров, и представление отложено — быть может, надолго.

— Ну и гостинец тебе нонче, — сказал Родион — не Цинциннату, а пауку.

Он нес в обеих руках, весьма бережно, но и брезгливо (заботливость велела прижать к груди, страх — отстранить) ухваченное комом полотенце, в котором что-то большое копошилось и шуршало:

— На окне в башне пымал. Чудище! Ишь как шастает, не удержишь...

Он намеревался пододвинуть стул, как всегда делал, чтобы, став на него, подать жертву на добротную паутину прожорливому пауку, который уже надувался, чуя добычу, — но случилась заминка, — он нечаянно выпустил из корявых опасливых пальцев главную складку полотенца и сразу вскрикнул, весь топорщась, как вскрикивают и топорщатся те, кому не то что летучая, но простая мышь-катунчик внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое, темное, усатое, — и тогда Родион заорал во всю глотку, топчась на месте, боясь упустить, схватить не смея. Полотенце упало; пленница же повисла у Родиона на обшлагае, уцепившись всеми шестью липкими своими лапками.

Это была просто ночная бабочка, — но какая! — величиной с мужскую ладонь, с плотными, на седоватой подкладке, темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными, крыльями, каждое из коих было посередине украшено круглым, стального отлива, пятном в виде ока. То вцепляясь, то отлипая членистыми, в мохнатых штанишках, лапками и медленно помахивая приподнятыми лопастями крыльев, с исподу которых просвечивали те же пристальные пятна и волнистый узор на загнутых пепельных концах, бабочка точно ощупью поползла по рукаву, а Родион между тем, совсем обезумевший, отбрасывая от себя, отвергая собственную руку, причитывал: «сыми! сыми!» — и таранился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захло-

пала, тяжелые крылья как бы перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз, все еще цепко держась за рукав, — и можно было теперь рассмотреть ее сборчатое, с подпалинами, бурое брюшко, ее беличью мордочку, глаза, как две черных дробины и похожие на заостренные уши сяжки.

— Ох, убери ее! — вне себя взмолился Родион, и от его исступленного движения великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем, мощно трепеща, и вдруг, с края, снялось. Но для меня так темен ваш день, так напрасно разбредили мою дремоту. Полет, — ныряющий, грузный, длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; это было так, словно самый воздух поглотил ее.

Родион поискал, не нашел и стал посреди камеры, оборотясь к Цинциннату и уперши руки в боки.

— А? Какова шельма! — воскликнул он после выразительного молчания. Сплюнул; покачал головой и достал туго тукающую спичечную коробку с запасными мухами, которыми и пришлось удовлетвориться разочарованному животному. Но Цинциннат отлично видел, куда она села.

Когда Родион наконец удалился, сердито снимая на ходу бороду вместе с лохматой шапкой волос, Цинциннат перешел с койки к столу. Он пожалел, что поторопился сдать все книги, и от нечего делать сел писать.

«Все сошлось, — писал он, — то есть все обмануло, — все это театральное, жалкое, — посулы ветреницы, влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа, наконец — холмы, подернувшиеся смертельной сыпью... Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, — и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Странно, что я искал спасения. Совсем — как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра ему приснится ее нахождение. Так создается математика; есть у нее свой губительный изъян. Я его

обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни, — там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным, — какие мне нужны объемистые эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом... — лучше не договаривать, а то опять спутаюсь. В этой непоправимой дырочке завелась гниль, — о, мне кажется, что все-таки выскажу все — о сновидении, соединении, распаде, — нет, опять соскользнуло, — у меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие — калек. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами... Все, что я до сих пор тут написал, — только пена моего волнения, пустой порыв, — именно потому, что я так торопился. Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает...»

Тут кончилась страница, и Цинциннат спохватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался.

«...смерть», — продолжая фразу, написал он на нем, — но сразу вычеркнул это слово; следовало — иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлука — как-нибудь так; вертя карликовый карандаш, он задумался, а к краю стола пристал коричневый пушок, там, где она недавно трепетала, и Цинциннат, вспомнив ее, отошел от стола, оставил там белый лист с единственным, да и то зачеркнутым, словом и опустился (притворившись, что поправляет задок туфли) около койки, на железной ножке которой, совсем внизу, сидела она, спящая, распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении, вот только жалко было мохнатой спины, где пушок в одном месте стерся, так что образовалась небольшая, блестящая, как орешек, плешь, — но громадные, темные крылья, с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами были неприкосновенны, — верхние, слегка опущенные, находили на нижние, и в этом склонении было бы сонное безволие, если бы не слитная прямизна передних граней

и совершенная симметрия всех расходящихся черт, — столь пленительная, что Цинциннат не удержался, кончиком пальца провел по седому ребру правого крыла у его основания, потом по ребру левого (нежная твердость! неподатливая нежность!), — но бабочка не проснулась, и он разогнулся — и, слегка вздохнув, отошел, — собирался опять сесть за стол, как вдруг заскрежетал ключ в замке и, визжа, гремя и скрипя по всем правилам тюремного контрапункта, отворилась дверь. Заглянул, а потом и весь вошел, розовый м-сье Пьер, в своем охотничьем гороховом костюмчике, и за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката: осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки, — без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом, — они оказались между собою схожи, и одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами. .

Красиво подрумяненный м-сье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом:

— Экипаж подан, пожалте.

— Куда? — спросил Цинциннат, действительно не сразу понявший, так был уверен, что непременно на рассвете.

— Куда, куда... — передразнил его м-сье Пьер, — известно куда. Чик-чик делать.

— Но ведь не сию же минуту, — сказал Цинциннат, удивляясь сам тому, что говорит, — я не совсем подготовился... (Цинциннат, ты ли это?)

— Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольно. Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные.

— Рады стараться, — прогудели молодцы.

— Чуть было не запамятовал, — продолжал м-сье Пьер, — тебе можно еще по закону — Роман, голубчик, дай-ка мне перечень.

Роман, преувеличенно торопясь, достал из-за подкладки картуза сложенный вдвое картонный листок с траурным кантом; пока его он доставал, Родриг механически потрагивал себя за бока, вроде как бы лез за пазуху, не спуская бессмысленного взгляда с товарища.

— Вот тут для простоты дела, — сказал м-сье Пьер, — готовое меню последних желаний. Можешь выбрать одно и только одно. Я прочту вслух. Итак: стакан вина; или краткое пребывание в уборной; или беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода; или... это что тут такое... составление обращения к дирекции с выражением... выражением благодарности за внимательное... Ну это извините, — это ты, Родриг, подлец, вписал. Я не понимаю, кто тебя просил? Официальный документ! Это же по отношению ко мне более чем возмутительно, — когда я как раз так щепетилен в смысле законов, так стараюсь...

М-сье Пьер в сердцах шмякнул картоном об пол, Родриг тотчас поднял его, разгладил, виновато бормоча:

— Да вы не беспокойтесь... это не я, это Ромка шут... я порядки знаю. Тут все правильно... дежурные желания... а то можно по заказу...

— Возмутительно! Нестерпимо! — кричал м-сье Пьер, шагая по камере. — Я нездоров, — однако исполняю свои обязанности. Меня потчуют тухлой рыбой, мне подсовывают какую-то шлюху, со мной обращаются просто нагло, — а потом требуют от меня чистой работы. Нет-с! Баста! Чаша долготерпения выпита! Я просто отказываюсь, — делайте сами, рубите, кромсайте, справляйтесь, как знаете, ломайте мой инструмент...

— Публика бредит вами, — проговорил лъстивый Роман; — мы умоляем вас, успокойтесь, маэстро. Если что было не так, то как результат недомыслия, глупос-

ти, чересчур ревностной глупости — и только! Простите же нас. Баловень женщин, всеобщий любимец да смеял гневное выражение лица на ту улыбку, которою он привык с ума...

— Буде, буде, говорун, — смягчаясь, пробурчал м-сье Пьер; — я во всяком случае добросовестнее свой долг исполняю, чем некоторые другие. Ладно, прощаю. А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания. Ну, что же ты выбрал? — спросил он у Цинцинната (тихо присевшего на койку). Живее, живее. Я хочу наконец отделаться, а нервные пускай не смотрят.

— Кое-что дописать, — прошептал полувопросительно Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что, в сущности, все уже дописано.

— Я не понимаю, что он говорит, — сказал м-сье Пьер. — Может быть, кто понимает, но я не понимаю.

Цинциннат поднял голову:

— Вот что, — произнес он внятно, — я прошу три минуты, — уйдите на это время или хотя бы замолчите, — да, три минуты антракта, — после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу.

— Сойдемся на двух с половиной, — сказал м-сье Пьер, вынув толстые часики, — уступи-ка, брат, половинку? Не желаешь? Ну, грабь, — согласен.

Он в непринужденной позе прислонился к стене; Роман и Родриг последовали его примеру, но у Родрига подвернулась нога, и он чуть не упал, — панически при этом взглянув на маэстро.

— Ш-ш, сукин кот, — зашипел на него м-сье Пьер. — И вообще, что это вы расположились? Руки из карманов! Смотреть у меня... (урча сел на стул). Есть для тебя, Родька, работа, — можешь помаленьку начать тут убирать; только не шуми слишком.

Родригу в дверь подали метлу, и он принялся за дело.

Прежде всего, концом метлы, он выбил целиком в глубине окна решетку; донеслось, как бы из пропасти,

далекое, слабое ура, — и в камеру дохнул свежий воздух, — листья со стола слетели, и Родриг их отшваркнул в угол. Затем, метлой же, он снял серую толстую паутину и с нею паука, которого так бывало пестовал. Этим пауком от нечего делать занялся Роман. Сделанный грубо, но забавно, он состоял из круглого плюшевого тела, с дрыгающими пружинковыми ножками, и длинной, тянувшейся из середины спины, резинки, за конец которой его держал на весу Роман, поводя рукой вверх и вниз, так что резинка то сокращалась, то вытягивалась, и паук ездил вверх и вниз по воздуху. М-сье Пьер искоса кинул фарфоровый взгляд на игрушку, и Роман, подняв брови, поспешно сунул ее в карман. Родриг, между тем, хотел выдвинуть ящик стола, приналег, двинул, — и стол треснул поперек. Одновременно стул, на котором сидел м-сье Пьер, издал жалобный звук, что-то поддалось, и м-сье Пьер чуть не выронил часов. С потолка посыпалось. Трещина извилисто прошла по стене. Ненужная уже камера явным образом разрушалась.

— ...пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, — досчитал м-сье Пьер, — все. Пожалуйста, вставай. На дворе погода чудная, поездка будет из приятнейших, другой на твоём месте сам бы торопил.

— Ещё мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки, — но остановить это или скрыть не могу, — да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничтожите, сор выметете, бабочка ночью улетит в выбитое окно, — так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах, уже сейчас готовых завалиться. Но теперь прах и забвение мне нипочем, я только одно чувствую — страх, страх, постыдный, напрасный...

Всего этого Цинциннат на самом деле не говорил, он молча переобувался. Жила была вздута на лбу, на нее падали светлые кудри, рубашка была с широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми вздрагивавшими усами.

— Идем же! — взвизгнул м-сье Пьер.

Цинциннат, стараясь ничего и никого не задеть, ступая как по голому пологому льду, выбрался наконец из камеры, которой собственно уже не было больше.

## XX

Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо, — рушились его убежища. Часто попадались области тьмы, оттого что перегорели лампочки. М-сье Пьер требовал, чтобы шли в ногу.

Вот присоединилось в нем несколько солдат, в собачьих масках по регламенту, — и тогда Родриг и Роман, с разрешения хозяина, пошли вперед — большими, довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом.

Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживали м-сье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам, — должно быть с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие — либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, — что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахло капустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано: «анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе.

Во время всего этого путешествия Цинциннат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его

рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно увлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но, как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, — Цинциннат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что, в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого, — но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие.

За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и снимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семья сторожей, — босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, — и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей.

— Ну-с, поехали, — бодро сказал м-сье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу.

В старую, облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький м-сье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестяще-черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. М-сье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинциннату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги.

— Постарайся, дружок, не наступать, — добавил он. На козлы влезли Родриг и Роман. Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати

раздалось нестройное ура служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родриг стегнул по вскинутой морде и, когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тырукая.

— Тише, тише, — с улыбкой сказал м-сье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке.

Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родриг поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. М-сье Пьер, положив руки на бульдожий набалдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли, и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боролся. Толстые, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников (тюремного повара, например, с женой), которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, — и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью (уже стоявшей вовсе нехорошо, перспективы расстроилась, что-то болталось...).

— Жалею, что так вспылел, — ласково говорил м-сье Пьер. — Не сердись, цыпунька, на меня. Ты сама понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу.

Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удививший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь.

— ...но не стоит об этом вспоминать, — говорил м-сье Пьер. — Люди моего нрава вспыльчивы, но

и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола.

Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. М-сье Пьер погрозил пальчиком.

Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла, — в кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по Телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, — и дальше — по немощеному шепчущему переулку, мимо сквера, где, со скамейки, двое мужчин в партикулярном платье, с бородками, поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, — страшно возбужденные, с квадратными плечами, — и вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером, белая, толстая статуя была расколота надвое, — газеты писали, что молнией.

— Сейчас проедем мимо твоего дома, — очень тихо сказал м-сье Пьер.

Роман завертелся на козлах и, обратившись назад, к Цинциннату, крикнул:

— Сейчас проедем мимо вашего дома, — и сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик, от удовольствия.

Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду, среди подсолнухов и мальв, махало рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши... Проехали.

— Ты все-таки какой-то бессердечный, — сказал м-сье Пьер, вздохнув, и нетерпеливо ткнул тростью

в спину вознице, который привстал и бешеными ударами бича добился чуда: кляча пустилась галопом.

Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден: там дверь быстро отворилась, вышел юноша, вся семья провожала его, — он нынче как раз достиг присутственного возраста, мать смеялась сквозь слезы, бабка совала сверток ему в мешок, младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами (некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц) уже теснились фотографы. М-сье Пьер приподнимал шляпу. Франты на блестящих «часиках» обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара, в скобку остриженного, молодца с хлеб-солью на блюде.

От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами, — очевидно ее тожехватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака, — по-моему, они повторяются, по-моему, их только три типа, по-моему, все это сетчато и с подозрительной празеленью...

— Но, но, пожалуйста, без глупостей, — сказал м-сье Пьер. — Не смей падать в обморок. Это недостойно мужчины.

Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, — нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, — возвышался червлёный помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр по-видимому играл вовсю, страстно размахался одноногий инвалид дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука.

М-сье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинциннату, но Цинциннат вышел с другой стороны. В толпе зашикали.

Родриг и Роман соскочили с козел; все трое затеснились Цинцинната.

— Сам, — сказал Цинциннат.

До эшафота было шагов двадцать, и, чтобы никто его не коснулся, Цинциннат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинциннат остановился. М-сье Пьер взял его под локоть.

— Сам, — сказал Цинциннат.

Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься, раскинув руки. М-сье Пьер поднялся тоже. Публика загудела.

Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинциннат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но, почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди внизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением, — с солнцем было неблагоприятно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, не гибкими, валкими, — один из них очень медленно...

Но вот опять прошел в толпе гул: Родриг и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже внесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. М-сье Пьер скинул куртку и оказался в натальной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на угрозы пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти, и ее две сестры, а также старичок с удочкой,

и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцинната, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк инженер Никита Лукич, — и еще Цинциннат заметил человека, которого каждое утро, бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов, за ними — слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там — отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь.

Вдруг оркестр смолк, — или вернее: теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль: портик, скалы, мыльный каскад.

На помост, ловко и энергично (так что Цинциннат невольно отшатнулся), вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну, высоко поднятую, ногу на плаху (был мастер непринужденного красноречия), громко объявил:

— Горожане! Маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц, молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого Бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский Склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь.

С той же ловкостью скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул.

М-сье Пьер, уже надевший белый фартук (из-под которого странно выглядывали голенища сапог), тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинциннату.

(Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов.)

— Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, — проговорил м-сье Пьер. — Прежде всего нам нужно снять рубашечку.

— Сам, — сказал Цинциннат.

— Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь.

М-сье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул.

— Понятно? — спросил м-сье Пьер, вскочив и оправляя фартук (сзади разошлось, Родриг помог завязать). — Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий... Если бы можно... Вот так, спасибо. Еще может быть, капельку... Превосходно! Теперь я попрошу тебя лечь.

— Сам, сам, — сказал Цинциннат и ничком лег, как ему показывали, но тотчас закрыл руками затылок.

— Вот глупыш, — сказал сверху м-сье Пьер, — как же я так могу... (да, давайте. Потом сразу ведро). И вообще — почему такое сжатие мускулов, не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, уберите... (давайте). Совсем свободно и считай вслух.

— До десяти, — сказал Цинциннат.

— Не понимаю, дружок? — как бы переспросил м-сье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать: — отступите, господа, маленько.

— До десяти, — повторил Цинциннат, раскинув руки.

— Я еще ничего не делаю, — произнес м-сье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат

уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с не испытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут? отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.

Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке, блевал бледный библиотекар. Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шараясь, — только задние нарисованные ряды оставались на месте. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг:

— Что вы делаете! — хрипел он, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем... Вернитесь, ложитесь, — ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!

Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении.

Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

# Отчаяние

РОМАН



## Глава I

Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью... — Так, примерно, я полагал начать свою повесть. Далее я обратил бы внимание читателя на то, что, не будь во мне этой силы, способности и прочего, я бы не только отказался от описывания недавних событий, но и вообще нечего было бы описывать, ибо, дорогой читатель, не случилось бы ничего. Это глупо, но зато ясно. Лишь дару проникать в измышления жизни, врожденной склонности к непрерывному творчеству я обязан тем... — Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом... Но, как говаривал мой бедный левша, философия — выдумка богачей. Долой.

Я, кажется, попросту не знаю, с чего начать. Смешон пожилой человек, который бегом, с прыгающими щеками, с решительным топотом, догнал последний автобус, но боится вскочить на ходу, и виновато улыбаясь, еще трусая по инерции, отстают. Неужто не смею вскочить? Он воеет, он ускоряет ход, он сейчас уйдет за угол, непоправимо, — могучий автобус моего рассказа. Образ довольно громоздкий. Я все еще бегу.

Покойный отец мой был ревельский немец, по образованию агроном, покойная мать — чисто русская. Старинного княжеского рода. Да, в жаркие летние дни она, бывало, в сиреневых шелках, томная, с всею в руке, полулежала в качалке, обмахиваясь, кушала шоколад, и наливались сенокосным ветром лиловые

паруса спущенных штор. Во время войны меня, немецкого подданного, интернировали, — я только что поступил в Петербургский университет, пришлось все бросить. С конца четырнадцатого до середины девятнадцатого года я прочел тысяча восемнадцать книг, — вел счет. Проездом в Германию я на три месяца застрял в Москве и там женился. С двадцатого года проживал в Берлине. Девятого мая тридцатого года, уже перевалив лично за тридцать пять...

Маленькое отступление: насчет матери я соврал. По-настоящему она была дочь мелкого мещанина, — простая, грубая женщина в грязной кацавейке. Я мог бы, конечно, похерить выдуманную историю с веером, но я нарочно оставляю ее, как образец одной из главных моих черт: легкой, вдохновенной лживости. Итак, говорю я, девятого мая тридцатого года я был по делу в Праге. Дело было шоколадное. Шоколад — хорошая вещь. Есть барышни, которые любят только горький сорт, — надменные лакомки. Не понимаю, зачем беру такой тон.

У меня руки дрожат, мне хочется заорать или разбить что-нибудь, грохнуть чем-нибудь об пол... В таком настроении невозможно вести плавное повествование. У меня сердце чешется, — ужасное ощущение. Надо успокоиться, надо взять себя в руки. Так нельзя. Спокойствие. Шоколад, как известно (представьте себе, что следует описание его производства). На обертке нашего товара изображена дама в лиловом, с веером. Мы предлагали иностранной фирме, скатывавшейся в банкротство, перейти на наше производство для обслуживания Чехии, — потому-то я и оказался в Праге. Утром девятого мая я, из гостиницы, в таксомоторе отправился... — Все это скучно докладывать, убийственно скучно, — мне хочется поскорее добраться до главного, — но ведь полагается же кое-что предварительно объяснить. Словом, — контора фирмы была на окраине города, и я не застал, кого хотел, сказали, что он будет через час, наверное...

Нахожу нужным сообщить читателю, что только что был длинный перерыв, — успело зайти солнце, опалая по пути палевые облака над горой, похожей на Фудзияму, — я просидел в каком-то тягостном изнеможении, то прислушиваясь к шуму и уханью ветра, то рисуя носы на полях, то впадая в полудремоту, — и вдруг содрогаясь... и снова росло ощущение внутреннего зуда, нестерпимой щекотки, — и такое безволие, такая пустота. Мне стоило большого усилия зажечь лампу и вставить новое перо, — старое расщепилось, согнулось и теперь смахивало на клюв хищной птицы. Нет, это не муки творчества, это — совсем другое.

Значит, не застал, и сказали, что через час. От нечего делать я пошел погулять. Был продувной день, голубой, в яблоках: ветер, дальний родственник здешнего, летал по узким улицам; облака то и дело сметали солнце, и оно показывалось опять как монета фокусника. В сквере, где катались инвалиды в колясочках, бушевала сирень. Я глядел на вывески, находил слово, таившее понятный корень, но обросшее непонятным смыслом. Пошел наугад, размахивая руками в новых желтых перчатках, и вдруг дома кончились, распахнулся простор, показавшийся мне вольным, деревенским, весьма заманчивым. Миновав казарму, перед которой солдат вываживал белую лошадь, я зашагал уже по мягкой, липкой земле, дрожали на ветру одуванчики, млея на солнцепеке у забора дырявый сапожок. Впереди великолепный крутой холм поднимался стеной в небо. Решил на него взобраться. Великолепие его оказалось обманом. Среди низкорослых буков и бузины вилась вверх зигзагами ступенчатая тропинка. Казалось, вот-вот сейчас дойду до какой-то чудной глухой красоты, но ее все не было. Эта растительность, нищая и неказистая, меня не удовлетворяла, кусты росли прямо на голой земле, и все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы. Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, некуда было свернуть; из земляных стен по бокам, как пружины из ветхой мебели, торчали корни и клочья гнилого мха. Когда

я наконец дошел до верху, там оказались кривые домики, да на веревке надувались мнимой жизнью подштанники.

Облокотясь на узловатые перила, я увидел внизу подернутую легкой поволокой Прагу, мреющие крыши, дымящие трубы, двор казармы, крохотную белую лошадь. Решил вернуться другим путем и стал спускаться по шоссейной дороге, которую нашел за домишками. Единственной красотой ландшафта был вдали, на пригорке, окруженный голубизной неба, круглый, румяный газом, похожий на исполинский футбольный мяч. Я покинул шоссе и пошел опять вверх, по редкому бобрику травы. Унылые, бесплодные места, грохот грузовика на покинутой мною дороге, навстречу грузовику — телега, потом велосипедист, потом в гнусную радугу окрашенный автомобиль фабрики лаков.

Некоторое время я глядел со ската на шоссе; повернулся, пошел дальше, нашел что-то вроде тропинки между двух лысых горбов и поискал глазами, где бы присесть отдохнуть. Поодаль, около терновых кустов, лежал навзничь, раскинув ноги, с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание, — эта подчеркнутая неподвижность, мертво раздвинутые колени, деревянность полусогнутой руки. Он был в обшарканных плюсовых штанах и темном пиджачке.

«Глупости, — сказал я себе, — он спит, он просто спит. Чего буду соваться, разглядывать». И все же я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз.

Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно — честное слово, — я сел рядом, — дрожали ноги. Будь на моем месте другой, увидь он, что увидел я, его бы может быть прежде всего охватил гомерический смех. Меня же ошеломила таинственность увиденного. Я глядел, — и все во мне как-то

срывалось, летало с каких-то десятых этажей. Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью.

Тут, раз я уже добрался до сути и утолил зуд, не лишне, пожалуй, слогу своему приказать: вольно! — потихоньку повернуть вспять и установить, какое же настроение было у меня в то утро, о чем я размышлял, когда, не застав контрагента, пошел погулять, полз на холм, глядел вдаль, на облытый румянец газоема среди ветреной синевы майского дня. Вернемся, установим. Вот, без цели еще, я блуждаю, я еще никого не нашел. О чем я, в самом деле, думал? То-то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный сосуд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка каких-то мыслей, — о моем деле, о недавно приобретенном автомобиле, о различных свойствах тех мест, которыми я шел, — дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то силы, влекущей меня. Один умный латыш, которого я знал в девятнадцатом году в Москве, сказал мне однажды, что беспричинная задумчивость, иногда обволакивающая меня, признак того, что я кончу в сумасшедшем доме. Конечно, он преувеличивал, — я за этот год хорошо испытал необыкновенную ясность того логического зодчества, которому предавался мой сильно развитый, но вполне нормальный разум. Интуитивные игры, творчество, вдохновение, все то возвышенное, что украшало мою жизнь, может, допустим, показаться профану, пускай умному профану, предисловием к невинному помешательству. Но успокойтесь, я совершенно здоров, тело мое чисто как снаружи, так и внутри, поступь легка, я не пью, курю в меру, не развратничаю. Здоровый, прекрасно одетый, очень моложавый, я блуждал по только что описанным местам, — и тайное вдохновение меня не обмануло, я нашел то, чего бессознательно искал. Повторяю, невероятная минута. Я смотрел на чудо, и чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинно-

стью, бесцельностью, но быть может уже тогда, в ту минуту, рассудок мой начал пытаться совершено, добиваться причины, разгадывать цель.

Он сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу, чудо слегка замутилось, но не ушло. Затем он открыл глаза, покосился на меня, приподнялся и начал, зевая и все недозевывая, скрести обеими руками в жирных русых волосах.

Это был человек моего возраста, долговязый, грязный, дня три не брившийся; между нижним краем воротничка (мягкого, с двумя петельками спереди для несуществующей булавки) и верхним краем рубашки розовела полоска кожи. Тощий конец вязаного галстука свесился набок, и на груди не было ни одной пуговицы. В петлице пиджака увядал пучок бледных фиалок, одна выбилась и висела головкой вниз. Подле лежал грушевидный заплочный мешок с ремнями, подлеченными веревкой. Я рассматривал бродягу с неизъяснимым удивлением, словно это он так нарядился нарочно, ради простоватого маскарада.

«Папироса найдется?» — спросил он по-чешски, неожиданно низким, даже солидным голосом и сделал двумя расставленными пальцами жест курения.

Я протянул ему мою большую кожаную папиросницу, ни на мгновение не спуская с него глаз. Он пододвинулся, опершись ладонью оземь. Тем временем я осмотрел его ухо и впалый висок.

«Немецкие», — сказал он и улыбнулся, показав десны; это меня разочаровало, но к счастью улыбка тотчас исчезла (мне теперь не хотелось расставаться с чудом).

«Вы немец?» — спросил он по-немецки, вертя, уплотняя папиросу.

Я ответил утвердительно и щелкнул перед его носом зажигалкой. Он жадно сложил ладони куполом над мятущимся маленьким пламенем. Ногти — черно-синие, квадратные.

«Я тоже немец, — сказал он, выпустив дым, — то есть, мой отец был немец, а мать из Пильзена, чешка».

Я все ждал от него взрыва удивления, — может быть гомерического смеха, — но он оставался невозмутим. Уже тогда я понял, какой это оболтус.

«Да, я выспался», — сказал он самому себе с глубоким удовлетворением и смачно сплюнул.

Я спросил: «Вы что — без работы?»

Скорбно закивал и опять сплюнул. Всегда удивляюсь тому, сколько слюны у простого народа.

«Я могу больше пройти, чем мои сапоги», — сказал он, глядя на свои ноги. Обувь у него была, действительно, неважная.

Медленно перевалившись на живот и глядя вдаль, на газоем, на жаворонка, поднявшегося с межи, он мечтательно проговорил:

«В прошлом году у меня была хорошая работа в Саксонии, неподалеку от границы. Садовничал — что может быть лучше? Потом работал в кондитерской. Мы каждый день с товарищем после работы переходили границу, чтобы выпить по кружке пива. Девять верст туда и столько же обратно, оно в Чехии дешевле. А одно время я играл на скрипке, и у меня была белая мышь».

Теперь поглядим со стороны, — но так, мимоходом, не всматриваясь в лица, не всматриваясь, господа, — а то слишком удивитесь. А впрочем все равно, — после всего случившегося я знаю, увы, как плохо и пристрастно людское зрение. Итак, двое рядом на чахлой траве. Прекрасно одетый господин, хлопающий себя желтой перчаткой по колену, и рассеянный бродяга, лежащий ничком и жалующийся на жизнь. Жесткий трепет терновых кустов, бегущие облака, майский день, вздрагивающий от ветра, как вздрагивает лошадиная кожа, дальний грохот грузовика со стороны шоссе, голосок жаворонка в небе. Бродяга говорил с перерывами, изредка сплевывая. То да сё, то да сё... Меланхолично вздыхал. Лежа ничком, отгибал икры к задку и опять вытягивал ноги.

«Послушайте, — не вытерпел я, — неужели вы ничего не замечаете?»

Перевернулся, сел. «В чем дело?» — спросил он, и на его лице появилось выражение хмурой подозрительности.

Я сказал: «Ты, значит, слеп».

Секунд десять мы смотрели друг другу в глаза. Я медленно поднял правую руку, но его шуйца не поднялась, а я почти ожидал этого. Я прищурил левый глаз, но оба его глаза остались открытыми. Я показал ему язык. Он пробормотал опять: «В чем дело, в чем дело?»

Было у меня зеркальце в кармане. Я его дал ему. Еще только беря его, он всей пятерней мазнул себя по лицу, взглянул на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрелся в блестящее стекло. Пожал плечами и отдал.

«Мы же с тобой, болван, — крикнул я, — мы же с тобой — ну разве, болван, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько...»

Я привлек его голову к моей, висок к виску, в зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза.

Он снисходительно сказал: «Богатый на бедняка не похож, — но вам виднее... Вот помню на ярмарке двух близнецов, это было в августе двадцать шестого года или в сентябре, нет, кажется, в августе. Так там действительно — их нельзя было отличить друг от друга. Предлагали сто марок тому, кто найдет приметку. Хорошо, говорит рыжий Фриц, и бац одному из близнецов в ухо. Смотрите, говорит, у этого ухо красное, а у того нет, давайте сюда ваши сто марок. Как мы смеялись!»

Его взгляд скользнул по дорогой бледно-серой материи моего костюма, побежал по рукаву, споткнулся о золотые часики на кисти.

«А работы у вас для меня не найдется?» — осведомился он, склонив голову набок.

Отмечу, что он первый, не я, почуял масонскую связь нашего сходства, а так как установление этого сходства шло от меня, то я находился, по его бессознательному расчету, в тонкой от него зависимости, точно

мимикрирующим видом был я, а он — образцом. Всякий, конечно, предпочитает, чтобы сказали: он похож на вас, — а не наоборот: вы на него. Обращаясь ко мне с просьбой, этот мелкий мошенник испытывал почву для будущих требований. В его туманном мозгу мелькала, может быть, мысль, что мне полагается быть ему благодарным за то, что он существованием своим щедро дает мне возможность походить на него. Наше сходство казалось мне игрой чудесных сил. Он в нашем сходстве усматривал участие моей воли. Я видел в нем своего двойника, то есть существо, физически равное мне, — именно это полное равенство так мучительно меня волновало. Он же видел во мне сомнительного подражателя. Подчеркиваю однако туманность этих его мыслей. По крайней тупости своей он, разумеется, не понял бы моих комментариев к ним.

«В настоящее время ничем помочь тебе не могу, — ответил я холодно, — но дай мне свой адрес». Я вынул записную книжку и серебряный карандаш.

Он усмехнулся: «Не могу сказать, чтобы у меня сейчас была вилла. Лучше спать на сеновале, чем в лесу, но лучше спать в лесу, чем на скамейке».

«А все-таки, — сказал я, — где в случае чего можно тебя найти?»

Он подумал и ответил: «Осенью я наверное буду в той деревне, где работал прошлой осенью. Вот на тамошний почтайт и адресуйте. Неподалеку от Тарница. Дайте, запишу».

Его имя оказалось Феликс, что значит «счастливый». Фамилию, читатель, тебе знать незачем. Почерк неуклюжий, скрипящий на поворотах. Писал он левой рукой.

Мне было пора уходить. Я дал ему десять крон. Снисходительно осклабясь, он протянул мне руку, оставаясь при этом в полулежачем положении.

Я быстро пошел к шоссе. Обернувшись, я увидел его темную, долговязую фигуру среди кустов: он лежал на спине, перекинув ногу на ногу и подложив под темя руки. Я почувствовал вдруг, что ослабел, прямо изне-

мог, кружилась голова, как после долгой и мерзкой оргии. Меня сладко и мутно волновало, что он так хладнокровно, будто невзначай, в рассеянии, прикарманил серебряный карандаш. Шагая по обочине, я время от времени прикрывал глаза и едва не попал в канаву. Потом, в конторе, среди делового разговора меня так и подмывало вдруг сообщить моему собеседнику: «Со мною случилась невероятная вещь. Представьте себе...» Но я ничего не сказал и этим создал прецедент тайны. Когда я наконец вернулся к себе в номер, то там, в ртутных тенях, обрамленный курчавой бронзой, ждал меня Феликс. С серьезным и бледным лицом он подошел ко мне вплотную. Был он теперь чисто выбрит, гладко зачесанные назад волосы, бледно-серый костюм, сиреневый галстук. Я вынул платок, он вынул платок тоже. Перемирие, переговоры...

Пыль предместья набилась мне в ноздри. Сморкаясь, я присел на край постели, продолжая смотреться в олакрез. Помню, что мелкие признаки бытия, — щекотка в носу, голод, и потом рыжий вкус шницеля в ресторане, — странно меня занимали, точно я искал и находил (и все-таки слегка сомневался) доказательства тому, что я — я, что я (средней руки коммерсант с замашками) действительно нахожусь в гостинице, обедаю, думаю о делах и ничего не имею общего с бродягой, валяющимся сейчас где-то за городом, под кустом. И вдруг снова у меня сжималось в груди от ощущения чуда. Ведь этот человек, особенно когда он спал, когда черты были неподвижны, являл мне мое лицо, мою маску, безупречную и чистую личину моего трупа, — я говорю трупа только для того, чтобы с предельной ясностью выразить мою мысль, — какую мысль? — а вот какую: у нас были тождественные черты, и в совершенном покое тождество это достигало крайней своей очевидности, — а смерть, — это покой лица, художественное его совершенство: жизнь только портила мне двойника: так ветер туманит счастье Нарцисса, так входит ученик в отсутствие художника и непрошенной игрой лишних красок искажает мастером

написанный портрет. И еще я думал о том, что именно мне, особенно любившему и знавшему свое лицо, было легче, чем другому, обратить внимание на двойника, — ведь не все так внимательны, ведь часто бывает, что говоришь «как похожи!» о двух знакомых между собою людях, которые не подозревают о подобии своем (и стали бы отрицать его не без досады, ежели его им открыть). Возможность, однако, такого совершенного сходства, какое было между мной и Феликсом, никогда прежде мною не предполагалась. Я видал схожих братьев, соутробников, я видал в кинематографе двойников, то есть актера в двух ролях, — как и в нашем случае, наивно подчеркивалась разница общественного положения: один непременно беден, а другой состоятелен, один — бродяга в кепке, с расхристанной походкой, а другой — солидный буржуа с автомобилем, — как будто и впрямь чета схожих бродяг или чета схожих джентльменов менее поражала бы воображение. Да, я все это видал, — но сходство близнецов испорчено штампом родственности, а фильм-актер в двух ролях никого не обманывает, ибо если он и появляется сразу в двух лицах, то чувствуешь поперек снимка линию склейки. В данном же случае не было ни анемии близнячества (кровь пошла на двоих), ни трюка иллюзиониста.

Я желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодаев, убедиться, — но боюсь, что по самой природе своей, слово не может полностью изобразить сходство двух человеческих лиц, — следовало бы написать их рядом не словами, а красками, и тогда зрителю было бы ясно, о чем идет речь. Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, — достигается ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаюсь под руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писателя состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго. Но сейчас мне нужна не литература, а простая, грубая наглядность живописи. Вот мой нос, — круп-

ный, северного образца, с крепкой костью и почти прямоугольной мякиной. Вот его нос, — точь-в-точь такой же. Вот эти две резкие бороздки по сторонам рта и тонкие, как бы слизанные губы. Вот они и у него. Вот скулы... Но это — паспортный, ничего не говорящий перечень черт, и в общем ерундовая условность. Кто-то когда-то мне сказал, что я похож на Амундсена. Вот он тоже похож на Амундсена. Но не все помнят амундсеново лицо, я сам сейчас плохо помню. Нет, ничего не могу объяснить.

Жеманничаю. Знаю, что доказал. Все обстоит великолепно. Читатель, ты уже видишь нас. Одно лицо! Но не думай, я не стесняюсь возможных недостатков, мелких опечаток в книге природы. Присмотрись: у меня большие желтоватые зубы, у него они теснее, светлее, — но разве это важно? У меня на лбу надувается жила, как недочерченная «мысль», но когда я сплю, у меня лоб так же гладок, как у моего дубликата. А уши... изгибы его раковин очень мало изменены против моих: спрессованы тут, разглажены там. Разрез глаз одинаков, узкие глаза, подтянутые, с редкими ресницами, — но они у него цветом бледнее. Вот, кажется, и все отличительные приметы, которые в ту первую встречу я мог высмотреть. В тот вечер, в ту ночь я памятью рассудка перебирал эти незначительные погрешности, а глазной памятью видел, вопреки всему, себя, себя, в жалком образе бродяги, с неподвижным лицом, с колючей тенью — как за ночь у покойников — на подбородке и щеках... Почему я замешкал в Праге? С делами было покончено, я свободен был вернуться в Берлин. Почему? Почему на другое утро я опять отправился на окраину и пошел по знакомому шоссе? Без труда я отыскал место, где он вчера валялся. Я там нашел золотой окурок, кусок чешской газеты и еще — то жалкое, безличное, что незатейливый пешеход оставляет под кустом. Несколько изумрудных мух дополняло картину. Куда он ушел, где провел ночь? Праздные, неразрешимые вопросы. Мне стало нехорошо на душе, смутно, тягостно, словно

все, что произошло, было недобрым делом. Я вернулся в гостиницу за чемоданом и поспешил на вокзал. У выхода на дебаркадер стояли в два ряда низкие, удобные, по спинному хребту выгнутые скамейки, там сидели люди, кое-кто дремал. Мне подумалось: вот сейчас увижу его, спящим, с раскрытыми руками, с последней уцелевшей фиалкой в петлице. Нас бы заметили рядом, вскочили, окружили, потащили бы в участок. Почему? Зачем я это пишу? Привычный разбег пера? Или в самом деле есть уже преступление в том, чтобы как две капли крови походить друг на друга?

## Глава II

Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком — вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удастся мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе, — такой там беспорядок: мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки.

А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира, — три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Лида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату хорошенький, темно-синий автомобиль, — двухместный. Успешно, хоть и медлительно, рос на балконе круглый, натуженный, седовласый кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, — по крайней мере так могло казаться. Однако, по возвращении домой из конторы, я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр.

Приключения моего шоколада притягивали мысль не всегда. Мне, признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу: мнений моей жены я не разделял. Понятие «большевики» принимало в ее крашенных устах оттенок привычной и ходульной ненависти, — нет, пожалуй «ненависть» слишком страстно сказано, — это было что-то домашнее, элементарное, бабье, — большевиков она не любила, как не любишь дождя (особенно по воскресениям), или клопов (особенно в новой квартире), — большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуда. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, — ах, какой нехороший, — и вообще — хулиган и садист. Когда я бывало говорил, что коммунизм в конечном счете — великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма, аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие еще никогда не знала история, — моя жена невозмутимо отвечала: «Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило». Но я действительно так думаю, т. е. действительно думаю, что надобно что-то такое коренным образом изменить в нашей пестрой, неуловимой, запутанной жизни, что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов, и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, напрягает ноздри и поднимает бровь (то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины) всякий раз, как смотрится — даже мельком — в зеркало.

Вот, не люблю этого слова. Страшная штука. С тех пор, как я перестал бриться, оно не употребляю. Между тем упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. (Представьте себе, что следует: история зеркал.) А есть и кривые

зеркала, зеркала-чудовища: малейшая обнаженность шеи вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются; кривое зеркало раздевает человека или начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер, — а не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам, — уйдем, уйдем, — я не умею смеяться гомерическим смехом, — все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться, никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате — тоже мое право. А в крайнем случае (чего я, действительно, боюсь?) отразился бы в нем незнакомый бородач, — здорово она у меня выросла, эта самая борода, — и за такой короткий срок, — я другой, совсем другой, — я не вижу себя. Из всех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня были огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. Пустая суеверность. Вот я напишу опять это слово. Олакрез. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало, зеркало, зеркало. Сколько угодно, — не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают.

Она между прочим тоже была суеверна. Сухо дерево. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голой, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг землянично-ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, — поскорее тронуть, пока еще не остыло в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны: выпавший зуб — смерть знакомого, зуб с кровью — смерть родственника. Жемчуга — это слезы. Очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь — это богатство, кошка — измена, море — душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени. Подтянем пряжку рассказа на одну дырочку.

Она ненавидит Ллойд-Джорджа, из-за него, дескать, погибла Россия, — и вообще: «Я бы этих англичан своими руками передушила». Немцам попадает запломбированный поезд (большевичный консерв, импорт Ленина). Французам: «Мне, знаешь, рассказывал Ардалион, что они держались по-хамски во время эвакуации». Вместе с тем она находит тип англичанина (после моего) самым красивым на свете, немцев уважает за музыкальность и солидность и «обожает Париж», где как-то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила: «Настоящий русский мужик — монархист». Теперь она говорит: «Настоящий русский мужик вымер».

Она малообразованна и малонаблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово «мистик» она принимала всегда за уменьшительное, допуская таким образом существование каких-то настоящих больших «мистов», в черных тогах, что ли, со звездными лицами. Единственное дерево, которое она отличает, это береза: наша, мол, русская. Она читает запоем, и все — дребедень, ничего не запоминая и выпуская длинные описания. Ходит по книги в русскую библиотеку, сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающая зерно, — откладывает, — берет другую, открывает, — все это делается одной рукой, не снимая со стола, — заметив, что открыла вверх ногами, поворачивает на девяносто градусов, — и тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме, — все это длится больше часа, а чем определяется ее конечный выбор — не знаю, быть может заглавием. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенной красным крестовиком на черной паутине, — принялась читать, адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не заглянуть в конец, — но, так как это

все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда — забыла, и долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом: «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю»:

Она теперь узнала. Эти все объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись, все, кроме, быть может, одной. Вообще много чего произошло и теперь объяснилось. Случилось и то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это была самая жуткая. Разбитое зеркало. Да, так оно и случилось, но не совсем обычным образом. Бедная покойница!

Ти-ри-бом. И еще раз — бом! Нет, я не сошел с ума, это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? Посмотрись, читатель, в зеркало, благо ты зеркала так любишь.

Но теперь мне вдруг стало грустно, — по-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном коробочно-обжужлю-пространство-бесфинтифлюшечном стиле, — и на фоне моей аккуратности и чистоты ералаш, который всюду сеяла Лида, сладкий, вульгарный запах ее духов. Но ее недостатки, ее святая тупость, институтские фуририки в подушку, не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, — какую бы глупость она на людях ни сморозила, как бы дурно она ни оделась. Не разбиралась, бедная, в оттенках: ей казалось, что если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная, и поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковым или нильской воды. Любила, чтобы все «повторялось», — если кушак черный, то уже непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башма-

ки, — нет, тайны гармонии ей были совершенно недоступны, и с этим связывалась необычайная ее безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке: мгновенно стаптывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода, — там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, обрезок молюю подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы, например, дамские гетры — одним словом, Бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок: чулки у нее рвались немедленно, — словно сгорали на ее бойких икрах. В хозяйстве она не понимала ни аза, гостей принимала ужасно, к чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю, — может быть, за теплый карий раек пушистых глаз, за естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах, за круглые, подвижные плечи, а всего вернее — за ее любовь ко мне.

Я был для нее идеалом мужчины: умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто, — помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла: «Ах, Герман...» — это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью.

Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, быть может, что, украшая образ любимого ею человека, иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело, я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много, что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок — было бы непосильно. Но она забывала все, — ее зонтик перегостил у всех наших знакомых, история, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизи-

тельно так: «Ах, где я читала, — и что это было... не могу поймать за хвостик, — подскажи, ради Бога», — дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она путала даты, имена, лица. Понавыдумав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался, она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи — лунные, летние, — самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго, заходили они недалеко; мир замыкался опять, — простейший мир; самое сложное в нем было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить.

Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять впал в прошедшее время, — но все равно, — так удобнее писать. Да, она любила меня, верно любила. Ей нравилось рассматривать так и сяк мое лицо: большим пальцем и указательным, как циркулем, она мерила мои черты, — чуть колючее, с длинной выемкой посредине, надгубье, просторный лоб, с припухлостями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке, рта. Крупное лицо, непростое, вылепленное на заказ, с блеском на маслах и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз (правда, неполное сходство) это уже роскошь, — да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной, — и хотя я никогда не видал воочию, только ощупывал, свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от евойных, — удобное слово, пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь, я вполне владею собой. Если мое лицо то

и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя, то это только на благо читателю, — пускай ко мне привыкнет; я же буду тихо радоваться, что он не знает, мое ли это лицо или Феликса, — выгляну и спрячусь, — а это был не я. Только таким способом и можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует, да, да, да, — как бы искусственно и нелепо это ни казалось.

Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь... «Горлышко болит», — сказала она озабоченно; поставила стакан на плиту, отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье, розовые чулки, рваные шлепанцы... Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе, похрустывал сахарный песок, было еще рыхло, ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оканием, которого следует добиться. На плите лежала открытая потрепанная книга; неизвестным почерком, тупым карандашом — заметка на поле: «Увы, это верно» и три восклицательных знака с съехавшими набок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены: «Любовь к ближнему, проговорил сэр Реджинальд, не котируется на бирже современных отношений».

«Ну как, — хорошо съездил?» — спросила жена, сильно вертя рукояткой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотом, но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота...

Я что-то спутал. Это как во сне. Она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе.

«Так себе съездил. А у тебя что слышно?»

Почему я ей не сказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ей уйму чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А может быть удерживало меня

другое: писатель не читает во всеуслышание неоконченного черновика, дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные, сама Лида не любила преждевременного именования едва светящихся событий.

Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоила мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, — может быть уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу: приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств, содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине, и так полном дворомыг, было все равно невозможно, — и, вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительнее, чтобы он находился в некотором отдалении от меня, точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени, дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму... Праздное благоволение, — ибо у него не было постоянного адреса; так что повременим, дождемся того осеннего дня, когда он зайдет на почтамт в глухом саксонском селении.

Прошел май, и воспоминание о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы: банальную повествовательность первых двух слов и затем — длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсаций я однако укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рана. Но это — так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется, рассказ мой тронулся: я уже попал на тот автобус, о котором упоминалось вначале, и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у окна. Так по утрам я ездил в контору, покамест не приобрел автомобиля.

Ему в то лето пришлось малость пошевелиться, — да, я увлекся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за город. Обыкновенно забирали с собой Ардалиона, добродушного и бездарного художника, двоюродного брата жены. По моим соображениям, он был беден, как воробей: если кто-либо и заказывал ему свой портрет, то из милости, а не то — по слабости воли (Ардалион бывал невыносимо настойчив). У меня, и вероятно у Лиды, он брал взаймы по полтиннику, по марке, — и уж конечно норовил у нас пообедать. За комнату он не платил месяцами или платил мертвой натурой, — какими-нибудь квадратными яблоками, рассыпанными по косой скатерти, или малиновой сиренью в набокой вазе с бликом. Его хозяйка обрамляла все это на свой счет; ее столовая походила на картинную выставку. Питался он в русском кабаке, который когда-то «раздраконил»: был он москвич и любил слова этакие густые, с искрой, с пошлейшей московской прищуринкой. И вот, несмотря на свою нищету, он каким-то образом ухитрился приобрести небольшой участок в трех часах езды от Берлина, — вернее, внес первые сто марок, будущие взносы его не беспокоили, ни гроша больше он не собирался выложить, считая, что эта полоса земли оплодотворена первым его платежом и уже принадлежит ему на веки вечные. Полоса была длиной в две с половиной теннисных площадки и упиралась в маленькое миловидное озеро. На ней росли две неразлучные березы (или четыре, если считать их отражения), несколько кустов крушины, да поодаль пяток сосен, а еще дальше в тыл — немного вереска: дань окрестного леса. Участок не был огорожен, — на это не хватило средств; Ардалион по-моему ждал, чтобы огородились оба смежных участка, автоматически узаконив пределы его владений и дав ему даровой частокол; но эти соседние полосы еще не были проданы, — вообще продажа шла туго в данном месте: сыро, комары, очень далеко от деревни, а дороги к шоссе еще нет, и когда ее проложат неизвестно.

Первый раз мы побывали там (поддавшись восторженным уговорам Ардалиона) в середине июня. Помню, воскресным утром мы заехали за ним, я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала рупор из рук и крикнула: «Ардалио-ша!» Яростно метнулась штора в одном из нижних окон, над вывеской пивной, вид которой почему-то наводил меня на мысль, что Ардалион там задолжал немало, — метнулась, говорю я, штора, и сердито выглянул какой-то старый бисмарк в халате.

Оставив Лиду в отдрожавшем автомобиле, я пошел поднимать Ардалиона. Он спал. Он спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальное трико фланелевые штаны и синюю рубашку, захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественно сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади, на тещино место.

Я дороги не знал. Он говорил, что знает ее, как «Отче Наш». Едва выехав из Берлина, мы стали плутать. В дальнейшем пришлось справляться: оставались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни; маневрируя, наезжали задними колесами на кур; я не без раздражения сильно раскручивал руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремились дальше.

«Узнаю мои владения, — воскликнул Ардалион, когда около полудня мы проехали Кенигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. — Я вам укажу, где свернуть. Привет, привет, столетние деревья!»

«Ардалиончик, не валяй дурака», — мирно сказала Лида.

По сторонам шоссе тянулись бугристые пустыни, вереск и песок, кое-где мелкие сосенки. Потом все это немножко пригладилось — поле как поле, и за ним темная опушка леса. Ардалион захлопотал снова. На краю шоссе, справа, вырос ярко-желтый столб, и в этом месте от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающейся в хвощах и диком овсе.

«Сворачивайте», — важно сказал Ардалион и, невольно крикнув, навалился на меня, ибо я затормозил.

Ты улыбнулся, читатель. В самом деле — почему бы и не улыбнуться: приятный летний день, мирный пейзаж, добродушный дурак-художник, придорожный столб. О, этот желтый столб... Поставленный дельцом, продающим земельные участки, торчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охряных столбов, которые в семи верстах отсюда, поближе к деревне Вальдау, стояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин, — он, этот одинокий столб, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо-желтый среди размазанной природы, он выросал в моих снах. Мои видения по нем ориентировались. Все мысли мои возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что увидев его впервые я как бы его узнал: он мне был знаком по будущему. Быть может, я ошибаюсь, быть может я взглянул на него равнодушно и только думал о том, чтобы сворачивая не задеть его крылом автомобиля, — но все равно: теперь, вспоминая его, не могу отделить это первое знакомство с ним от его созревшего образа.

Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась; автомобиль недовольно заскрипел, прыгая на кочках; я застопорил и пожал плечами.

Лида сказала: «Знаешь, Ардалиоша, мы лучше поедем прямо по шоссе в Вальдау, — ты говорил, там большое озеро, кафе».

«Ни в коем случае, — взволнованно возразил Ардалион. — Во-первых, там кафе только проектируется, а, во-вторых, у меня тоже есть озеро. Будьте любезны, дорогой, — обратился он ко мне, — двиньте дальше вашу машину, не пожалеете».

Впереди, шагах в трехстах, начинался сосновый бор. Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, что все это уже знаю! Да, теперь я вспомнил ясно: конечно, было у меня такое чувство, я его не выдумал задним числом, и этот желтый столб... он многозначительно на

меня посмотрел, когда я оглянулся, — и как будто сказал мне: я тут, я к твоим услугам, — и стволы сосен впереди, словно обтянутые красноватой змеиной кожей, и мохнатая зелень их хвои, которую против шерсти гладил ветер, и голая береза на опушке... почему голая? ведь это еще не зима, — зима была еще далеко, — стоял мягкий, почти безоблачный день, тянули «зе-зе-зе», срываясь, заики-кузнечики... да, все это было полно значения, все это было недаром...

«Куда, собственно, прикажете двинуться? Я дороги не вижу».

«Нечего миндальничать, — сказал Ардалион. — Жарьте, дорогуша. Ну да, прямо. Вот туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться. А там уж лесом недалеко».

«Может быть, выйдем и пойдем пешком», — предложила Лида.

«Ты права, — сказал я, — кому придет в голову украсть новенький автомобиль».

«Да, это опасно, — тотчас согласилась она, — тогда, может быть вы вдвоем (Ардалион застонал), он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду, а потом поедem в Вальдау, выкупаемcя, посидим в кафе».

«Это свинство, барыня, — с чувством сказал Ардалион. — Мне же хочется принять вас у себя, на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы. Меня обижают».

Я пустил мотор и одновременно сказал: «Но если сломаем машину, отвечаете вы».

Я подскакивал, рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал Ардалион и говорил: «Мы сейчас (гоп) въедем в лес (гоп), и там (гоп-гоп) по вереску пойдет легче (гоп)».

Въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса лягались, наконец — выскочили; затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак. Наметилось впрочем что-то вроде тропы, которая то обрастала сухо хрустящим вереском, то выпрастывалась опять, изгибаясь между тесных стволов.

«Правее, — сказал Ардалион, — капельку правее, сейчас приедем. Чувствуете, какой расчудесный сосновый дух — роскошь! Я предсказывал, что будет роскошно. Вот теперь можно остановиться. Я пойду на разведку».

Он вылез и, вдохновенно вертя толстым задом, зашагал в чащу.

«Погоди, я с тобой!» — крикнула Лида, но он уже шел во весь парус, и вот исчез за деревьями.

Мотор поцикал и смолк.

«Какая глушь, — сказала Лида, — я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно».

Действительно, место было глухое. Сдержанно шумели сосны, снег лежал на земле, в нем чернели проплешины... Ерунда, — откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, — грешно. Не я пишу, — пишет моя нетерпеливая память. Понимайте, как хотите, — я не при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Но довольно, да будет опять в фокусе летний день: пятна солнца, тени ветвей на синем автомобиле, сосновая шишка на подножке, где некогда будет стоять предмет весьма неожиданной: кисточка для бритья.

«На какой день мы с ними условились?» — спросила жена.

Я ответил: «На среду вечером».

Молчание.

«Я только надеюсь, что они ее не приведут опять», — сказала жена.

«Ну, приведут... Не все ли тебе равно?»

Молчание. Маленькие голубые бабочки над тимьяном.

«А ты уверен, Герман, что в среду?»

(Стоит ли раскрывать скобки? Мы говорили о пустяках, — о каких-то знакомых, имелась в виду собачка, маленькая и злая, которою в гостях все занимались, Лида любила только «больших породистых псов», на слове «породистых» у нее раздувались ноздри.)

«Что же это он не возвращается? Наверное, заблудился».

Я вышел из автомобиля, походил кругом. Исцарапан.

Лида от нечего делать ощупала, а потом приоткрыла Ардалионов портфель. Я отошел в сторонку, — не помню, не помню, о чем думал; посмотрел на хвост под ногами, вернулся. Лида сидела на подножке автомобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчание. Она выпускала дым боком, кривя рот.

Издалека донесся сочный крик Ардалиона. Минуту спустя он появился на прогалине и замахал, приглашая нас следовать. Медленно поехали, объезжая стволы. Ардалион шел впереди, деловито и уверенно. Вскоре блеснуло озеро.

Его участок я уже описал. Он не мог мне указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами, отмеривая метры, оглядывался, припав на согнутую ногу, качал головой и шел отыскивать какой-то пень, служивший ему приметой. Березы гляделись в воду, плавал какой-то пух, лоснились камыши. Ардалионовым сюрпризом оказалась бутылка водки, которую впрочем Лида уже успела спрятать. Смеялась, подпрыгивала, в тесном палевом трико с двуцветным, красным и синим, ободком, — прямо крокетный шар. Когда вдоволь накатавшись верхом на медленно плававшем Ардалионе («Не щиплись, матушка, а то свалю»), покричав и пофыркав, она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились. Ардалион крестился прежде чем нырнуть, вдоль голени был у него здоровенный шрам — след гражданской войны, из проймы его ужасного вытянутого трико то и дело выскакивал нателный крест мужицкого образа.

Лида, старательно намазавшись кремом, легла навзничь, предоставляя себя в распоряжение солнца. Мы с Ардалионом расположились поблизости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего портфеля тетрадь ватманской бумаги, карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня.

«У вас трудное лицо», — сказал он, щурясь.

«Ах, покажи», — крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом.

«Повыше голову, — сказал Ардалион, — вот так, достаточно».

«Ах, покажи», — снова крикнула она погодя.

«Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку», — недовольно проговорил Ардалион.

«Дудки, — ответила Лида. — Ты при мне пить не будешь».

«Вот чудачка. Как вы думаете, она ее правда закопала? Я собственно хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт».

«Ты у меня отучишься пить», — крикнула Лида, не поднимая глянцевого века.

«Стерва», — сказал Ардалион.

Я спросил: «Почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудность?»

«Не знаю, — карандаш не берет. Надобно попробовать углем или маслом».

Он стер что-то резинкой, сбил пыль суставами пальцев, накренил голову.

«У меня, по-моему, очень обыкновенное лицо. Может быть, вы попробуете нарисовать меня в профиль?»

«Да, в профиль!» — крикнула Лида (все так же распятая на земле).

«Нет, обыкновенным его назвать нельзя. Капельку выше. Напротив, в нем есть что-то странное. У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз, — и ушла».

«Такие лица, значит, встречаются редко, — вы это хотите сказать?»

«Всякое лицо — уникум», — произнес Ардалион.

«Ох, сгораю», — простонала Лида, но не двинулась.

«Но позвольте, при чем тут уникум? Ведь, во-первых, бывают определенные типы лиц — зоологические, например. Есть люди с обезьяньими чертами, есть крысиный тип, свиной... А затем — типы знаменитых людей, — скажем, Наполеоны среди мужчин, королевы Виктории среди женщин. Мне говорили, что я смахиваю на Амундсена. Мне приходилось не раз

видеть носы а ля Лев Толстой. Ну еще бывает тип художественный, — иконописный лик, мадоннообразный. Наконец, — бытовые, профессиональные типы...»

«Вы еще скажите, что все японцы между собою схожи. Вы забываете, синьор, что художник видит именно разницу. Сходство видит профан. Вот Лида вскрикивает в кинематографе: мотри, как похожа на нашу горничную Катю!»

«Ардалиончик, не остри», — сказала Лида.

«Но согласитесь, — продолжал я, — что иногда важно именно сходство».

«Когда прикупаешь подсвечник», — сказал Ардалион.

Нет нужды записывать дальше этот разговор.

Мне страстно хотелось, чтобы дурак заговорил о двойниках, — но я этого не добился. Через некоторое время он спрятал тетрадь. Лида умоляла показать ей, он требовал в награду возвращения водки, она отказалась, он не показал. Воспоминание об этом дне кончается тем, что растворяется в солнечном тумане, — или переплетается с воспоминанием о следующих наших поездках туда. А ездили мы не раз. Я тяжело и мучительно привязался к этому уединенному лесу с горящим в нем озером. Ардалион непременно хотел познакомить меня с директором предприятия и заставить меня купить соседний участок, но я отказывался, да если и было бы желание купить, я бы все равно не решился, — мои дела пошли тем летом неважно, все мне как-то опостылело, скверный мой шоколад меня разорял. Но честное слово, господа, честное слово — не корысть, не только корысть, не только желание дела свои поправить... Впрочем, незачем забегать вперед.

### Глава III

Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый, — он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора:

День нынче солнечный, но холодный, все так же бушует ветер, ходуном ходит вечнозеленая листва за окнами, почтальон идет по шоссе задом наперед, придерживая фуражку. Мне тягостно...

Отличительные черты этого варианта довольно очевидны: ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определенном месте, — он не просто некий дух, витающий над страницей. Пока он вспоминает и пишет, что-то происходит вокруг него, — вот как сейчас этот ветер, эта пыль на шоссе, которую вижу в окно (почтальон повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед). Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному, это придает рассказу жизненность, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно: этим приемом злоупотребляют, литературные выдумщики измочалили его, он не подходит мне, ибо я стал правдив. Обратимся теперь ко второму варианту. Он состоит в том, чтобы сразу ввести нового героя, — так и начать главу:

Орловиус был недоволен.

Когда он бывал недоволен, или озабочен, или просто не знал, что ответить, он тянул себя за длинную мочку левого уха, с седым пушком по краю, — а потом за длинную мочку правого, — чтоб не завидовало, — и смотрел поверх своих простых честных очков на собеседника, и медлил с ответом, и наконец отвечал: «Тяжело сказать, но мне кажется...»

«Тяжело» значило у него «трудно». Буква «л» была у него как лопата.

Опять же и этот второй вариант начала главы — прием популярный и доброкачественный, — но он как-то слишком щеголеват, да и не к лицу суровому, застенчивому Орловиусу бойко растворять ворота главы. Предлагаю вашему вниманию третий вариант:

Между тем... (пригласительный жест многоточия).

В старину этот прием был баловнем биоскопа, сиречь иллюзиона, сиречь кинематографа. С героем происходит (в первой картине) то-то и то-то, а между тем...

Многоточие, — и действие переносится в деревню. Между тем... Новый абзац:

...по раскаленной дороге, стараясь держаться в тени яблонь, когда попадались по краю их кривые ярко белены стволы...

Нет, глупости — он странствовал не всегда. Фермеру бывал нужен лишний батрак, лишняя спина требовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его жизнь, — я никогда не бродяжничал. Больше всего мне хотелось вообразить, какое осталось у него впечатление от одного майского утра на чахлой траве за Прагой. Он проснулся. Рядом с ним сидел и глядел на него прекрасно одетый господин, который, пожалуй, даст папиросу. Господин оказался немцем. Стал приставать, — может быть, не совсем нормален, — совал зеркальце, ругался. Выяснилось, что речь идет о сходстве. Сходство так сходство. Я ни при чем. Может быть, он даст мне легкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть что-нибудь и выйдет.

«Послушай-ка, ты (разговор на постоялом дворе теплой и темной ночью), какого я чудака встретил однажды. Выходило, что мы двойники».

Смех в темноте: «Это у тебя двоилось в глазах, пьянчуга».

Тут вкрался еще один прием: подражание переводным романам из быта веселых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы.

А знаю я все, что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц лужского помещика, у которого мой отец служил в управляющих, никогда не хоронил живьем кошек, никогда не выворачивал рук более слабым сверстникам, но сочинял тайно стихи и длинные истории, ужасно и непоправимо, и совершенно зря порочившие честь знакомых, — но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией,

которую создавал. За такую соловьиную ложь я получал от матушки в левое ухо, а от отца бычьей жилой по задку. Это нимало не печалило меня, а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов. Оглушенный на одно ухо, с огненными ягодицами, я лежал ничком в сочной траве под фруктовыми деревьями и посвистывал, беспечно мечтая. В школе мне ставили за русское сочинение неизменный кол, оттого что я по-своему пересказывал действия наших классических героев: так, в моей передаче «Выстрела» Сильвио напавал без лишних слов убивал любителя черешен и с ним — фабулу, которую я впрочем знал отлично. У меня завелся револьвер, я мелом рисовал на осино-вых стволах в лесу кричащие белые рожи и деловито расстреливал их. Мне нравилось — и до сих пор нравится — ставить слова в глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, выворачивать наизнанку, заставить их врасплох. Что делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший и неприятнейший сон, — будто нахожусь в длинном коридоре, в глубине — дверь, — и страстно хочу, не смею, по наконец решаюсь к ней подойти и ее отворить; отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно: совершенно пустая — голая, заново выбеленная комната, — больше ничего, но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом, там пил пиво. Во время войны я прозябал в рыбацьем поселке неподалеку от Астрахани, и, кабы не книги, не знаю, перенес ли бы эти невзрачные годы. С Лидой я познакомился в Москве (куда пробрался чудом сквозь мерзкую гражданскую суету), на квартире случайного приятеля-латыша, у которого жил, — это был молчаливый белолицый человек, со стоявшими дыбом короткими жесткими волосами на кубическом черепе и рыбьим взглядом холодных глаз, — по специальности лати-

нист, а впоследствии довольно видный советский чиновник. Там обитало несколько людей — все случайных, друг с другом едва знакомых, — и между прочим родной брат Ардалиона, а Лидин двоюродный брат, Иннокентий, уже после нашего отъезда за что-то расстрелянный. Собственно говоря, все это подходит скорее для начала первой главы, а не третьей...

Хохоча, отвечая находчиво,  
(отлучиться ты очень не прочь!),  
от лучей, от отчаянья отчего,  
Отчего ты отчалила в ночь?

Мое, мое, — опыты юности, любовь к бессмысленным звукам... Но вот что меня занимает: были ли у меня в то время какие-либо преступные, в кавычках, задатки? Таила ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая, молодость возможность гениального беззакония? Или может быть я все шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой, — но однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста, — там встал и пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдалось все: и стремление мое к этой двери, и странные игры, и бессцельная до тех пор склонность к ненасытной, кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, девятого мая, а уже в июле я посетил Орловиуса.

Он одобрил принятое мной и тут же осуществленное решение, которое к тому же он сам давно советовал мне принять. Неделию спустя я пригласил его к нам обедать. Заложил угол салфетки сбоку за воротник. Принимаюсь за суп, выразил неудовольствие по поводу политических событий. Лида ветрено спросила его, будет ли война, и с кем. Он посмотрел на нее поверх очков, медля ответом (таким приблизительно он просквозил в начале этой главы), и наконец ответил:

«Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключе-  
но. Когда я молод был, я пришел на идею предполо-

жить только самое лучшее («лучшее» у него вышло чрезвычайно грустно и жирно). Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня, это — оптимизм».

«Что как раз необходимо при вашей профессии», — сказал я с улыбкой.

Он исподлобья посмотрел на меня и серьезно ответил:

«Но пессимизм дает нам клиентов».

Конец обеда был неожиданно увенчан чаем в стаканах. Лиде это почему-то казалось очень ловким и приятным. Орловиус, впрочем, был доволен. Степенно и мрачно рассказывая о своей старухе-матери, жившей в Юрьеве, он приподнимал стакан и мешал оставшийся в нем чай немецким способом, т. е. не ложкой, а круговым взбалтывающим движением кисти, дабы не пропал осевший на дно сахар.

Договор с его агентством был с моей стороны действительным, я бы сказал, полусонным и странно незначительным. Я стал о ту пору угрюм, неразговорчив, туманен. Моя ненаблюдательная жена и та заметила некоторую во мне перемену. «Ты устал, Герман. Мы в августе поедим к морю», — сказала она как-то среди ночи, — нам не спалось, было невыносимо душно, даром что окно было открыто настежь.

«Мне вообще надоела наша городская жизнь», — сказал я. Она в темноте не могла видеть мое лицо. Через минуту:

«Вот тетя Лиза, та, что жила в Иксе, — есть такой город — Икс? Правда?»

«Есть».

«...живет теперь, — продолжала она, — не в Иксе, а около Ниццы, вышла замуж за француза-старика, и у них ферма».

Зевнула.

«Мой шоколад, матушка, к черту идет», — сказал я и зевнул тоже.

«Все будет хорошо, — пробормотала Лида. — Тебе только нужно отдохнуть».

«Переменить жизнь, а не отдохнуть», — сказал я с притворным вздохом.

«Переменить жизнь», — сказала Лида.

Я спросил: «А ты бы хотела, чтобы мы жили где-нибудь в тишине, на солнце? чтобы никаких дел у меня не было? честными рантье?»

«Мне с тобой всюду хорошо, Герман. Прихватили бы Ардалиона, купили бы большого пса...»

Помолчали.

«К сожалению, мы никуда не поедem. С деньгами — швах. Мне вероятно придется шоколад ликвидировать».

Прошел запоздалый пешеход. Стук. Опять стук. Он, должно быть, ударял тростью по столбам фонарей.

«Отгадай: мое первое значит «жарко» по-французски. На мое второе сажают турка, мое третье — место, куда мы рано или поздно попадем. А целое — то, что меня разоряет».

С шелестом прокатил автомобиль.

«Ну что — не знаешь?»

Но моя дура уже спала. Я закрыл глаза, лег на бок, хотел заснуть тоже, но не удалось. Из темноты навстречу мне, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная пустая дорога: издали появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по стволам придорожных деревьев, приближался, я всматривался, и, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, — он опять растворялся, дойдя до меня, или вернее войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь тень, и опять выжидательно тянулась дорога, и появлялась вдали фигура и опять это был он. Я поворачивался на другой бок, некоторое время все было темно и спокойно, — ровная чернота; но постепенно намечалась дорога — в другую сторону, — и вот возникал перед самым моим лицом, как будто из меня выйдя, затылок человека, с заплечным мешком грушей, он медленно уменьшался, он уходил, уходил, сейчас уйдет совсем, — но вдруг, обернувшись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось все яснее, и это было мое лицо. Я ложился навзничь, и, как в темном стекле, протягивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса

неба между траурными купами деревьев, медленно шедшими вспять справа и слева, — а когда я ложился ничком, то видел под собой убитые камни дороги, движущейся как конвейер, а потом выбоину, лужу, и в луже мое, исковерканное ветровой рябью, дрожащее, тусклое лицо, — и я вдруг замечал, что глаз на нем нет.

«Глаза я всегда оставляю напоследок», — самодовольно сказал Ардалион. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, он так и этак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать меня углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня было теперь вдоволь, — я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же, в плетеном кресле, и читала книгу; полураздавленный окурочек — она никогда не добивала окурочков — с живучим упорством пускал из пепельницы вверх тонкую, прямую струю дыма; маленькое воздушное замешательство, и опять — прямо и тонко.

«Мало похоже», — сказала Лида, не отрываясь впрочем от чтения.

«Будет похоже, — возразил Ардалион. — Вот сейчас подправим эту ноздрю, и будет похоже. Сегодня свет какой-то неинтересный».

«Что неинтересно?» — спросила Лида, подняв глаза и держа палец на прерванной строке.

И еще один кусок из жизни того лета хочу предложить твоему вниманию, читатель. Прощения прошу за несвязность и пестроту рассказа, но повторяю, не я пишу, а моя память, и у нее свой нрав, свои законы. Итак, я опять в лесу около Ардалионова озера, но приехал я на этот раз один, и не в автомобиле, а сперва поездом до Кенигсдорфа, потом автобусом до желтого столба. На карте, как-то забытой Ардалионом у нас на балконе, очень ясны все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту; тогда Берлин, не уместившийся на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой карте, в юго-западном углу, продолжается черно-белым живчиком желез-

нодорожный путь, который в подразумеваемом виде идет по левому моему рукаву из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кенигсдорф, а затем черно-белая ленточка поворачивает, излучисто идет на восток, и там — новый кружок: Айхенберг. Но покамест нам незачем ехать туда, вылезаем в Кенигсдорфе. Разлучившись с железной дорогой, повернувшей на восток, тянется прямо на север, к деревне Вальдау, шоссейная дорога. Раз а три в день отходит из Кенигсдорфа автобус и идет в Вальдау (семнадцать километров), где, кстати сказать, находится центр земельного предприятия: пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов, — один например со стрелкой «К пляжу», — но еще никакого пляжа нет, а только болотце вдоль большого озера; другой с надписью «К казино», но и его нет, а есть что-то вроде скинии и зачаточный буфет; третий, наконец, приглашающий к спортивному плацу, и там действительно выстроены новые, сложные, гимнастические виселицы, которыми некому пользоваться, если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшего голову вниз с трапедии и показывающего заплату на задку; кругом же, во все стороны, участки, — некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах и роговых очках, сосредоточенно строящих хижину; кое-где даже посажены цветы, или стоит кокетливо раскрашенная будка-ретирада.

Но мы и до Вальдау не доедем, а покинем автобус на десятой версте от Кенигсдорфа, у одинокого желтого столба. Теперь обратимся опять к карте: направо, то есть на восток от шоссе, тянется большое пространство, все в точках, — это лес; в нем находится то малое озеро, по западному берегу которого, точно игральные карты веером, — дюжина участков, из коих продан только один — Ардалиону — (и то условно). Близимся к самому интересному пункту. Мы вначале упомянули о станции Айхенберг, следующей после Кенигсдорфа к востоку. И вот, спрашивается: можно ли добраться

пешком от маленького Ардалионова озера до Айхенберга? Можно. Следует обогнуть озеро с южной стороны и дальше — прямо на восток лесом. Пройдя лесом четыре километра, мы выходим на деревенскую дорогу, один конец которой ведет неважно куда, — в ненужные нам деревни, другой же приводит в Айхенберг.

Жизнь моя исковеркана, спутана, — а я тут валяю дурака с этими веселенькими описаньицами, с этим уютным множественным числом первого лица, с этим обращением к туристу, к дачнику, к любителю крошки из живописных зеленей. Но потерпи, читатель. Я недаром поведу тебя сейчас на прогулку. Эти разговоры с читателем тоже ни к чему. Апарте в театре, или красноречивый шип: «Чу! Сюда идут...»

Прогулка... Я вышел из автобуса у желтого столба. Автобус удалился, в нем остались три старухи, черных в мелкую горошинку, мужчина в бархатном жилете, с косой, обернутой в рогожу, девочка с большим пакетом и господин в пальто, с съехавшим на бок механическим галстуком, с беременным саквояжем на коленях, — вероятно ветеринар. В молочаях и хвощах были следы шин, — мы тут проезжали, прыгая на кочках, уже несколько раз с Лидой и Ардалионом. Я был в гольф-ных шароварах, или по-немецки кникербокерах. Я вошел в лес. Я остановился в том месте, где мы однажды с женой ждали Ардалиона. Я выкурил там папиросу. Я посмотрел на дымок, медленно растянувшийся, затем давший прозрачную складку и растаявший в воздухе. Я почувствовал спазм в горле. Я пошел к озеру и заметил на песке смятую черную с оранжевым бумажку (Лида нас снимала). Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток. Я вышел через час на дорогу. Я зашагал по ней и пришел еще через час в Айхенберг. Я сел в дачный поезд. Я вернулся в Берлин.

Однообразную эту прогулку я проделал несколько раз и никогда не встретил в лесу ни одной души. Глушь, тишина. Покупателей на участки у озера не было, да и все предприятие хирело. Когда мы ездили туда вдвоем, то бывали весь день совершенно одни, купаться

можно было хоть нагишом; помню, кстати, как однажды Лида, по моему требованию, все с себя сняла, и очень мило смеясь и краснея, позировала Ардалиону, который вдруг обиделся на что-то, — вероятно на собственную бездарность, — и бросил рисовать, пошел на поиски боровиков. Меня же он продолжал писать упорно, — это длилось весь август. Не справившись с честной чертой угля, он почему-то перешел на подленькую пастель. Я поставил себе некий срок: окончание портрета. Наконец запахло дюшесовой сладостью лака, портрет был обрамлен. Лида дала Ардалиону двадцать марок, — ради шику в конверте. У нас были гости, — между прочим Орловиус, — мы все стояли и глазели — на что? На розовый ужас моего лица. Не знаю, почему он придал моим щекам этот фруктовый оттенок, — они бледны как смерть. Вообще сходства не было никакого. Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза, или проблеск зубов из-под ощеренной кривой губы. Все это — на фасонистом фоне с намеками не то на геометрические фигуры, не то на виселицы. Орловиус, который был до глупости близорук, подошел к портрету вплотную и, подняв на лоб очки (почему он их носил? они ему только мешали), с полуоткрытым ртом, замер, задышал на картину, точно собирался ею питаться. «Модерный штиль», — сказал он наконец с отвращением, и, перейдя к другой картине, стал так же добросовестно рассматривать и ее, хотя это была обыкновенная литография: «Остров мертвых».

А теперь, дорогой читатель, вообразим небольшую конторскую комнату в шестом этаже безличного дома. Машинистка ушла, я один. В окне — облачное небо. На стене — календарь, огромная, чем-то похожая на бычий язык, черная девятка: девятое сентября. На столе — очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символически пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пишущая машинка открыта. Тишина. На страничке моей записной книжки — адрес. Малограмотный по-

черк. Сквозь него я вижу наклоненный восковой лоб, грязное ухо, из петлицы висит головкой вниз фиалка, с черным ногтем палец нажимает на мой серебряный карандаш.

Помнится, я стряхнул оцепенение, сунул книжку в карман, вынул ключи, собрался все запереть, уйти, — уже почти ушел, но остановился в коридоре с сильно бьющимся сердцем... уйти было невозможно... Я вернулся, я постоял у окна, глядя на противоположный дом. Там уже зажглись лампы, осветив конторские шкапы, и господин в черном, заложив одну руку за спину, ходил взад и вперед, должно быть диктуя невидимой машинистке. Он то появлялся, то исчезал, и даже раз остановился у окна, соображая что-то, и опять повернулся, диктуя, диктуя, диктуя. Неумолимый! Я включил свет, сел, сжал виски. Вдруг бешено затрещал телефон, — но оказалось: ошибка, спутали номер. И потом опять тишина, и только легкое постукивание дождя, ускорявшего наступление ночи.

## Глава IV

«Дорогой Феликс, я нашел для тебя работу. Прежде всего необходимо кое-что с глазу на глаз обсудить. Собираюсь быть по делу в Саксонии и, вот, предлагаю тебе встретиться со мной в Тарнице, — это недалеко от тебя. Отвечай незамедлительно, согласен ли ты в принципе. Тогда укажу день, час и точное место, а на дорогу пришлю тебе денег. Так как я все время в разъездах, и нет у меня постоянной квартиры, отвечай: «Ардалион» до востребования (следует адрес одного из берлинских почтамтов). До свидания, жду. (Подписи нет)».

Вот оно лежит передо мной, это письмо от девятого сентября тридцатого года, — на хорошей, голубоватой бумаге с водяным знаком в виде фрегата, — но бумага теперь смята, по углам смутные отпечатки, вероятно его пальцев. Выходит так, как будто я — получатель этого письма, а не его отправитель, — да в конце

концов так оно и должно быть: мы переменились местами.

У меня хранятся еще два письма на такой же бумаге, но все ответы уничтожены. Будь они у меня, будь у меня, например, то глупейшее письмо, которое я с рассчитанной небрежностью показал Орловиусу (после чего и оно было уничтожено), можно было бы перейти на эпистолярную форму повествования. Форма почтенная, с традициями, с крупными достижениями в прошлом. От Икса к Игреку: Дорогой Икс, — и сверху непременно дата. Письма чередуются, — это вроде мяча, летающего через сетку туда и обратно. Читатель вскоре перестает обращать внимание на дату, — и действительно — какое ему дело, написано ли письмо девятого сентября или шестнадцатого, — но эти даты нужны для поддержания иллюзии. Так Икс продолжает писать Игреку, а Игрек Иксу на протяжении многих страниц. Иногда вступает какой-нибудь посторонний Зет, — вносит и свою эпистолярную лепту, однако только ради того, чтобы растолковать читателю (не глядя, впрочем, на него, оставаясь к нему в профиль) событие, которое без ущерба для естественности или по какой другой причине ни Икс, ни Игрек не могли бы в письме разъяснить. Да и они пишут не без оглядки, — все эти «Помнишь, как тогда-то и там-то...» (следует обстоятельное воспоминание) вводятся не столько для того, чтобы освежить память корреспондента, сколько для того, чтобы дать читателю нужную справку, — так что в общем картина получается довольно комическая, — особенно, повторяю, смешны эти аккуратно выписанные и ни к черту ненужные даты, — и когда в конце вдруг протискивается Зет, чтобы написать своему личному корреспонденту (ибо в таком романе переписываются решительно все) о смерти Икса и Игрека или о благополучном их соединении, то читатель внезапно чувствует, что всему этому предпочел бы самое обыкновенное письмо от налогового инспектора. Вообще говоря, я всегда был наделен недюжинным юмором, — дар воображения связан

с ним; горе тому воображению, которому юмор не сопутствует.

Одну минуточку. Я списывал письмо, и оно куда-то исчезло.

Могу продолжать, — соскользнуло под стол.

Через неделю я получил ответ (пять раз заходил на почтамт и был очень нервен). Феликс сообщал мне, что с благодарностью принимает мое предложение. Как часто случается с полуграмотными, тон его письма совершенно не соответствовал тону его обычного разговора: в письме это был дрожащий фальцет с провалами витиеватой хрипоты, а в жизни — самодовольный басок с дидактическими низами. Я написал ему вторично, приложив десять марок и назначив ему свидание первого октября в пять часов вечера у бронзового всадника в конце бульвара, идущего влево от вокзальной площади в Тарнице. Я не помнил ни имени всадника (какой-то герцог), ни названия бульвара, но однажды, проезжая по Саксонии в автомобиле знакомого купца, застрял в Тарнице на два часа, — моему знакомому вдруг понадобилось среди пути поговорить по телефону с Дрезденом, — и вот, обладая фотографической памятью, я запомнил бульвар, статую и еще другие подробности, — это снимок небольшой, однако, знай я способ увеличить его, можно было бы прочесть, пожалуй, даже вывески, — ибо аппарат у меня превосходный.

Мое почтенное от шестнадцатого написано от руки, — я писал на почтамте, — так взволновался, получив ответ на мое почтенное от девятого, что не мог отложить до возможности настукать, — да и особых причин стесняться своих почерков (у меня их несколько) еще не было, — я знал, что в конечном счете получателем окажусь я. Отослав его, я почувствовал то, что чувствует, должно быть, полумертвый лист, пока медленно падает на поверхность воды.

Незадолго до первого октября как-то утром мы с женой проходили Тиргартеном и остановились на мостике, облокотившись на перила. В неподвижной воде

отражалась гобеленовая пышность бурной и рыжей листвы, стеклянная голубизна неба, темные очертания перил и наших склоненных лиц. Когда падал лист, то навстречу ему из тенистых глубин воды летел неотвратимый двойник. Встреча их была беззвучна. Падал кружась лист, и кружась стремилось к нему его точное отражение. Я не мог оторвать взгляда от этих неизбежных встреч. «Пойдем», — сказала Лида и вздохнула. «Осень, осень, — проговорила она погодя, — осень. Да, это осень». Она уже была в меховом пальто, пестром, леопардовом. Я влекся сзади, на ходу пронзая тростью палые листья.

«Как славно сейчас в России», — сказала она (то же самое она говорила ранней весной и в ясные зимние дни; одна летняя погода никак не действовала на ее воображение).

«...а есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб...»

«Пойдем, усталый раб. Мы должны сегодня раньше обедать».

«...замыслил я побег. Замыслил. Я. Побег. Тебе, пожалуй, было бы скучно, Лида, без Берлина, без пошлостей Ардалиона?»

«Ничего не скучно. Мне тоже страшно хочется куда-нибудь, — солнышко, волнышки. Жить да поживать. Я не понимаю, почему ты его так критикуешь».

«...давно завидная мечтается... Ах, я его не критикую. Между прочим, что делать с этим чудовищным портретом, не могу его видеть. Давно, усталый раб...»

«Смотри, Герман, верховые. Она думает, эта тетеха, что очень красива. Ну же, идем. Ты все отстаешь, как маленький. Не знаю, я его очень люблю. Моя мечта была бы его подарить денег, чтобы он мог съездить в Италию».

«...Мечта. Мечтается мне доля. В наше время бездарному художнику Италия ни к чему. Так было когда-то, давно. Давно завидная...»

«Ты какой-то сонный, Герман. Пойдем чуточку шибче, пожалуйста».

Буду совершенно откровенен. Никакой особой потребности в отдыхе я не испытывал. Но последнее время так у нас с женой завелось. Чуть только мы оставались одни, я с тупым упорством направлял разговор в сторону «обитатели чистых нег». Между тем, я с нетерпением считал дни. Отложил я свидание на первое октября, дабы дать себе время одуматься. Мне теперь кажется, что если бы я одумался и не поехал в Тарниц, то Феликс до сих пор ходил бы вокруг бронзового герцога, присаживаясь изредка на скамью, чертя палкой те земляные радуги слева направо, и справа налево, что чертит всякий, у кого есть трость и досуг, — вечная привычка наша к окружности, в которой мы все заключены. Да, так бы он сидел до сегодняшнего дня, а я бы все помнил о нем, с дикой тоской и страстью, — огромный ноющий зуб, который нечем вырвать, женщина, которой нельзя обладать, место, до которого в силу особой топографии кошмаров никак нельзя добраться.

Тридцатого вечером, накануне моей поездки, Ардалион и Лида раскладывали кабалу, а я ходил по комнатам и гляделся во все зеркала. Я в то время был еще в добрых отношениях с зеркалами. За две недели я отпустил усы, — это изменило мою наружность к худшему: над бескровным ртом топорщилась темно-рыжеватая щетина с непристойной проплешиной посредине. Было такое ощущение, что эта щетина приклеена, — а не то мне казалось, что на губе у меня сидит небольшое жесткое животное. По ночам, в полудремоте, я хватался за лицо, и моя ладонь его не узнавала. Ходил, значит, по комнатам, курил, и из всех зеркал на меня смотрела испуганно серьезными глазами наспех загримированная личность. Ардалион в синей рубашке с каким-то шотландским галстуком хлопал картами, будто в кабаке. Лида сидела к столу боком, заложив ногу на ногу, — юбка поднялась до поджилки, — и выпускала папиросный дым вверх, сильно выпятив нижнюю губу и не спуская глаз с карт на столе. Была черная ветреная ночь, каждые несколь-

ко секунд промахивал над крышами бледный луч радиобашни, — световой тик, тихое безумие прожектора. В открытое узкое окно ванной комнаты доносился из какого-то окна во дворе сдобный голос громкоговорителя. В столовой лампа освещала мой страшный портрет. Ардалион в синей рубашке хлопал картами, Лида облокотилась на стол, дымилась пепельница. Я вышел на балкон. «Закрой, дует», — раздался из столовой Лидин голос. От ветра мигали и шурились осенние звезды. Я вернулся в комнату.

«Куда наш красавец едет?» — спросил Ардалион, неизвестно к кому обращаясь.

«В Дрезден», — ответила Лида.

Они теперь играли в дураки.

«Мое почтение Сикстинской, — сказал Ардалион. — Этого, кажется, я не покрою. Этого, кажется... Так, потом так, а это я принял».

«Ему бы лечь спать, он устал, — сказала Лида. — Послушай, ты не имеешь права подсматривать, сколько осталось в колоде, — это нечестно».

«Я машинально, — сказал Ардалион. — Не сердись, голуба. А надолго он едет?»

«И эту тоже, Ардалиоша, эту тоже, пожалуйста, — ты ее не покрыл».

Так они продолжали долго, говоря то о картах, то обо мне, как будто меня не было в комнате, как будто я был тенью или бессловесным существом, — и эта их шуточная привычка, оставлявшая меня прежде равнодушным, теперь казалась мне полной значения, точно я и вправду присутствую только в качестве отражения, а тело мое — далеко.

На другой день, около четырех, я вышел в Тарнице. У меня был с собой небольшой чемодан, он стеснял свободу передвижения, — я принадлежу к породе тех мужчин, которые ненавидят нести что-либо в руках: щеголяя дорогими кожаными перчатками, люблю на ходу свободно размахивать руками и топырить пальцы, — такая у меня манера, и шагаю я ладно, выбрасывая ноги носками врозь, — не по росту моему

маленькие, в идеально чистой и блестящей обуви, в мышинных гетрах, — гетры то же, что перчатки, — они придают мужчине добротное изящество, сродное особому каше дорожных принадлежностей высокого качества, — я обожаю магазины, где продаются чемоданы, их хруст и запах, девственность свиной кожи под чехлом, — но я отвлекся, я отвлекся, — я может быть хочу отвлечься — но все равно, дальше, — я, значит, решил оставить сначала чемодан в гостинице: в какой гостинице? Пересек, пересек площадь, озираясь, не только с целью найти гостиницу, а еще стараясь площадь узнать, — ведь я проезжал тут, вон там бульвар и почтамт... Но я не успел дать памяти поупражняться, — в глазах мелькнула вывеска гостиницы, — по бокам двери стояло по два лавровых деревца в кадках, — этот посул роскоши был обманчив, входившего сразу ошеломляла кухонная вонь, двое усатых простаков пили пиво у стойки, старый лакей, сидя на корточках и виляя концом салфетки, зажатой под мышкой, валял пузатого белого щенка, который вилял хвостом тоже. Я спросил комнату, предупредил, что у меня будет, может быть, ночевать брат, мне отвели довольно просторный номер с четой кроватей, с графином мертвой воды на круглом столе, как в аптеке. Лакей ушел, я остался в комнате один, звенело в ушах, я испытывал странное удивление. Двойник мой, вероятно, уже в том же городе, что я, ждет уже, может быть. Я здесь представлен в двух лицах. Если бы не усы и разница в одежде, служащие гостиницы — ...А может быть (продолжал я думать, соскакивая с мысли на мысль) он изменился и больше не похож на меня, и я понапрасну сюда приехал. «Дай Бог», — сказал я с силой, — и сам не понял, почему я это сказал, — ведь сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение, — почему же я упомянул имя небытного Бога, почему вспыхнула во мне дурацкая надежда, что мое отражение исковеркано? Я подошел к окну, выглянул, — там был глухой двор, и с круглой спиной татарин в тюбетейке показывал босоногой жен-

щине синий коврик. Женщину я знал, и татарина знал тоже, и знал эти лопухи, собравшиеся в одном углу двора, и воронку пыли, и мягкий напор ветра, и бледное, селедочное небо; в эту минуту постучали, вошла горничная с постельным бельем, и когда я опять посмотрел на двор, это уже был не татарин, а какой-то местный оборванец, продающий подтяжки, женщины же вообще не было — но пока я смотрел, опять стало все соединяться, строиться, составлять определенное воспоминание, — вырастали, теснясь, лопухи в углу двора, и рыжая Христина Форсман щупала коврик, и летел песок, — и я не мог понять, где ядро, вокруг которого все это образовалось, что именно послужило толчком, зачатием, — и вдруг я посмотрел на графин с мертвой водой, и он сказал «тепло», — как в игре, когда прячут предмет, — и я бы вероятно нашел в конце концов тот пустяк, который, бессознательно замеченный мной, мгновенно пустил в ход машину памяти, а может быть и не нашел бы, а просто все в этом номере провинциальной немецкой гостиницы, — и даже вид в окне, — было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно, — тут, однако, я спохватился, что пора идти на свидание, и, натягивая перчатки, поспешно вышел. Я свернул на бульвар, миновал почтамт. Дул ветер, и наискось через улицу летели листья. Несмотря на мое нетерпение, я, с обычной наблюдательностью, замечал лица прохожих, вагоны трамвая, казавшиеся после Берлина игрушечными, лавки, исполинский цилиндр, нарисованный на облупившейся стене, вывески, фамилию над булочной, Карл Шпис, — напомнившую мне некоего Карла Шписа, которого я знал в волжском поселке и который тоже торговал булками. Наконец в глубине бульвара встал на дыбы бронзовый конь, опираясь на хвост, как дятел, и, если б герцог на нем энергичнее протягивал руку, то при тусклом вечернем свете памятник мог бы сойти за петербургского всадника. На одной из скамеек сидел старик и поедал из бумажного мешочка виноград; на другой расположи-

лись две пожилые дамы; старуха огромной величины полулежала в колясочке для калек и слушала их разговор, глядя на них круглым глазом. Я дважды, трижды обошел памятник, отметив придавленную попытом змею, латинскую надпись, ботфорту с черной звездой шпоры. Змеи, впрочем, никакой не было, это мне почудилось. Затем я присел на пустую скамью, — их было всего полдюжины, — и посмотрел на часы. Три минуты шестого. По газону прыгали воробьи. На вычурной изогнутой клумбе цвели самые гнусные в мире цветы — астры. Прошло минут десять. Такое волнение, что ждать в сидячем положении не мог. Кроме того, вышли все папиросы, курить хотелось до бешенства. Свернув с бульвара на боковую улицу мимо черной кирпичи с претензиями на старину, я нашел табачную лавку, вошел, автоматический звонок продолжал зудеть, — я не прикрыл двери, — «будьте добры», — сказала женщина в очках за прилавком, — вернулся, захлопнул дверь. Над ней был натюрморт Ардалиона: трубка на зеленом сукне и две розы.

«Как это к вам...?» — спросил я со смехом. Она не сразу поняла, а поняв ответила:

«Это сделала моя племянница. Недавно умерла».

Что за дичь, — подумал я. — Ведь нечто очень похожее, если не точь-в-точь такое, я видел у него, — что за дичь...

«Ладно, ладно, — сказал я вслух. — Дайте мне...» — назвал сорт, который курю, заплатил и вышел.

Двадцать минут шестого.

Не смея еще вернуться на урочное место, давая еще время судьбе переменить программу, еще ничего не чувствуя, ни досады, ни облегчения, я довольно долго шел по улице, удаляясь от памятника, — и все оставался, пытаюсь закурить, — ветер вырывал у меня огонь, наконец я забился в подъезд, надул ветер, — какой каламбур! И стоя в подъезде, и смотря на двух девочек, игравших возле, по очереди бросавших стеклянный шарик с радужной искрой внутри, а то — на корточках — подвигавших его пальцем, а то

еще — сжимавших его между носками и подпрыгивавших, — все для того, чтобы он попал в лунку, выдавленную в земле под березой с раздвоенным стволом, — смотря на эту сосредоточенную, безмолвную, кропотливую игру, я почему-то подумал, что Феликс придти не может по той простой причине, что я сам выдумал его, что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, масок, — и что мое присутствие здесь, в этом захолустном городке, нелепо и даже чудовищно.

Вспоминаю теперь оный городок, — и вот я в странном смущении: приводить ли еще примеры тех его подробностей, которые неприятнейшим образом перекликались с подробностями, где-то и когда-то виденными мной? Мне даже кажется, что он был построен из каких-то отбросов моего прошлого, ибо я находил в нем вещи, совершенно замечательные по жуткой и необъяснимой близости ко мне: приземистый бледно-голубой домишко, двойник которого я видел на Охте, лавку старьевщика, где висели костюмы знакомых мне покойников, тот же номер фонаря (всегда замечаю номера фонарей), как на стоявшем перед домом, где я жил в Москве, и рядом с ним — такая же голая береза, в таком же чугунном корсете и с тем же раздвоением ствола (поэтому я и посмотрел на номер). Можно было бы привести еще много примеров — иные из них такие тонкие, такие — я бы сказал — отвлеченно личные, что читателю — о котором я, как нянька, забочусь — они были бы непонятны. Да и кроме того я не совсем уверен в исключительности сих явлений. Всякому человеку, одаренному повышенной приметливостью, знакомы эти анонимные пересказы из его прошлого, эти будто бы невинные сочетания деталей, мерзко отдающие плагиатом. Оставим их на совести судьбы и вернемся, с замиранием сердца, с тоской и неохотой, к памятнику в конце бульвара.

Старик доел виноград и ушел, женщину, умиравшую от водянки, укатали, — никого не было, кроме одного человека, который сидел как раз на той скамей-

ке, где я сам давеча сидел, и, слегка подавшись вперед, расставив колени, кормил крошками воробьев. Его палка, небрежно прислоненная к сидению скамьи, медленно пришла в движение в тот миг, как я ее заметил, — она поехала и упала на гравий. Воробьи вспорхнули, описали дугу, разместились на окрестных кустах. Я почувствовал, что человек обернулся ко мне...

Да, читатель, ты не ошибся.

## Глава V

Глядя в землю, я левой рукой пожал его правую руку, одновременно поднял его упавшую палку и сел рядом с ним на скамью.

«Ты опоздал», — сказал я, не глядя на него.

Он засмеялся. Все еще не глядя, я расстегнул пальто, снял шляпу, провел ладонью по голове, — мне почему-то стало жарко.

«Я вас сразу узнал», — сказал он льстивым, глупо-заговорщичьим тоном.

Теперь я смотрел на палку, оказавшуюся у меня в руках: это была толстая, загоревшая палка, липовая, с глазком в одном месте и со тщательно выжженным именем владельца — Феликс такой-то, — а под этим — год и название деревни. Я отложил ее, подумав мельком, что он, мошенник, пришел пешком.

Решившись наконец, я повернулся к нему. Но посмотрел на его лицо не сразу; я начал с ног, как бывает в кинематографе, когда форсит оператор. Сперва: пыльные башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затем — лоснящиеся синие штаны (тогда были плисовые, — вероятно, сгнили) и рука, держащая сухой хлебец. Затем — синий пиджак и под ним вязаный жилет дикого цвета. Еще выше — знакомый воротничок, теперь сравнительно чистый. Тут я остановился. Оставить его без головы, или продолжать его строить? Прикрывшись рукой, я сквозь пальцы посмотрел на его лицо.

На мгновение мне подумалось, что все прежнее было обманом, галлюцинацией, что никакой он не двойник мой, этот дурень, поднявший брови, выжидательно осклабившийся, еще не совсем знавший, какое выражение принять, — отсюда: на всякий случай поднятые брови. На мгновение, говорю я, он мне показался так же на меня похожим, как был бы похож первый встречный. Но вернулись успокоившиеся воробьи, один запрыгал совсем близко, и это отвлекло его внимание, черты его встали по своим местам, и я вновь увидел чудо, явившееся мне пять месяцев тому назад.

Он кинул воробьям горсть крошек. Один из них суетливо клюнул, крошка подскочила, ее схватил другой и улетел. Феликс опять повернулся ко мне с выражением ожидания и готовности.

«Вон тому не попало», — сказал я, указав пальцем на воробья, который стоял в сторонке, беспомощно хлопая клювом.

«Молод, — заметил Феликс. — Видите, еще хвоста почти нет. Люблю птичек», — добавил он с приторной ужимкой.

«Ты на войне побывал?» — спросил я и несколько раз сряду прочистил горло, — голос был хриплый.

«Да, — ответил он, — а что?»

«Так, ничего. Здорово боялся, что убьют, — правда?»

Он подмигнул и проговорил загадочно:

«У всякой мыши — свой дом, но не всякая мышь выходит оттуда».

Я уже успел заметить, что он любит пошлые прибаутки, в рифму; не стоило ломать себе голову над тем, какую собственно мысль он желал выразить.

«Все. Больше нету, — обратился он вскользь к воробьям. — Белок тоже люблю (опять подмигнул). Хорошо, когда в лесу много белок. Я люблю их за то, что они против помещиков. Вот кроты — тоже».

«А воробьи? — спросил я ласково. — Они как — против?»

«Воробей среди птиц нищий, — самый что ни на есть нищий. Нищий», — повторил он еще раз. Он видимо считал себя необыкновенно рассудительным

и сметливым парнем. Впрочем, он был не просто дурак, а дурак-меланхолик. Улыбка у него выходила скучная, — противно было смотреть. И все же я смотрел с жадностью. Меня весьма занимало, как наше диковинное сходство нарушалось его случайными ужимками. Доживи он до старости, — подумал я, — сходство совсем пропадет, а сейчас оно в полном расцвете.

Герман (игриво): «Ты, я вижу, философ».

Он как будто слегка обиделся. «Философия — выдумка богачей, — возразил он с глубоким убеждением. — И вообще, все это пустые выдумки: религия, поэзия... Ах, девушка, как я страдаю, ах, мое бедное сердце... Я в любовь не верю. Вот дружба — другое дело. Дружба и музыка».

«Знаете что, — вдруг обратился он ко мне с некоторым жаром, — я бы хотел иметь друга, — верного друга, который всегда был бы готов поделиться со мной куском хлеба, а по завещанию оставил бы мне немного земли, домишко. Да, я хотел бы настоящего друга, — я служил бы у него в садовниках, а потом его сад стал бы моим, и я бы всегда поминал покойника со слезами благодарности. А еще — мы бы с ним играли на скрипках, или там он на дудке, я на мандолине. А женщины... Ну скажите, разве есть жена, которая бы не изменяла мужу?»

«Очень все это правильно. Очень правильно. С тобой приятно говорить. Ты в школе учился?»

«Недолго. Чему в школе научишься? Ничему. Если человек умный, на что ему учение? Главное — природа. А политика, например, меня не интересует. И вообще мир это, знаете, дерьмо».

«Заключение безукоризненно правильное, — сказал я. — Да, безукоризненно. Прямо удивляюсь. Вот что, умник, отдай-ка мне моментально мой карандаш!»

Этим я его здорово осадил и привел в нужное мне настроение.

«Вы забыли на траве, — пробормотал он растерянно. — Я не знал, увижу ли вас опять...»

«Украл и продал!» — крикнул я, даже притопнул.

Ответ его был замечателен: сперва мотнул головой, что значило «Не крал», и тотчас кивнул, что значило «Продал». В нем, мне кажется, был собран весь букет человеческой глупости.

«Черт с тобою, — сказал я, — в другой раз будь осмотнительнее. Уж ладно. Бери папиросу».

Он размяк, просиял, видя, что я не сержусь; принялся благодарить: «Спасибо, спасибо... Действительно, как мы с вами похожи, как похожи... Можно подумать, что мой отец согрешил с вашей матушкой!» — Подобострастно засмеялся, чрезвычайно довольный своею шуткой.

«К делу, — сказал я, притворившись вдруг очень серьезным. — Я пригласил тебя сюда не для одних отвлеченных разговорчиков, как бы они ни были приятны. Я тебе писал о помощи, которую собираюсь тебе оказать, о работе, которую нашел для тебя. Прежде всего, однако, хочу тебе задать вопрос. Ответь мне на него точно и правдиво. Кто я таков, по твоему мнению?»

Феликс осмотрел меня, отвернулся, пожал плечом.

«Я тебе не загадку задаю, — продолжал я терпеливо. — Я отлично понимаю, что ты не можешь знать, кто я в действительности. Отстраним на всякий случай возможность, о которой ты так остроумно упомянул. Кровь, Феликс, у нас разная, — разная, голубчик, разная. Я родился в тысяче верстах от твоей колыбели, и честь моих родителей, как — надеюсь — и твоих, безупречна. Ты единственный сын, я — тоже. Так что ни ко мне, ни к тебе никак не может явиться этакий таинственный брат, которого, мол, ребенком украли цыгане. Нас не связывают никакие узы, у меня по отношению к тебе нет никаких обязательств, — заруби это себе на носу, — никаких обязательств, — все, что собираюсь сделать для тебя, сделаю по доброй воле. Запомни все это, пожалуйста. Теперь я тебя снова спрашиваю, кто я таков, по твоему мнению, чем я представляюсь тебе, — ведь какое-нибудь мнение ты обо мне составил, — не правда ли?»

«Вы, может быть, артист», — сказал Феликс неуверенно.

«Если я правильно понял тебя, дружок, ты значит, при первом нашем свидании, так примерно подумал: Э, да он, вероятно, играет в театре, человек с норовом, чудака и франт; может быть знаменитость. Так, значит?»

Феликс уставился на свой башмак, которым трамбовал гравий, и лицо его приняло несколько напряженное выражение.

«Я ничего не подумал, — проговорил он кисло. — Просто вижу: господин интересуется, ну и так далее. А хорошо платят вам-то, артистам?»

Примечаньице: мысль, которую он подал мне, показалась мне гибкой, — я решил ее испытать. Она любопытнейшей излучиной соприкасалась с главным моим планом.

«Ты угадал, — воскликнул я, — ты угадал. Да, я актер. Точнее — фильмный актер. Да, это верно. Ты хорошо, ты великолепно это сказал. Ну, дальше. Что еще можешь сказать обо мне?»

Тут я заметил, что он как-то приуныл. Моя профессия точно его разочаровала. Он сидел насупившись, держа дымившийся окурочек между большим пальцем и указательным. Вдруг он поднял голову, прищурился...

«А какую вы мне работу хотите предложить?» — спросил он без прежней заискивающей нежности.

«Погоди, погоди. Все в свое время. Я тебя спрашивал, — что ты еще обо мне думаешь, — ну-с, пожалуйста».

«Почем я знаю? — Вы любите разъезжать, — вот это я знаю, — а больше не знаю ничего».

Между тем за вечерело, воробы исчезли давно, всадник потемнел и как-то разросся. Из-за траурного дерева бесшумно появилась луна, — мрачная, жирная. Облако мимоходом надело на нее маску; остался виден только ее полный подбородок.

«Вот что, Феликс, тут темно и неудобно. Ты, пожалуйста, голоден. Пойдем, закусим где-нибудь и за кружкой пива продолжим наш разговор. Ладно?»

«Ладно», — отозвался он, слегка оживившись и глубокомысленно присовокупил: «Пустому желудку одно только и можно сказать» — (перевожу дословно, — по-немецки все это у него выходило в рифмочку).

Мы встали и направились к желтым огням бульвара. Теперь, в надвигающейся тьме, я нашего сходства почти не ощущал. Феликс шагал рядом со мной, словно в каком-то раздумье, — походка у него была такая же тупая, как он сам.

Я спросил: «Ты здесь в Тарнице еще никогда не бывал?»

«Нет, — ответил он. — Городов не люблю. В городе нашему брату скучно».

Вывеска трактира. В окне бочонок, а по сторонам два бородатых карла. Ну, хотя бы сюда. Мы вошли и заняли стол в глубине. Стягивая с растопыренной руки перчатку, я зорким взглядом окинул присутствующих. Было их, впрочем, всего трое, и они не обратили на нас никакого внимания. Подошел лакей, бледный человечек в пенсне (я не в первый раз видел лакея в пенсне, но не мог вспомнить, где мне уже такой попался). Ожидая заказа, он посмотрел на меня, потом на Феликса. Конечно, из-за моих усов сходство не так бросалось в глаза, — я и отпустил их, собственно, для того, чтобы, появляясь с Феликсом вместе, не возбуждать чересчур внимания. Кажется у Паскаля встречается где-то умная фраза о том, что двое похожих друг на друга людей особого интереса в отдельности не представляют, но коль скоро появляются вместе — сенсация. Паскаля самого я не читал и не помню, где слямзил это изречение. В юности я увлекался такими штучками. Беда только в том, что иной прикарманенной мыслью щеголял не я один. Как-то в Петербурге, будучи в гостях, я сказал: «Есть чувства, как говорил Тургенев, которые может выразить одна только музыка». Через несколько минут явился еще гость и среди разговора вдруг разрешился тою же сентенцией. Не я, конечно, а он, оказался в дураках, но мне вчуже стало неловко, и я решил больше не мудрить. Все это —

отступление, отступление в литературном смысле разумеется, отнюдь не в военном. Я ничего не боюсь, все расскажу. Нужно признать: восхитительно владею не только собой, но и слогом. Сколько романов я написал в молодости, так, между делом, и без малейшего намерения их опубликовать. Еще изречение: опубликованный манускрипт, как говорил Свифт, становится похож на публичную женщину. Однажды, еще в России, я дал Лиде прочесть одну вещицу в рукописи, сказав, что сочинил знакомый, — Лида нашла, что скучно, не дочитала, — моего почерка она до сих пор не знает, — у меня ровным счетом двадцать пять почерков, — лучшие из них, то есть те, которые я охотнее всего употребляю, суть следующее: круглявый: с приятными сдобными утолщениями, каждое слово — прямо их кондитерской; засим: наклонный, востренький — даже не почерк, а почерчонок, — такой мелкий, ветреный, — с сокращениями и без твердых знаков; и наконец — почерк, который я особенно ценю: крупный, четкий, твердый и совершенно безличный, словно пишет им абстрактная, в схематической манжете, рука, изображаемая в учебниках физики и на указательных столбах. Я начал было именно этим почерком писать предлагаемую читателю повесть, но вскоре сбился, — повесть эта написана всеми двадцатью пятью почерками, вперемешку, так что наборщики или неизвестная мне машинистка, или, наконец, тот определенный, выбранный мной человек, тот русский писатель, которому я мою рукопись доставлю, когда подойдет срок, подумают, быть может, что писало мою повесть несколько человек, — а также весьма возможно, что какой-нибудь крысоподобный эксперт с хитрым личиком усмотрит в этой какографической роскоши признак ненормальности. Тем лучше.

Вот я упомянул о тебе, мой первый читатель, о тебе, известный автор психологических романов, — я их просматривал, — они очень искусственны, но неплохо скроены. Что ты почувствуешь, читатель-автор, когда приступишь к этой рукописи? Восхищение? Зависть?

Или даже — почем знать? — воспользовавшись моей бессрочной отлучкой, выдашь мое за свое, за плод собственной изощренной, не спорю, изощренной и опытной, — фантазии, и я останусь на бобах? Мне было бы нетрудно принять наперед меры против такого наглого похищения. Приму ли их, — это другой вопрос. Мне, может быть, даже лестно, что ты украдешь мою вещь. Кража — лучший комплимент, который можно сделать вещи. И, знаешь, что самое забавное? Ведь, решившись на приятное для меня воровство, ты исключишь как раз вот эти компрометирующие тебя строки, — да и кроме того кое-что перелицуешь по-своему (это уже менее приятно), как автомобильный вор красит в другой цвет машину, которую угнал. И по этому поводу позволю себе рассказать маленькую историю, самую смешную историю, какую я вообще знаю:

Недели полторы тому назад, т. е. около десятого марта тридцать первого года, неким человеком (или людьми), проходившим (или проходившими) по шоссе, а не то лесом (вероятно — еще выяснится), был обнаружен у самой опушки и незаконно присвоен небольшой синий автомобиль такой-то марки, такой-то силы (технические подробности опускаю). Вот, собственно говоря, и все.

Я не утверждаю, что всякому будет смешон этот анекдот: соль его не очевидна. Меня он рассмешил — до слез — только потому, что я знаю подоплеку. Добавлю, что я его ни от кого не слышал, нигде не вычитал, а строго логически вывел из факта исчезновения автомобиля, факта совершенно превратно истолкованного газетами. Назад, рычаг времени!

«Ты умеешь править автомобилем?» — вдруг спросил я, помнится, Феликса, когда лакей, ничего не заметив в нас особенного, поставил перед нами две кружки пива, и Феликс жадно окунул губу в пышную пену.

«Что?» — переспросил он, сладостно крикнув.

«Я спрашиваю: ты умеешь править автомобилем?»

«А как же, — ответил он самодовольно. — У меня был приятель шофер, — служил у одного нашего

помещика. Мы с ним однажды раздавили свинью. Как она визжала...»

Лакей принес какое-то рагу в большом количестве и картофельное пюре. Где я уже видел пенсне на носу у лакея? Вспомнил только сейчас, когда пишу это: в паршивом русском ресторанчике, в Берлине, — и тот лакей был похож на этого, — такой же маленький, унылый, белобрысый.

«Ну вот, Феликс, мы попили, мы поели, будем теперь говорить. Ты сделал кое-какие предположения на мой счет, и предположения верные. Прежде, чем приступить вплотную к нашему делу, я хочу нарисовать тебе в общих чертах мой облик, мою жизнь, — ты скоро поймешь, почему это необходимо. Итак...»

Я отпил пива и продолжал:

«Итак, родился я в богатой семье. У нас был дом и сад, — ах, какой сад, Феликс! Представь себе розовую чащобу, целые заросли роз, розы всех сортов, каждый сорт с дощечкой, и на дощечке — название: названия розам дают такие же звонкие, как скаковым лошадям. Кроме роз, росло в нашем саду множество других цветов, — и когда по утрам все это бывало обрызгано росой, зрелище, Феликс, получалось сказочное. Мальчиком я уже любил и умел ухаживать за нашим садом, у меня была маленькая лейка, Феликс, и маленькая мотыга, и родители мои сидели в тени старой черешни, посаженной еще дедом, и глядели с умилением, как я, маленький и деловитый, — вообрази, вообрази эту картину, — снимаю с роз и давлю гусениц, похожих на сучки. Было у нас всякое домашнее зверье, как например, кролики, — самое овальное животное, если понимаешь, что хочу сказать, — и сердитые сангвиники-индюки, и прелестные козочки, и так далее, и так далее. Потом родители мои разорились, померли, чудный сад исчез, как сон, — и вот только теперь счастье как будто блеснуло опять. Мне удалось недавно приобрести клочок земли на берегу озера, и там будет разбит новый сад, еще лучше старого. Моя молодость вся насквозь пролагоухала тьмою цветов, окружав-

шей ее, а соседний лес, густой и дремучий, наложил на мою душу тень романтической меланхолии. Я всегда был одинок, Феликс, одинок я и сейчас. Женщины... — Но что говорить об этих изменчивых, развратных существах... Я много путешествовал, люблю, как и ты, бродить с котомкой, — хотя, конечно, в силу некоторых причин, которые всецело осуждаю, мои скитания приятнее твоих. Философствовать не люблю, но все же следует признать, что мир устроен несправедливо. Удивительная вещь, — задумывался ли ты когда-нибудь над этим? — что двое людей, одинаково бедных, живут неодинаково, один, скажем, как ты, откровенно и безнадежно нищенствует, а другой, такой же бедняк, ведет совсем иной образ жизни, — прилично одет, беспечен, сыт, вращается среди богатых сельчаков, — почему это так? А потому, Феликс, что принадлежат они к разным классам, — и если уже мы заговорили о классах, то представь себе одного человека, который зайцем едет в четвертом классе, и другого, который зайцем едет в первом: одному твердо, другому мягко, а между тем у обоих кошельки пуст, — вернее, у одного есть кошелек, хоть и пустой, а у другого и этого нет, — просто дырявая подкладка. Говорю так, чтобы ты осмыслил разницу между нами: я актер, живущий в общем на фуфу, но у меня всегда есть резиновые надежды на будущее, которые можно без конца растягивать, — у тебя же и этого нет, — ты всегда бы остался нищим, если бы не чудо, это чудо — наша встреча.

Нет такой вещи, Феликс, которую нельзя было бы эксплуатировать. Скажу более: нет такой вещи, которую нельзя было бы эксплуатировать очень долго и очень успешно. Тебе снилась, может быть, в самых твоих заносчивых снах двузначная цифра — это предел твоих мечтаний. Ныне же речь идет сразу, с места в карьер, о цифрах трехзначных, — это конечно нелегко охватить воображением, ведь и десятка была уже для тебя едва мыслимой бесконечностью, а теперь мы как бы зашли за угол бесконечности, — и там сияет

сотенка, а за нею другая, — и как знать, Феликс, может быть зреет и еще один, четвертый, знак, — кружится голова, страшно, щекотно, — но это так, это так. Вот видишь, ты до такой степени привык к своей убогой судьбе, что сейчас едва ли улавливаешь мою мысль, — моя речь тебе кажется непонятной, странной; то, что впереди, покажется тебе еще непонятнее и страннее».

Я долго говорил в этом духе. Он глядел на меня с опаской: ему, пожалуй, начинало сдаваться, что я издеваюсь над ним. Такие как он молодцы добродушны только до некоторого предела. Как только впадает им на мысль, что их собираются околпачить, вся доброта с них слетает, взгляд принимает неприятно-стеклянный оттенок, их начинает разбирать тяжелая, прочная ярость. Я говорил темно, но не задавался целью его взбесить, напротив, мне хотелось расположить его к себе, — озадачить, но вместе с тем привлечь; смутно, но все же убедительно, внушить ему образ человека, во многом сходного с ним, — однако фантазия моя разыгралась, и разыгралась нехорошо, увесисто, как пожилая, но все еще кокетливая дама, выпившая лишнее. Оценив впечатление, которое на него произвожу, я на минуту остановился, пожалел было, что его напугал, но тут же ощутил некоторую усладу от умения моего заставлять слушателя чувствовать себя плохо. Я улыбнулся и продолжал примерно так:

«Ты прости меня, Феликс, я разболтался, — но мне редко приходится отводить душу. Кроме того, я очень спешу показать себя со всех сторон, дабы ты имел полное представление о человеке, с которым тебе придется работать, — тем более, что самая эта работа будет прямым использованием нашего с тобою сходства. Скажи мне, знаешь ли ты, что такое дублер?»

Он покачал головою, губа отвисла, я давно заметил, что он дышит все больше ртом, нос был у него, что ли, заложен.

«Не знаешь, — так я тебе объясню. Представь себе, что директор кинематографической фирмы, — ты в кинематографе бывал?»

«Бывал».

«Ну вот, — представь себе, значит, такого директора... Виноват, ты, дружок, что-то хочешь сказать?»

«Бывал, но редко. Уж если тратить деньги, так на что-нибудь получше».

«Согласен, но не все рассуждают, как ты, — иначе не было бы и ремесла такого, как мое, — не правда ли? Итак, мой директор предложил мне за небольшую сумму, что-то около десяти тысяч, — это конечно пустяк, фуфу, но больше не дают, — сниматься в фильме, где герой — музыкант. Я кстати сам обожаю музыку, играю на нескольких инструментах. Бывало, летним вечерком беру свою скрипку, иду в ближний лесок... Ну так вот. Дублер, Феликс, это лицо, могущее в случае надобности заменить данного актера.

Актер играет, его снимает аппарат, осталось доснять пустяковую сценку, — скажем, герой должен проехать на автомобиле, — а тут возьми он, да и заболей, — а время не терпит. Тут-то и вступает в свою должность дублер, — проезжает на этом самом автомобиле, — ведь ты умеешь управлять, — и когда зритель смотрит фильму, ему и в голову не приходит, что произошла замена. Чем сходство совершеннее, тем оно дороже ценится. Есть даже особые организации, занимающиеся тем, что знаменитостям подыскивают двойников. И жизнь двойника прекрасна, — он получает определенное жалование, а работать приходится ему только изредка, — да и какая это работа, — оденется точь-в-точь как одет герой и вместо героя промелькнет на нарядной машине, — вот и все. Разумеется, болтать о своей службе он не должен; ведь какого получится, если конкурент или какой-нибудь журналист проникнет в подлог, и публика узнает, что ее любимца в одном месте подменили. Ты понимаешь теперь, почему я пришел в такой восторг, в такое волнение, когда нашел в тебе точную копию своего лица. Я всегда мечтал об этом. Подумай, как важно для меня — особенно сейчас, когда производятся съемки, и я, человек хрупкого здоровья, исполняю главную роль. В случае чего тебя сразу вызывают, ты являешься...»

«Никто меня не вызывает, и никуда я не являюсь», — перебил меня Феликс.

«Почему ты так говоришь, голубчик?» — спросил я с ласковой укоризной.

«Потому, — ответил Феликс, — что нехорошо с вашей стороны морочить бедного человека. Я вам поверил. Я думал, вы мне предложите честную работу. Я притащился сюда издалека. У меня подметки — смотрите, в каком виде... А вместо работы... — Нет, это мне не подходит».

«Тут недоразумение, — сказал я мягко. — Ничего унижительного или чрезмерно тяжелого я не предлагаю тебе. Мы заключим договор. Ты будешь получать от меня сто марок ежемесячно. Работа, повторяю, до смешного легкая, — прямо детская, — вот как дети переодеваются и изображают солдат, привидения, авиаторов. Подумай, ведь ты будешь получать сто марок в месяц только за то, чтобы изредка, — может быть раз в году, — надеть вот такой костюм, как сейчас на мне. Давай, знаешь, вот что сделаем: условимся встретиться как-нибудь и прорепетировать какую-нибудь сценку, — посмотрим, что из этого выйдет».

«Ничего о таких вещах я не слышал и не знаю, — довольно грубо возразил Феликс. — У тетки моей был сын, который паясничал на ярмарках, — вот все, что я знаю, — был он пьяница и развратник, и тетка моя все глаза из-за него выплакала, пока он, слава Богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей. Эти кинематографы да цирки...»

Так ли все это было? Верно ли следую моей памяти, или же, выбившись из строя, своевольно пляшет мое перо? Что-то уж слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застеночные беседы в бутафорских кабаках имени Достоевского; еще немного, и появится «сударь», даже в квадрате: «сударь-с», — знакомый взволнованный говорок; «и уже непременно, непременно...», а там и весь мистический гарнир нашего отечественного Пинкертона. Меня даже некоторым образом мучит, то есть даже не мучит, а совсем, совсем сбивает

с толку и, пожалуй, губит меня мысль, что я как-то слишком понадеялся на свое перо... Узнаете тон этой фразы? Вот именно. И еще мне кажется, что разговор-то наш помню превосходно, со всеми его оттенками, и всю его подноготную (вот опять, — любимое словцо нашего специалиста по душевным лихорадкам и аберрациям человеческого достоинства, — «подноготная» и еще, пожалуй, курсивом). Да, помню этот разговор, но передать его в точности не могу, что-то мешает мне, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, — от чего я не могу отвязаться, прилипло, все равно как если в потемках нарваться на мухоморную бумагу, — и, главное, не знаешь, где зажигается свет. Нет, разговор наш был не таков, каким он изложен, — то есть может быть слова-то и были именно такие (вот опять), но не удалось мне, или не посмел я, передать особые шумы, сопровождавшие его, — были какие-то провалы и удаления звуков, и затем снова бормотание и шушукание, и вдруг деревянный голос, ясно выговаривающий: «Давай, Феликс, выпьем еще пивца». Узор коричневых цветов на обоях, какая-то надпись, обиженно объясняющая, что кабак не отвечает за пропажу вещей, картонные круги, служащие базой для пива, на одном из которых был косо начертан карандашом торопливый итог, и отдаленная стойка, подле которой пил, свив ноги черным кренделем, окруженный дымом человек, — все это было комментариями к нашей беседе, столь же бессмысленными, впрочем, как пометки на полях Лидиных паскудных книг. Если бы те трое, которые сидели у завешенного пыльно-кроватьной портьерой окна, далеко от нас, если бы они обернулись и на нас посмотрели — эти трое тихих и печальных бражников, — то они бы увидели: брата благополучного и брата-неудачника, брата с усиками над губой и блеском на волосах, и брата бритого, но не стриженного давно, с подобием гривки на худой шее, сидевших друг против друга, положивших локти на стол и одинаково подперших скулы. Такими нас отражало тусклое, слегка, по-видимому, ненормальное, зеркало,

с кривизной, с безуминкой, которое, вероятно, сразу бы треснуло, отразись в нем хоть одно подлинное человеческое лицо. Так мы сидели, и я продолжал уговорчиво бормотать, — говорю я вообще с трудом, те речи, которые как будто дословно привожу, вовсе не текли так плавно, как текут они теперь на бумагу, — да и нельзя начертательно передать мое косноязычие, повторение слов, спотыкание, глупое положение придаточных предложений, заплутавших, потерявших матку, и все те лишние нечленораздельные звуки, которые дают словам подпорку или лазейку. Но мысль моя работала так стройно, шла к цели такой мерной и твердой поступью, что впечатление, сохраненное мной от хода собственных слов, не является чем-то путаным и сбивчивым, — напротив. Цель, однако, была еще далеко; сопротивление Феликса, сопротивление ограниченного и боязливого человека, следовало как-нибудь сломить. Соблазнившись изящной естественностью темы, я упустил из виду, что эта тема может ему не понравиться, отпугнуть его так же естественно, как меня она привлекла. Не то, чтоб я имел хоть малейшее касательство к сцене, — единственный раз, когда я выступал, было лет двадцать тому назад, ставился домашний спектакль в усадьбе помещика, у которого служил мой отец, и я должен был сказать всего несколько слов: «Его сиятельство велели доложить, что сейчас будут-с... Да вот и они сами идут», — вместо чего я с каким-то тончайшим наслаждением, ликуя и дрожа всем телом, сказал так: «Его сиятельство прийти не могут-с, они зарезались бритвой», — а между тем любитель-актер, игравший князя, уже выходил, в белых штанах, с улыбкой на радужном от грима лице, — и все повисло, ход мира был мгновенно пресечен, и я до сих пор помню, как глубоко я вдохнул этот дивный, грозовой озон чудовищных катастроф. Но хотя я актером в узком смысле слова никогда не был, я все же в жизни всегда носил с собой как бы небольшой складной театр, играл не одну роль и играл отменно, — и если вы думаете, что суфлер мой звался Выгода, — есть

такая славянская фамилия, — то вы здорово ошибаетесь, — все это не так просто, господа. В данном же случае моя игра оказалась пустой затратой времени, — я вдруг понял, что, продли я монолог о кинематографе, Феликс встанет и уйдет, вернув мне десять марок, — нет, впрочем он не вернул бы, — могу поручиться, — слово «деньги», по-немецки такое увесистое («деньги» по-немецки золото, по-французски — серебро, по-русски — медь), произносилось им с необычайным уважением и даже сладострастием. Но ушел бы он непременно, да еще с оскорбленным видом... По правде сказать, я до сих пор не совсем понимаю, почему все связанное с кинематографом и театром было ему так невыносимо противно; чуждо — допустим, — но противно? Постараемся это объяснить отсталостью простонародья, — немецкий мужик старомоден и стыдлив, — пройдитесь-ка по деревне в купальных трусиках, — я пробовал, — увидите, что будет: мужчины остолбенеют, женщины будут фыркать в ладошку, как горничные в старосветских комедиях.

Я умолк. Феликс молчал тоже, водя пальцем по столу. Он полагал, вероятно, что я ему предложу место садовника или шофера, и теперь был сердит и разочарован. Я подозревал лакея, расплатился. Мы опять оказались на улице. Ночь была резкая, пустынная. В тучках, похожих на черный мех, скользила яркая, плоская луна, поминутно скрываясь.

«Вот что, Феликс. Мы разговор наш не кончили. Я этого так не оставлю. У меня есть номер в гостинице, пойдем, переночуешь у меня».

Он принял это как должное. Несмотря на свою тупость, он понимал, что нужен мне, и что неблагодарно было бы оборвать наши сношения, недоговорившись до чего-нибудь. Мы снова прошли мимо двойника медного всадника. На бульваре не встретили ни души. В домах не было ни одного огня; если бы я заметил хоть одно освещенное окно, то подумал бы, что там кто-нибудь повесился, оставив гореть лампу, настолько свет показался бы неожиданным и противозаконным.

Мы молча дошли до гостиницы. Нас впустил сомнамбул без воротничка. Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого, — но другое занимало мои мысли. Садись. Он сел на стул, опустив кулаки на колени и полуоткрыв рот. Я скинул пиджак и, засунув руки в карманы штанов, бренча мелкой деньгой, принялся ходить взад и вперед по комнате. На мне был, между прочим, сиреневый в черную мушку галстук, который слегка взлетал, когда я поворачивался на каблуке. Некоторое время продолжалось молчание, моя ходьба, ветерок. Внезапно Феликс, как будто убитый наповал, уронил голову, — и стал развязывать шнурки башмаков. Я взглянул на его беспомощную шею, на грустное выражение шейных позвонков, и мне сделалось как-то странно, что вот буду спать со своим двойником в одной комнате, чуть ли не в одной постели, — кровати стояли друг к дружке вплотную. Вместе с тем меня пронзила ужасная мысль, что, может быть, у него какой-нибудь телесный недостаток, красный крап накожной болезни или грубая татуировка, — я требовал от его тела минимум сходства с моим, — за лицо я был спокоен. «Да, да, раздевайся», — сказал я, продолжая шагать. Он поднял голову, держа в руке безобразный башмак.

«Я давно не спал в постели, — проговорил он с улыбкой (не показывая десен, дурак), — в настоящей постели».

«Снимай все с себя, — сказал я нетерпеливо. — Ты, вероятно, грязен, пылен. Дам тебе рубашку для сна. И вымойся».

Ухмыляясь и побрякивая, несколько как будто стесняясь меня, он разделся донага и стал мыть под мышками, склонившись над чашкой комодобразного умывальника. Ловкими взглядами я жадно осматривал этого совершенно голого человека. Он был худ и бел, — гораздо белее своего лица, — так что мое сохранившее летний загар лицо казалось приставленным к его бледному телу, — была даже заметна черта на шее, где приставили голову. Я испытывал необык-

новенное удовольствие от этого осмотра, отлегло, непоправимых примет не оказалось.

Когда, надев чистую рубашку, выданную ему из чемодана, он лег в постель, я сел у него в ногах и усталился на него с откровенной усмешкой. Не знаю, что он подумал, — но, разомлевший от непривычной чистоты, он стыдливым, сентиментальным, даже просто нежным движением, погладил меня по руке и сказал, — перевожу дословно: «Ты добрый парень». Не разжимая зубов, я затрясся от смеха, и тут он, вероятно, усмотрел в выражении моего лица нечто странное, — брови его полезли наверх, он повернул голову, как птица. Уже открыто смеясь, я сунул ему в рот папиросу, он чуть не поперхнулся.

«Эх ты, дубина! — воскликнул я, хлопнув его по выступу колена, — неужели ты не смекнул, что я вызвал тебя для важного, совершенно исключительно важного дела», — и, вынув из бумажника тысячемарковый билет и продолжая смеяться, я поднес его к самому лицу дурака.

«Это мне?» — спросил он и выронил папиросу: видно, пальцы у него невольно раздвинулись, готовясь схватить.

«Прожжешь простыню, — проговорил я сквозь смех. — Вон там, у локтя. Я вижу, ты взволновался. Да, эти деньги будут твоими, ты их даже получишь вперед, если согласишься на дело, которое я тебе предложу. Ведь неужели ты не сообразил, что о кинематографе я говорил так, в виде пробы. Что никакой я не актер, а человек деловой, толковый. Короче говоря, вот в чем состоит дело. Я собираюсь произвести кое-какую операцию, и есть маленькая возможность, что впоследствии до меня доберутся. Но подозрения сразу отпадут, ибо будет доказано, что в день и в час совершения этой операции, я был от места действия очень далеко».

«Кража?» — спросил Феликс, и что-то мелькнуло в его лице, — странное удовлетворение...

«Я вижу, что ты не так глуп, — продолжал я, понизив голос до шепота. — Ты, по-видимому, давно

подозревал неладное и теперь доволен, что не ошибся, как бывает доволен всякий, убедившись в правильности своей догадки. Мы оба с тобой падки на серебряные вещи, — ты так подумал, не правда ли? А может быть, тебе просто приятно, что я не чужак, не мечтатель с бзиком, а дельный человек».

«Кража?» — снова спросил Феликс, глядя на меня ожившими глазами.

«Операция во всяком случае незаконная. Подробности узнаешь погоды. Позволь мне сперва тебе объяснить, в чем будет состоять твоя работа. У меня есть автомобиль. Ты сядешь в него, надев мой костюм, и проедешь по указанной мною дороге. Вот и все. За это ты получишь тысячу марок».

«Тысячу, — повторил за мной Феликс. — А когда вы мне их дадите?»

«Это произойдет совершенно естественно, друг мой. Надев мой пиджак, ты в нем найдешь мой бумажник, а в бумажнике — деньги».

«Что же я должен дальше делать?»

«Я тебе уже сказал. Прокатиться. Скажем так: я тебя снаряжаю, а на следующий день, когда сам-то я уже далеко, ты едешь кататься, тебя видят, тебя принимают за меня, возвращаешься, а я уже тут как тут, сделав свое дело. Хочешь точнее? Изволь. Ты проедешь через деревню, где меня знают в лицо; ни с кем говорить тебе не придется, это продолжится всего несколько минут, но за эти несколько минут я заплачу дорого, ибо они дадут мне чудесную возможность быть сразу в двух местах».

«Вас накроют с поличным, — сказал Феликс, — а потом доберутся и до меня. На суде все откроется, вы меня предадите».

Я опять рассмеялся: «Мне, знаешь, нравится, дружок, как это ты сразу освоился с мыслью, что я мошенник».

Он возразил, что не любит тюрем, что в тюрьмах гибнет молодость, что ничего нет лучше свободы и пения птиц. Говорил он это довольно вяло и без всякой

неприязни ко мне. Потом задумался, облокотившись на подушку. Стояла душная тишина. Я зевнул и, не раздеваясь, лег навзничь на постель. Меня посетила забавная думка, что Феликс среди ночи убьет и ограбит меня. Вытянув вбок ногу, я шаркнул подошвой по стене, дотронулся носком до выключателя, сорвался, еще сильнее вытянулся и ударом каблука погасил свет.

«А может быть, это все вранье? — раздался в тишине его глупый голос. — Может быть, я вам не верю...»

Я не шелохнулся.

«Вранье», — повторил он через минуту.

Я не шелохнулся, а немного погодя принялся дышать с бесстрастным ритмом сна.

Он по-видимому прислушивался. Я прислушивался к тому, как он прислушивается. Он прислушивался к тому, как я прислушиваюсь к его прислушиванию. Что-то оборвалось. Я заметил, что думаю вовсе не о том, о чем мне казалось, что думаю, — попытался поймать свое сознание врасплох, но запутался.

Мне приснился отвратительный сон. Мне приснилась собачка, — но не просто собачка, а лже-собачка, маленькая, с черными глазками жучьей личинки, и вся беленькая, холодненькая, — мясо не мясо, а скорее салыце или бланманже, а вернее всего, мяско белого червя, да притом с волной и резьбой, как бывает на пасхальном баране из масла, — гнусная мимикрия, холоднокровное существо, созданное природой под собачку, с хвостом, с лапками, — все как следует. Она то и дело попадалась мне под руку, невозможно было отвязаться, — и когда она прикасалась ко мне, то это было как электрический разряд. Я проснулся. На простыне соседней постели лежала, свернувшись холодным белым пирожком, все та же гнусная лже-собачка, — так, впрочем, сворачиваются личинки, — я застонал от отвращения, — и проснулся совсем. Кругом плыли тени, постель рядом была пуста, и тихо серебрились те широкие лопухи, которые, вследствие сырости, вырастают из грядки кровати. На листьях

виднелись подозрительные пятна, вроде слизи, я всмотрелся: среди листьев, прилепившись к мякоти стебля, сидела маленькая, сальная, с черными пуговками глаз... но тут уж я проснулся по-настоящему.

В комнате было уже довольно светло. Мои часики остановились. Должно быть — пять, половина шестого. Феликс спал, завернувшись в пуховик, спиной ко мне, я видел только его макушку. Странное пробуждение, странный рассвет. Я вспомнил наш разговор, вспомнил, что мне не удалось его убедить, — и новая, занимательнейшая мысль овладела мной. Читатель, я чувствовал себя по-детски свежим после недолгого сна, душа моя была как бы промыта, мне в конце концов шел всего только тридцать шестой год, щедрый остаток жизни мог быть посвящен кое-чему другому, нежели мерзкой мечте. В самом деле, — какая занимательная, какая новая и прекрасная мысль, — воспользоваться советом судьбы, и вот сейчас, сию минуту, уйти из этой комнаты, навсегда покинуть, навсегда забыть моего двойника, да может быть он и вовсе не похож на меня, — я видел только макушку, он крепко спал, повернувшись ко мне спиной. Как отрок после одинокой схватки стыдного порока с необыкновенной силой и ясностью говорит себе: конечно, больше никогда, с этой минуты чистота, счастье чистоты, — так и я, высказав вчера все, все уже вперед испытав, измучившись и насладившись в полной мере, был суеверно готов отказаться навсегда от соблазна. Все стало так просто: на соседней кровати спал случайно пригретый мною бродяга, его пыльные бедные башмаки, носками внутрь, стояли на полу, и с пролетарской аккуратностью было сложено на стуле его платье. Что я, собственно, делал в этом номере провинциальной гостиницы, какой смысл был дальше оставаться тут? И этот трезвый, тяжелый запах чужого пота, это бледно-серое небо в окне, большая черная муха, сидевшая на графике, — все говорило мне: уйди, встань и уйди.

Я спустил ноги на завернувшийся коврик, зачесал карманным гребешком волосы с висков назад, бесшум-

но прошел по комнате, надел пиджак, пальто, шляпу, подхватил чемодан и вышел, неслышно прикрыв за собою дверь. Думаю, что если бы даже я и взглянул невзначай на лицо моего спящего двойника, то я бы все-таки ушел, — но я и не почувствовал побуждения взглянуть, — как тот же отрок, только что мною помянутый, уже утром не устаивает взглядом обольстительную фотографию, которой ночью упивался.

Быстрым шагом, испытывая легкое головокружение, я спустился по лестнице, заплатил за комнату, и, провожаемый сонным взглядом лакея, вышел на улицу. Через полчаса я уже сидел в вагоне, веселила душу коньячная отрыжка, а в уголках рта остались соленые следы яичницы, торопливо съеденной в вокзальном буфете. Так на низкой пищеводной ноте кончается эта смутная глава.

## Глава VI

Небытие Божье доказывается просто. Невозможно допустить, например, что некий серьезный Сый, всемогущий и всемудрый, занимался бы таким пустым делом, как игра в человечки, — да притом — и это, может быть, самое несуразное, — ограничивая свою игру пошлейшими законами механики, химии, математики, — и никогда — заметьте, никогда! — не показывая своего лица, а разве только исподтишка, обиняками, по-воровски — какие уж тут откровения! — высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика. Все это божественное является, полагаю я, великой мистификацией, в которой, разумеется, уж отнюдь неповинны попы: они сами — ее жертвы. Идею Бога изобрел в утро мира талантливый шалопай, — как-то слишком отдает человечиною эта самая идея, чтобы можно было верить в ее лазурное происхождение, — но это не значит, что она порождена невежеством, — шалопай мой знал толк в горних делах — и право не знаю, какой вариант небес мудрее: — ослепительный плеск многоочитых ангелов или кривое зеркало, в которое уходит, бесконечно уменьшаясь, самодо-

вольный профессор физики. Я не могу, не хочу в Бога верить еще и потому, что сказка о нем — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблагоприятными испарениями миллионов других людских душ, повертевшихся в мире и лопнувших; в ней кишат древние страхи, в ней звучат, мешаясь и стараясь друг друга перекричать, неисчислимые голоса, в ней — глубокая одышка органа, рев дьякона, рулады кантора, негритянский вой, пафос речистого пастора, гонги, громы, клокотание кликуш, в ней просвечивают бледные страницы всех философий, как пена давно разбившихся волн, она мне чужда и противна, и совершенно не нужна.

Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения, — положения раба божьего, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигает и потом гасит любознательный ребенок — гроза своих игрушек. Но беспокоиться не о чем. Бога нет, как нет и бессмертия, — это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое. В самом деле, — представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор, изображающий, играющий вашу матушку с большим искусством и правдоподобием. Вот в чем затор, вот в чем ужас, и ведь игра-то будет долгая, бесконечная, никогда, никогда, никогда душа на том свете не будет уверена, что ласковые, родные души, окружившие ее, не ряженные демоны, — и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении, ждать страшной, издевательской перемены в любимом лице, наклонившемся к ней. Поэтому я все приму, пускай — рослый палач в цилиндре, а затем — раковинный гул вечного небытия, но только не пытка бессмертием, только не эти белые, холодные собачки, — увольте, — я не вынесу ни малейшей нежности, предупреждаю вас, ибо все — обман, все — гнусный фокус, я не доверяю ничему

и никому, — и когда самый близкий мне человек, встретив меня на том свете, подойдет ко мне и протянет знакомые руки, я заору от ужаса, я грохнусь на райский дерн, я забьюсь, я не знаю, что сделаю, — нет, закройте для посторонних вход в области блаженства.

Однако, несмотря на мое неверие, я по природе своей не уныл и не зол. Когда я из Тарница вернулся в Берлин и произвел опись своего душевного имущества, я, как ребенок, обрадовался тому небольшому, но несомненному богатству, которое оказалось у меня, и почувствовал, что, обновленный, освеженный, освобожденный, вступаю, как говорится, в новую полосу жизни. У меня была глупая, но симпатичная, преклонявшаяся предо мной жена, славная квартирка, прекрасное пищеварение и синий автомобиль. Я ощущал в себе поэтический, писательский дар, а сверх того — крупные деловые способности, — даром что мои дела шли неважно. Феликс, двойник мой, казался мне безобидным курьезом, и я бы в те дни, пожалуй, рассказал о нем другу, подвернись такой друг. Мне приходило в голову, что следует бросить шоколад и заняться другим, — например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещению эроса — в литературе, в искусстве, в медицине... Вообще во мне проснулась пламенная энергия, которую я не знал, к чему приложить. Особенно помню один вечер, — вернувшись из конторы домой, я не застал жены, она оставила записку, что ушла в кинематограф на первый сеанс, — я не знал, что делать с собой, ходил по комнатам и щелкал пальцами — потом сел за письменный стол, — думал заняться художественной прозой, но только замусолил перо да нарисовал несколько капающих носов, — встал и вышел, мучимый жаждой хоть какого-нибудь общения с миром, — собственное общество мне было невыносимо, оно слишком возбуждало меня, и возбуждало впустую. Отправился я к Ардалиону, — человек он с шутовской душой, полнокровный, презренный, — когда он наконец открыл мне (боясь кредиторов, он запирал комнату на ключ), я удивился, почему я к нему пришел.

«Лида у меня, — сказал он, жуя что-то (потом оказалось: резинку). — Барыне нездоровится, разоблачайтесь».

На постели Ардалиона, полуодетая, то есть без туфель и в мятом зеленом чехле, лежала Лида и курила.

«О, Герман, — проговорила она, — как хорошо, что ты догадался прийти, у меня что-то с животиком. Садись ко мне. Теперь мне лучше, а в кинематографе было совсем худо».

«Не досмотрели боевика, — пожаловался Ардалион, ковыряя в трубке и просыпая черную золу на пол. — Вот уж полчаса, как валяется. Все это дамские штучки, — здорова, как корова».

«Попроси его замолчать», — сказала Лида.

«Послушайте, — обратился я к Ардалиону, — ведь не ошибаюсь я, ведь у вас действительно есть такой натюрморт, — трубка и две розы?»

Он издал звук, который неразборчивые в средствах романисты изображают так: «Гм».

«Нету. Вы что-то путаете, синьор».

«Мое первое, — сказала Лида, лежа с закрытыми глазами, — мое первое — большая и неприятная группа людей, мое второе... мое второе — зверь по-французски, — а мое целое — такой маляр».

«Не обращайтесь на нее внимания, — сказал Ардалион. — А насчет трубки и роз, — нет, не помню, — впрочем, посмотрите сами».

Его произведения висели по стенам, валялись на столе, громоздились в углу в пыльных папках. Все вообще было покрыто серым пушком пыли. Я посмотрел на грязные фиолетовые пятна акварелей, брезгливо перебрал несколько жирных листов, лежавших на валком стуле.

«Во-первых «орда» пишется через «о», — сказал Ардалион. — Изволили спутать с арбой».

Я вышел из комнаты и направился к хозяйке в столовую. Хозяйка, старуха, похожая на сову, сидела у окна, на ступень выше пола, в готическом кресле и штопала чулок на грибе. «Посмотреть на картины», — сказал я.

«Прошу вас», — ответила она милостиво.

Справа от буфета висело как раз то, что я искал, — но оказалось, что это не совсем две розы и не совсем трубка, а два больших персика и стеклянная пепельница.

Вернулся я в сильнейшем раздражении.

«Ну что, — спросил Ардалион, — нашли?»

Я покачал головой. Лида уже была в платье и приглаживала перед зеркалом волосы грязнейшей Ардалионовой щеткой.

«Главное, — ничего такого не ела», — сказала она, суживая по привычке нос.

«Просто газы, — заметил Ардалион. — Погодите, господа, я выйду с вами вместе, — только оденусь. Отвернись, Лидуша».

Он был в заплатанном, испачканном краской малярском балахоне почти до пят. Снял его. Внизу были кальсоны, — больше ничего. Я ненавижу неряшливость и нечистоплотность. Ей Богу, Феликс был как-то чище его. Лида глядела в окно и напевала, дурно произнося немецкие слова, уже успевшую выйти из моды песенку. Ардалион бродил по комнате, одеваясь по мере того, как находил — в самых неожиданных местах — разные части своего туалета.

«Эх-ма! — воскликнул он вдруг. — Что может быть банальнее бедного художника? Если бы мне кто-нибудь помог устроить выставку, я стал бы сразу славен и богат».

Он у нас ужинал, потом играл с Лидой в дураки и ушел за полночь. Даю все это как образец весело и плодотворно проведенного вечера. Да, все было хорошо, все было отлично, — я чувствовал себя другим человеком, — освеженным, обновленным, освобожденным, — и так далее, — квартира, жена, балагуры-друзья, приятный, пронизывающий холод железной берлинской зимы, — и так далее. Не могу удержаться и от того, чтобы не привести примера тех литературных забав, коим я начал предаваться, — бессознательная тренировка, должно быть, перед теперешней работой моей над сей изнурительной повестью. Сочиненьица

той зимы я давно уничтожил, но довольно живо у меня осталось в памяти одно из них. Как хороши, как свежи... Музычку, пожалуйста!

Жил-был на свете слабый, вялый, но состоятельный человек, некто Игрек Иксович. Он любил обольстительную барышню, которая, увы, не обращала на него никакого внимания. Однажды, путешествуя, этот бледный, скучный человек увидел на берегу моря молодого рыбака, по имени Дик, веселого, загорелого, сильного, и вместе с тем — о чудо! — поразительно, невероятно похожего на него. Интересная мысль зародилась в нем: он пригласил барышню поехать с ним к морю. Они остановились в разных гостиницах. В первое же утро она, отправившись гулять, увидела с обрыва — кого? неужели Игрека Иксовича?? — вот не думала! Он стоял внизу на песке, веселый, загорелый, в полосатой фуфайке, с голыми могучими руками (но это был Дик). Барышня вернулась в гостиницу, и, трепета полна, принялась его ждать. Минуты ей казались часами. Он же, настоящий Игрек Иксович, видел из-за куста, как она смотрит с обрыва на Дика, его двойника, и теперь, выжидая, чтоб окончательно созрело ее сердце, беспокойно слонялся по поселку в городской паре, в сиреновом галстуке, в белых башмаках. Внезапно какая-то смуглая, яркоглазая девушка в красной юбке окликнула его с порога хижины, — всплеснула руками: «Как ты чудно одет, Дик! Я думала, что ты просто грубый рыбак, как все наши молодые люди, и я не любила тебя, — но теперь, теперь...» Она увлекла его в хижину. Шепот, запах рыбы, жгучие ласки... протекали часы... я открыла глаза, мой покой был весь облит зарею... Наконец, Игрек Иксович направился в гостиницу, где ждала его та — нежная, единственная, которую он так любил. «Я была слепа! — воскликнула она, как только он вошел. — И вот — прозрела, увидя на солнечном побережье твою бронзовую наготу. Да, я люблю тебя, делай со мной все, что хочешь!» Шепот? Жгучие ласки? Протекали часы? — Нет, увы нет, отнюдь нет. Бедняга был истощен недавним развлече-

нием и грустно, понуро сидел, раздумывая над тем, как сам сдуру предал, обратился в ничто свой остроумнейший замысел...

Литература неважная, — сам знаю. Покамест я это писал, мне казалось, что выходит очень умно и ловко, — так иногда бывает со снами, — во сне великолепно, с блеском, говоришь, — а проснешься, вспоминаешь: вялая чепуха. С другой же стороны эта псевдоуайльдовская сказочка вполне пригодна для печатания в газете, — редактора любят потчевать читателей этакими чуть-чуть вольными, кокетливыми рассказчиками в сорок строк, с элегантною пуантой и с тем, что невежды называют парадокс («Его разговор был усыпан парадоксами»). Да, пустяк, шалость пера, но как вы удивитесь сейчас, когда скажу, что пошлятину эту я писал в муках, с ужасом и скрежетом зубовым, яростно облегчая себя и вместе с тем сознавая, что никакое это не облегчение, а изысканное самоистязание, и что этим путем я ни от чего не освобожусь, а только пуще себя расстрою.

В таком приблизительно расположении духа я встретил Новый год, — помню эту черную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока. За столом сидят Лида, Ардалион, Орловиус и я, неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах: — Лида, положившая локоть на стол и настороженно поднявшая палец, голоплечая, в пестром, как рубашка игральной карты, платье; Ардалион, завернувшийся в плед (дверь на балкон открыта), с красным отблеском на толстом львином лице; Орловиус — в черном сюртуке, очки блестят, отложной воротничок поглотил края крохотного черного галстука; — и я, человек-молния, озаривший эту картину. Конечно, разрешаю вам двигаться, скорее сюда бутылку, сейчас пробьют часы. Ардалион разлил по бокалам шампанское, и все замерли опять. Боком и поверх очков Орловиус глядел на старые серебряные часы, выложенные им на скатерть: еще две минуты. Кто-то на улице не выдержал — затрещал и лопнул, —

а потом снова — напряженная тишина. Фиксируя часы, Орловиус медленно протянул к бокалу старческую, с когтями грифона, руку.

Внезапно ночь стала рваться по швам, с улицы раздались заздравные крики, мы по-королевски вышли с бокалами на балкон, — над улицей взвивались и, бахнув, разражались цветными рыданиями ракеты, — и во всех окнах, на всех балконах, в клиньях и квадратах праздничного света, стояли люди, выкрикивали одни и те же бессмысленно-радостные слова.

Мы все четверо чокнулись, я отпил глоток.

«За что пьет Герман?» — спросила Лида у Ардалиона.

«А я почему знаю, — ответил тот. — Все равно он в этом году будет обезглавлен, — за сокрытие доходов».

«Фуй, как нехорошо, — сказал Орловиус. — Я пью за всеобщее здорье».

«Естественно», — заметил я.

Спустя несколько дней, в воскресное утро, пока я мылся в ванне, постучала в дверь прислуга, — она что-то говорила, — шум льющейся воды заглушал слова, — я закричал: «В чем дело? что вам надо?» — но мой собственный крик и шум воды заглушали то, что Эльза говорила, и всякий раз, что она начинала сызнова говорить, я опять кричал, — как иногда двое не могут разминуться на широком, пустом тротуаре, — но наконец я догадался завернуть кран, подскочил к двери, и среди внезапной тишины Эльза отчетливо сказала:

«Вас хочет видеть человек».

«Какой человек?» — спросил я и отворил на дюйм дверь.

«Какой-то человек», — повторила Эльза.

«Что ему нужно?» — спросил я и почувствовал, что вспотел с головы до пят.

«Говорит, что по делу, и что вы знаете, какое дело».

«Какой у него вид?» — спросил я через силу.

«Он ждет в прихожей», — сказала Эльза.

«Вид какой, я спрашиваю».

«Бедный на вид, с рюкзаком», — ответила она.

«Так пошлите его ко всем чертям! — крикнул я. — Пускай уберется мгновенно, меня нет дома, меня нет в Берлине, меня нет на свете!..»

Я прихлопнул дверь, щелкнул задвижкой. Сердце прыгало до горла. Прошло, может быть, полминуты. Не знаю, что со мной случилось, но, уже крича, я вдруг отпер дверь, полуголый выскочил из ванной, встретил Эльзу, шедшую по коридору на кухню.

«Задержите его, — кричал я. — Где он? Задержите!»

«Ушел, — ничего не сказал и ушел».

«Кто вам велел...», — начал я, но не dokonчил, помчался в спальню, оделся, выбежал на лестницу, на улицу. Никого, никого. Я дошел до угла, постоял, озираясь, и вернулся в дом. Лиды не было, спозаранку ушла к какой-то своей знакомой. Когда она вернулась, я сказал ей, что дурно себя чувствую и не пойду с ней в кафе, как было условлено.

«Бедный, — сказала она. — Ложись. Прими что-нибудь, у нас есть салипирин. Я, знаешь, пойду в кафе одна».

Ушла. Прислуга ушла тоже. Я мучительно прислушивался, ожидая звонка. «Какой болван, — повторял я, — какой неслыханный болван!» Я находился в ужасном, прямо-таки болезненном и нестерпимом волнении, я не знал, что делать, я готов был молиться небытному Богу, чтобы раздался звонок. Когда стемнело, я не зажег света, а продолжал лежать на диване и все слушал, слушал, — он, наверное, еще придет до закрытия наружных дверей, а если нет, то уж завтра или послезавтра совсем, совсем наверное, — я умру, если он не придет, — он должен прийти. Около восьми звонок наконец раздался. Я выбежал в прихожую.

«Фу, устала!» — по-домашнему сказала Лида, сдерживая на ходу шляпу и тряся волосами.

Ее сопровождал Ардалион. Мы с ним прошли в гостиную, а жена отправилась на кухню.

«Холодно, странничек, голодно», — сказал Ардалион, грея ладони у радиатора.

Пауза.

«А все-таки, — произнес он, щурясь на мой портрет, — очень похоже, замечательно похоже. Это нескромно, но я всякий раз люблюсь им, — и вы хорошо сделали, сэр, что опять сбрили усы».

«Кушать пожалуйста», — нежно сказала Лида, открыв дверь.

Я не мог есть, я продолжал прислушиваться, хотя теперь уже было поздно.

«Две мечты, — говорил Ардалион, складывая пласты ветчины, как это делают с блинами, и жирно чавкая. — Две райских мечты: выставка и поездка в Италию».

«Человек, знаешь, больше месяца, как не пьет», — объявила мне Лида.

«Ах, кстати, — Перебродов у вас был?» — спросил Ардалион.

Лида прижала ладонь ко рту. «Забула, — проговорила она сквозь пальцы. — Сувсем забула».

«Экая ты росомаха! Я ее просил вас предупредить. Есть такой несчастный художник, Васька Перебродов, пешком пришел из Данцига, — по крайней мере говорит, что из Данцига и пешком. Продает расписные портсигары. Я его направил к вам, Лида сказала, что поможет».

«Заходил, — ответил я, — заходил, как же, и я его послал к чертовой матери. Был бы очень вам обязан, если бы вы не посылали ко мне всяких проходимцев. Можете передать вашему коллеге, чтобы он больше не утруждал себя хождением ко мне. Это в самом деле странно. Можно подумать, что я присяжный благотворитель. Пойдите к черту с вашим Перебродовым, я вам просто запрещаю!..»

«Герман, Герман», — мягко вставила Лида.

Ардалион пукнул губами. «Грустная история», — сказал он.

Еще некоторое время я продолжал браниться, точных слов не помню, да это и неважно.

«Действительно, — сказал Ардалион, косясь на Лиду, — кажется, маху дал. Виноват».

Вдруг замолчав, я задумался, мешая ложечкой давно размешанный чай, и погода проговорил вслух:

«Какой я все-таки остолоп».

«Ну, зачем же сразу так перебарщивать», — добродушно сказал Ардалион.

Моя глупость меня самого развеселила. Как мне не пришло в голову, что, если бы он вправду явился (а уже одно его появление было бы чудом, — ведь он даже имени моего не знает), с горничной должен был бы сделаться родимчик, ибо перед нею стоял бы мой двойник! Теперь я живо представил себе, как она бы вскрикнула, как прибежала бы ко мне, как, захлебываясь, завопила бы о сходстве!.. Я бы ей объяснил, что это мой брат, неожиданно прибывший из России... Между тем, я провел длинный, одинокий день в бессмысленных страданиях, — и вместо того, чтобы удивиться его появлению, старался решить, что случится дальше, — ушел ли он навсегда или явится, и что у него на уме, и возможно ли теперь воплощение моей так и непобежденной, моей дикой и чудной мечты, — или уже двадцать человек, знающих меня в лицо, видели его на улице, и все пошло прахом. Пораздумав над своим недомыслием и над опасностью, так просто рассеявшейся, я почувствовал, как уже сказал, наплыв веселия и добросердия.

«Я сегодня нервен. Простите. Честно говоря, я просто не видал вашего симпатичного Перебродова. Он пришел некстати, я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нет дома. Вот: передайте ему эти три марки, когда увидите его, — чем богат, тем и рад, — но скажите ему, что больше дать не в состоянии, пускай обратится, например, к Давыдову, Владимиру Исаковичу».

«Это идея, — сказал Ардалион. — Я и сам там стрельну. Пьет он, между прочим, как зверь, Васька Перебродов. Спросите мою тетушку, ту, которая вышла за французского фермера, — я вам рассказывал, — очень живая особа, но несосветимо скупа. У нее около Феодосии было имение, мы там с Васькой весь погреб выпили в двадцатом году».

«А насчет Италии еще поговорим, — сказал я, улыбаясь, — да-да, поговорим».

«У Германа золотое сердце», — заметила Лида.

«Передай-ка мне колбасу, дорогая», — сказал я все с той же улыбкой.

Я тогда не совсем понимал, что со мною творилось, — но теперь понимаю: глухо, но буйно — и вот: уже неудержимо — вновь нарастала во мне страсть к моему двойнику. Первым делом это выразилось в том, что в Берлине появилась для меня некая смутная точка, вокруг которой почти бессознательно, движимый невинной силой, я начал замыкать круги. Густая синева почтового ящика, желтый толстошинный автомобиль со стилизованным черным орлом под решетчатым окном, почтальон с сумой на животе, идущий по улице медленно, с той особой медлительностью, какая бывает в ухватках опытных рабочих, синий, прищуренный марочный автомат у вокзала и даже лавка, где в конвертах с просветом заманчиво теснятся аппетитно смешанные марки всех стран, — все вообще, связанное с почтой, стало оказывать на меня какое-то давление, какое-то неотразимое влияние. Однажды, помнится, почти как сомнамбула, я оказался в одном знакомом мне переулке, и вот уже близился к той смутной и притягательной точке, которая стала серединой моего бытия, — но как раз спохватился, ушел, — а через некоторое время, — через несколько минут, а может быть через несколько дней, — заметил, что снова, но с другой стороны, вступил в тот переулок. Навстречу мне с развалыцем шли синие почтальоны и на углу разбредлись кто куда. Я повернул, кусая заусеницы, — я тряхнул головой, я еще противился. Главное: ведь я знал, страстным и безошибочным чутьем, что письмо для меня есть, что ждет оно моего востребования, — и знал, что рано или поздно поддамся соблазну.

## Глава VII

Во-первых: эпиграф, но не к этой главе, а так, вообще: литература — это любовь к людям. Теперь продолжим.

В помещении почтамта было темновато. У окошек стояло по два, по три человека, все больше женщины.

В каждом окошке, как тусклый портрет, виднелось лицо чиновника. Вон там — номер девятый. Я не сразу решился... Подойдя сначала к столу посреди помещения — столу, разделенному перегородками на конторки, я притворился перед самим собой, что мне нужно кое-что написать, нашел в кармане старый счет и на обороте принялся выводить первые попавшиеся слова. Казенное перо неприятно трещало, я совал его в дырку чернильницы, в черный плевок, по бледному бювару, на который я облокотился, шли, так и сая, скрещиваясь, отпечатки неведомых строк, — иррациональный почерк, минус-почерк, — что всегда напоминает мне зеркало, — минус на минус дает плюс. Мне пришло в голову, что и Феликс некий минус я, — изумительной важности мысль, которую я напрасно, напрасно до конца не продумал. Между тем худосочное перо в моей руке писало такие слова: не надо, не хочу, хочу, чухонец, хочу, не надо, ад. Я смял листок в кулаке, нетерпеливая толстая женщина протиснулась и схватила освободившееся перо, отбросив меня ударом каракулевого крупа. Я вдруг оказался перед окошком номер девять. Большое лицо с бледными усами вопросительно посмотрело на меня. Шепотом я сказал пароль. Рука с черным чехольчиком на указательном пальце протянула мне целых три письма. Мне кажется, все это произошло мгновенно, — и через мгновение я уже шагал по улице, прижимая руку к груди. Дойдя до ближайшей скамьи, сел и жадно распечатал письма.

Поставьте там памятник, — например желтый столб. Пусть будет отмечена вещественной вехой эта минута. Я сидел и читал, — и вдруг меня стал душить неожиданный и неудержимый смех. Господа, то были письма шантажного свойства! Шантажное письмо, за которым может быть никто и никогда не придет, шантажное письмо, которое посылается до востребования и под условным шифром, то есть с откровенным признанием, что отправитель не знает ни адреса, ни имени получателя — это безумно смешной парадокс! В первом из этих трех писем — от середины ноября, —

шантажный мотив еще звучал под сурдинкой. Оно дышало обидой, оно требовало от меня объяснений, — пишущий поднимал брови, готовый впрочем улыбнуться своей высокобровой улыбкой, — он не понимал, он очень хотел понять, почему я вел себя так таинственно, ничего не договорил, скрылся посреди ночи... Некоторые все же подозрения у него были, — но он еще не желал играть в открытую, был готов эти подозрения утаить от мира, ежели я поступлю, как нужно, — и с достоинством выражал свое недоумение, и с достоинством ждал ответа. Все это было донельзя безграмотно и вместе с тем манерно, — эта смесь и была его стилем. В следующем письме — от конца декабря (какое терпение: ждал месяц!) — шантажная музычка уже доносилась гораздо отчетливее. Уже ясно было, отчего он вообще писал. Воспоминание о тысячемарковом билете, об этом серо-голубом видении, мелькнувшем перед его носом и вдруг исчезнувшем, терзало душу, вожделение его было возбуждено до крайности, он облизывал сухие губы, не мог простить себе, что выпустил меня и со мной — обольстительный шелест, от которого зудело в кончиках пальцев. Он писал, что готов встретиться со мной снова, что многое за это время обдумал, — но что если я от встречи уклонюсь или просто не отвечу, то он принужден будет... и тут распласталась огромная клякса, которую подлец поставил нарочно — с целью меня заинтриговать, — ибо сам совершенно не знал, какую именно объявить угрозу. Наконец, третье письмо, январское, было для Феликса настоящим шедевром. Я его помню подробнее других, так как несколько дольше других оно у меня пребывало... «Не получив ответа на мои прежние письма, мне начинает казаться, что пора-пора принять известные меры, но все ж таки я вам даю еще месяц на размышления, после чего обращусь в такое место, где ваши поступки будут вполне и полностью оценены, а если и там симпатии не встречу, ибо кто неподкупен, то прибегну к воздействию особого рода, что вообразить я всецело представляю вам, так как считаю, что когда

власти не желают да и только карать мошенников, долг всякого честного гражданина учинить по отношению к нежелательному лицу такой разгром и шум, что поневоле государство будет принуждено реагировать, но входя в ваше личное положение, я готов по соображениям доброты и услужливости от своих намерений отказаться и никакого грохота не делать под тем условием, что вы в течение сего месяца пришлете мне, пожалуйста, довольно большую сумму для покрытия всех тревог, мною понесенных, размер которой оставляю на ваше почтенное усмотрение». Подпись: «Воробей», а ниже — адрес провинциального почтамта.

Я долго наслаждался этим последним письмом, всю прелесть которого едва ли может передать посильный мой перевод. Мне все нравилось в нем — и торжественный поток слов, не стесненных ни одной точкой, и тупая, мелкая подлость этого невинного на вид человека, и подразумеваемое согласие на любое мое предложение, как бы оно ни было гнусно, лишь бы пресловутая сумма попала ему в руки. Но главное, что доставляло мне наслаждение, — наслаждение такой силы и полноты, что трудно было его выдержать, — состояло в том, что Феликс сам, без всякого моего принуждения, вновь появлялся, предлагал мне свои услуги, — более того, заставлял меня эти услуги принять и, делая все то, что мне хотелось, при этом как бы снимал с меня всякую ответственность за роковую последовательность событий.

Я трясся от смеха, сидя на той скамье, — о, поставьте там памятник — желтый столб — непременно поставьте! Как он себе представлял, этот балда: что его письма будут каким-то телепатическим образом подавать мне весть о своем прибытии? что, чудом прочтя их, я чудом поверю в силу его призрачных угроз? А ведь забавно, что я действительно почуял появление его писем за окошком номер девять и действительно собирался ответить на них, — точно впрямь убоясь их угроз, — то есть исполнялось все, что он по неслыханной, наглой глупости своей предполагал, что исполнит-

ся. И сидя на скамье и держа эти письма в горячих своих объятиях, я почувствовал, что замысел мой наметился окончательно, что все готово или почти готово, — не хватало двух-трех штрихов, наложение которых труда не представляло. Да и что такое труд в этой области? Все делалось само собой, все текло и плавно сливалось, принимая неизбежные формы — с того самого мига, как я впервые увидел Феликса, — ах, разве можно говорить о труде, когда речь идет о гармонии математических величин, о движении планет, о плановности природных законов? Чудесное здание строилось как бы помимо меня, — да, все с самого начала мне пособляло, — и теперь, когда я спросил себя, что напишу Феликсу, я понял, без большого впрочем удивления, что это письмо уже имеется в моем мозгу, — готово, как те поздравительные телеграммы с виньеткой, которые за известную приплату можно послать новобрачным. Следовало только вписать в готовый формуляр дату, — вот и все.

Поговорим о преступлениях, об искусстве преступления, о карточных фокусах, я очень сейчас возбужден. Конан Дойл! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал! Ведь ты мог написать еще один последний рассказ, — заключение всей шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться не одноногий бухгалтер, не китаец Чинг, и не женщина в красном, а сам Пимен всей криминальной летописи, сам доктор Ватсон, — чтобы Ватсон был бы, так сказать, виноватсон... Безмерное удивление читателя! Да что Дойл, Достоевский, Леблан, Уоллес, что все великие романисты, писавшие о ловких преступниках, что все великие преступники, не читавшие ловких романистов! Все они невежды по сравнению со мной. Как бывает с гениальными изобретателями, мне конечно помог случай (встреча с Феликсом), но этот случай попал как раз в формочку, которую я для него уготовил, этот случай я заметил и использовал, чего другой

на моем месте не сделал бы. Мое создание похоже на пасьянс, составленный наперед: я разложил открытые карты так, чтобы он выходил наверняка, собрал их в обратном порядке, дал приготовленную колоду другим, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдет! Ошибка моих бесчисленных предтечей состояла в том, что они рассматривали самый акт как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, — таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, — настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.

Все это, помнится, промелькнуло у меня в голове именно тогда, когда я сидел на скамье с письмами в руках, — но тогда было одно, теперь — другое; я бы внес теперь небольшую поправку, а именно ту, что, как бывает и с волшебными произведениями искусства, которых чернь долгое время не признает, не понимает, коих обаянию не поддается, так случается и с самым гениально продуманным преступлением: гениальности его не признают, не дивятся ей, а сразу выискивают, что бы такое раскритиковать, охаять, чем бы таким побольнее уязвить автора, и кажется им, что они нашли желанный промах, — вот они гогочут, но ошиблись они, а не автор, — нет у них тех изумительно зорких глаз, которыми снабжен автор, и не видят они ничего особенного там, где автор увидел чудо.

Посмеявшись, успокоившись, ясно обдумав дальнейшие свои действия, я положил третье, самое озорное, письмо в бумажник, а два остальных разорвал на мелкие клочки, бросил их в кусты соседнего сквера, причем мигом слетелось несколько воробьев, приняв их за крошки. Затем, отправившись к себе в контору, я настукал письмо к Феликсу с подробными указаниями, куда и когда явиться, приложил двадцать марок

и вышел опять. Мне всегда трудно разжать пальцы, держащие письмо над щелью — это вроде того, как прыгнуть в холодную воду или в воздух с парашютом, — и теперь мне было особенно трудно выпустить письмо, — я, помнится, переглотнул, зарябило под ложечкой, — и, все еще держа письмо в руке, я пошел по улице, остановился у следующего ящика, и повторилась та же история. Я пошел дальше, все еще нагруженный письмом, как бы сгибаясь под бременем этой огромной белой ноши, и снова через квартал увидел ящик. Мне уже надоела моя нерешительность — совершенно беспричинная и бессмысленная ввиду твердости моих намерений, — быть может, просто физическая, машинальная нерешительность, нежелание мышц ослабнуть, — или еще, как сказал бы марксистский комментатор (а марксизм подходит ближе всего к абсолютной истине, да-с), нерешительность собственника, все не могущего, такая уж традиция в крови, расстаться с имуществом, — причем в данном случае имущество измерялось не просто деньгами, которые я посылал, а той долей моей души, которую я вложил в строки письма. Но как бы там ни было, я колебания свои преодолел, когда подходил к четвертому или пятому ящику, и знал с той же определенностью, как знаю сейчас, что напишу эту фразу, знал, что уж теперь наверное опущу письмо в ящик, — и даже сделаю потом этакий жестик, побью ладонь о ладонь, точно могли к перчаткам пристать какие-то пылинки от этого письма, уже брошенного, уже не моего, и потому и пыль от него тоже не моя, дело сделано, все чисто, все кончено, — но письма я в ящик все-таки не бросил, а замер, еще согбенный под ношей, глядя исподлобья на двух девочек, игравших возле меня на панели: они по очереди кидали стеклянно-радужный шарик, метя в ямку, там, где панель граничила с землей. Я выбрал младшую, — худенькую, темноволосую, в клетчатом платице, как ей не было холодно в этот суровый февральский день? — и, потрепав ее по голове, сказал ей: «Вот что, детка, я плохо вижу, очень

близорук, боюсь, что не попаду в щель, — опусти письмо за меня вон в тот ящик». Она посмотрела, поднялась с корточек, у нее лицо было маленькое, прозрачно-бледное и необыкновенно красивое, взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнув длинными ресницами, и побежала к ящику. Остального я не доглядел, а пересек улицу, — шурясь (это следует отметить), как будто действительно плохо видел, и это было искусство ради искусства, ибо я уже отошел далеко. На углу следующей площади я вошел в стеклянную будку и позвонил Ардалиону: мне было необходимо кое-что предпринять по отношению к нему, я давно решил, что именно этот въедливый портретист — единственный человек, для меня опасный. Пускай психологи выясняют, навела ли меня притворная близорукость на мысль тотчас исполнить то, что я насчет Ардалиона давно задумал, или же напротив постоянное воспоминание о его опасных глазах толкнуло меня на изображение близорукости. Ах, кстати, кстати... она подрастет, эта девочка, будет хороша собой и вероятно счастлива, и никогда не будет знать, в каком диковинном и страшном деле она послужила посредницей, — а впрочем возможно и другое: судьба, не терпящая такого бессознательного, наивного маклерства, завистливая судьба, у которой самой губа не дура, которая сама знает толк в мелком жульничестве, жестоко девочку эту покарает за вмешательство, а та станет удивляться, почему я такая несчастная, за что мне это, и никогда, никогда, никогда ничего не поймет. Моя же совесть чиста. Не я написал Феликсу, а он мне, не я послал ему ответ, а неизвестный ребенок.

Когда я пришел в скромное, но приятное кафе, напротив которого, в сквере, бьет в летние вечера и как будто вертится муаровый фонтан, остроумно освещаемый снизу разноцветными лампами (а теперь все было голо и тускло, и не цвел фонтан, и в кафе толстые портьеры торжествовали победу в классовой борьбе с бродячими сквозняками, — как я здорово пишу и, главное, спокоен, совершенно спокоен), когда я при-

шел, Ардалион уже там сидел и, увидев меня, поднял по-римски руку. Я снял перчатки, белое шелковое кашне и сел рядом с Ардалионом, выложив на стол коробку дорогих папирос.

«Что скажете новенького?» — спросил Ардалион, всегда говоривший со мной шутовским тоном.

Я заказал кофе и начал примерно так:

«Кое-что у меня для вас действительно есть. Последнее время, друг мой, меня мучит сознание, что вы погибаете. Мне кажется, что из-за материальных невзгод и общей затхлости вашего быта талант ваш умирает, чахнет, не бьет ключом, все равно как теперь зимою не бьет цветной фонтан в сквере напротив».

«Спасибо за сравнение, — обиженно сказал Ардалион. — Какой ужас... хорошенькое освещение под монпансье. Да и вообще — зачем говорить о таланте, вы же не понимаете в искусстве ни кия».

«Мы с Лидой не раз обсуждали, — продолжал я, игнорируя его пошлое замечание, — незавидное ваше положение. Мне кажется, что вам следовало бы переменить атмосферу, освежиться, набраться новых впечатлений».

«При чем тут атмосфера», — поморщился Ардалион.

«Я считаю, что здешняя губит вас, — значит при чем. Эти розы и персики, которыми вы украшаете столовую вашей хозяйки, эти портреты почтенных лиц, у которых вы норовите поужинать...»

«Ну уж и норовлю...»

«...все это может быть превосходно, даже гениально, но — простите за откровенность — как-то однообразно, вынужденно. Вам следовало бы пожить среди другой природы, в лучах солнца, — солнце друг художников. Впрочем, этот разговор вам по-видимому неинтересен. Поговорим о другом. Скажите, например, как обстоит дело с вашим участием?»

«А черт его знает. Мне присылают какие-то письма по-немецки, я бы попросил вас перевести, но скучно,

да и письма эти либо теряю, либо рву. Требуют кажется добавочных взносов. Летом возьму и построю там дом. Они уж тогда не вытянут из-под него землю. Но вы что-то говорили, дорогой, о перемене климата. Валяйте, — я слушаю».

«Ах зачем же, вам это неинтересно. Я говорю резонные вещи, а вы раздражаетесь».

«Христос с вами, — с чего бы я стал раздражаться? Напротив, напротив...»

«Да нет, зачем же...»

«Вы, дорогой, упомянули об Италии. Жарьте дальше. Мне нравится эта тема».

«Еще не упоминал, — сказал я со смехом. — Но раз вы уже сказали это слово... Здесь, между прочим, довольно уютно. Вы, говорят, временно перестали..?» — я многозначительно пощелкал себя по шее.

«Оного больше не потребляю. Но сейчас, знаете, я бы чего-нибудь такого за компанию... Соснак из легких виноградных вин... Нет, шучу».

«Да, не нужно, это ни к чему, меня все равно напоить невозможно. Вот, значит, какие дела. Ох, плохо я сегодня спал... Ох-о-хох. Ужасная вещь бессонница», — продолжал я, глядя на него сквозь слезы. — «Ох... Простите, раззевался».

Ардалион, мечтательно улыбаясь, играл ложечкой. Его толстое лицо с львиной переносицей было наклонено, и рыжие веки с бородавках ресниц полуприкрывали его возмутительно яркие глаза. Вдруг, блеснув на меня, он сказал:

«Если бы я съездил в Италию, то действительно написал бы роскошные вещи. Из выручки за них я бы сразу погасил свой долг».

«Долг? У вас есть долги?» — спросил я насмешливо.

«Полноте, Герман Карлович, — проговорил он, впервые кажется назвав меня по имени-отчеству, — вы же понимаете, куда я гну. Одолжите мне сотенку, другую, и я буду молиться за вас во всех флорентийских церквах».

«Вот вам пока что на визу, — сказал я, распахнув бумажник. — Только сделайте это немедленно, а то пропьете. Завтра же утром пойдите».

«Дай лапу», — сказал Ардалион.

Некоторое время мы оба молчали, — он от избытка малоинтересных мне чувств, я потому, что дело было сделано, говорить же было не о чем.

«Идея, — вдруг воскликнул Ардалион, — почему бы вам, дорогой, не отпустить со мной Лидку, ведь тут тощица страшная, барыньке нужны развлечения. Я, знаете, если поеду один... Она ведь ревнучая, — ей все будет казаться, что где-то нализываюсь. Право же, отпустите ее со мной на месяц, а?»

«Может быть, погода приедет, — оба приедем, — я тоже давно мечтаю о небольшом путешествии. Ну-с, мне нужно идти. Два кофе, — все, кажется».

## Глава VIII

На следующий день спозаранку — не было еще девяти — я отправился на одну из центральных станций подземной дороги и там у выхода занял стратегическую позицию. Через ровные промежутки времени из каменных недр вырывалась наружу очередная партия людей с портфелями — вверх по лестнице, шаркая, топая, иногда со звяком стукался носок о металл объявления, которым какая-то фирма находит уместным облицовывать подъем ступеней. На предпоследней, спиной к стене, держа перед собою шляпу (кто был первый гениальный нищий, применивший шляпу к своей профессии?), нарочито сутулился пожилой оборванец. Повыше стояли, увешанные плакатами, газетчики в шутовских фуражках. Был темный жалкий день; несмотря на гетры, у меня мерзли ноги. Наконец, ровно без пяти девять, как я и рассчитывал, появилась из глубины фигура Орловиуса. Я тотчас повернулся и медленно пошел прочь. Орловиус перегнал меня, оглянулся, оскалил свои прекрасные, но фальшивые зубы. Встреча вышла как бы случайной, что мне и нужно было.

«Да, по пути, — ответил я на его вопрос. — Хочу зайти в банк».

«Собачья погода, — сказал Орловиус, шлепая рядом со мной. — Как поживает ваша супруга?»

«Спасибо, благополучно».

«А у вас все идет хорошо?» — учтиво продолжал он.

«Не очень. Нервное настроение, бессонница, всякие пустяки, которые прежде забавляли бы меня, а теперь раздражают».

«Кушайте лимоны», — вставил Орловиус.

«Прежде забавляли бы, а теперь раздражают. Вот например... — я усмехнулся и вынул бумажник, — получил я дурацкое шантажное письмо, и оно как-то повлияло на меня. Кстати, прочтите, — курьезно».

Орловиус остановился и близко придвинул листок к очкам. Пока он читал, я рассматривал витрину, где торжественно и глупо белели две ванны и разные другие туалетные снаряды, — а рядом был магазин гробов, и там тоже все было торжественно и глупо.

«Однако, — сказал Орловиус. — Знаете ли вы, кто это написал?»

Я положил письмо обратно в бумажник и ответил, посмеиваясь:

«Да, конечно, знаю. Проходимец. Служил когда-то у знакомых. Ненормальный, даже просто безумный субъект. Вбил себе в голову, что я лишил его какого-то наследства, — знаете, как это бывает, — навязчивая идея, и ничем ее не вышибешь».

Орловиус подробно объяснил мне, какую опасность безумцы представляют для общества, и спросил, не собираюсь ли я обратиться в полицию.

Я пожал плечами. «Ерунда, в общем не стоит об этом говорить. Что вы думаете о речи канцлера, — читали?»

Мы продолжали идти рядом, мирно беседуя о внешней и внутренней политике. У дверей его конторы я по правилу русской вежливости стал снимать перчатку.

«Вы нервозны, это плохо, — сказал Орловиус. — Прошу вас, кланяйтесь вашей супруге».

«Поклонюсь, поклонюсь. Только знаете, — я вам завидую, что вы не женаты».

«Как так?» — спросил Орловиус.

«А так. Тяжело касаться этого, но брак мой несчастлив. Моя супруга сердце имеет зыбковатое, да и есть у нее привязанность на стороне, — да, легкое и холодное существо, так что не думаю, чтоб она долго плакала, если бы со мною... если бы я... Однако, простите, все это очень личные печали».

«Кое-что я давно наблюдал», — сказал Орловиус, какая головой глубокомысленно и сокрушенно.

Я пожал его шерстяную руку, мы расстались. Вышло великолепно. Таких людей, как Орловиус, весьма легко провести, ибо порядочность плюс сентиментальность как раз равняется глупости. Готовый всякому сочувствовать, он не только стал тотчас на сторону благородного любящего мужа, когда я оклеветал мою примерную жену, но еще решил про себя, что сам кое-что заметил, «наблюдал» — как он выразился. Мне было бы презанятно узнать, что этот подслеповатый осел мог заметить в наших безоблачных отношениях. Да, вышло великолепно. Я был доволен. Я был бы еще более доволен, кабы не заминка с визой. Ардалион с помощью Лиды заполнил анкетные листы, но оказалось, что он визу получит не раньше, чем через две недели. Оставалось около месяца до девятого марта, — в крайнем случае, я всегда мог написать Феликсу о перемене даты.

Наконец — в последних числах февраля — Ардалиону визу поставили, и он купил себе билет. Кроме денег на билет, я дал ему еще двести марок. Он решил ехать первого марта, — но вдруг выяснилось, что успел он деньги кому-то одолжить и принужден ждать их возвращения. К нему будто бы явился приятель, схватился за виски и простонал: «Если я к вечеру не добуду двухсот марок, все погибло». Довольно таинственный случай; Ардалион говорил, что тут «дело чести», — я же питаю сильнейшее недоверие к туманным делам, где замешана честь, причем, заметьте, не своя, голодран-

цева, а всегда честь какого-то третьего или даже четвертого лица, имя которого хранится в секрете. Ардалион будто бы деньги ему дал, и тот поклялся, что вернет их через три дня, — обычный срок у этих потомков феодалов. По истечении сего срока Ардалион пошел должника разыскивать и, разумеется, нигде не нашел. В ледяном бешенстве я спросил, как его зовут. Ардалион помялся и сказал: «Помните, тот, который к вам раз заходил». Я, как говорится, света невзвидел.

Успокоившись, я, пожалуй, и возместил бы ему убыток, если бы дело не усложнялось тем, что у меня самого денег было в обрез, — а мне следовало непременно иметь при себе некоторую сумму. Я сказал ему, что пусть едет так как есть, с билетом и несколькими марками в кармане, — потом дошло. Он ответил, что так и сделает, но еще обождет денька два, авось деньги вернутся. Действительно, третьего марта он сообщил мне по телефону, что долг ему возвращен, и что завтра вечером он едет. Четвертого оказалось, что Лида, у которой почему-то хранился Ардалионов билет, не может теперь вспомнить, куда его положила. Ардалион мрачно сидел в прихожей и повторял: «Ну что ж, значит — не судьба». Издали доносился стук ящиков, неистовое шерошение бумаги, — это Лида искала билет. Через час Ардалион махнул рукой и ушел. Лида сидела на постели, плача навзрыд. Пятого утром она нашла билет среди грязного белья, приготовленного для прачки, а шестого мы поехали Ардалиона провожать.

Поезд отходил в 10.10. Стрелка часов делала стойку, нацеливаясь на минуту, вдруг прыгала на нее, и вот уже нацеливалась на следующую. Ардалиона все не было. Мы ждали у вагона с надписью «Милан». «В чем дело? — причитывала Лида. — Почему его нет, я беспокоюсь». Вся эта идиотская канитель с Ардалионовым отъездом меня так бесила, что теперь я боялся разжать зубы, — иначе со мной бы тут же на вокзале сделался какой-нибудь припадок. К нам подошли двое мизерных господ, — один в синем макинтоше, другой

в русском пальто с облезлым барашковым воротником, — и, минуя меня, любезно поздоровались с Лидой.

«Почему его нет? Как вы думаете?» — спросила Лида, глядя на них испуганными глазами и держа на отлете букетик фиалок, который она нашла нужным для этой скотины купить. Макинтош развел руками, а барашковый проговорил басом:

«Несцимус. Мы не знаем».

Я почувствовал, что не могу дольше сдерживаться и, круто повернувшись, пошел к выходу. Лида меня догнала: «Куда ты, погоди, — я уверена, что...»

В эту минуту появился вдаль Ардалион. Угрюмый человек с напряженным лицом поддерживал его под локоть и нес его чемодан. Ардалион был так пьян, что едва держался на ногах; вином несло и от угрюмца.

«Он в таком виде не может ехать!» — крикнула Лида.

Красный, с бисером пота на лбу, растерянный, валкий, без пальто (смутный расчет на тепло юга), Ардалион полез со всеми лобызаться. Я едва успел отстраниться.

«Художник Керн, — отрекомендовался угрюмец, сунув мне влажную руку. — Имел счастье с вами встречаться в притонах Каира».

«Герман, его так нельзя отпустить», — повторяла Лида, теребя меня за рукав.

Между тем двери уже захлопывались. Ардалион, качаясь и призывно крича, пошел было за повозкой продавца бисквитов, но друзья поймали его, и вдруг он в охапку сгреб Лиду и стал смачно ее целовать.

«Эх ты, коза, — приговаривал он. — Прощай, коза, спасибо, коза».

«Господа, — сказал я совершенно спокойно, — помогите мне его поднять в вагон».

Поезд поплыл. Сияя и вопя, Ардалион прямо-таки вываливался из окна. Лида бежала рядом и кричала ему что-то. Когда проехал последний вагон, она, согнувшись, посмотрела под колеса и перекрестилась. В руке она все еще держала букет.

Какое облегчение... Я вздохнул всей грудью и шумно выпустил воздух. Весь день Лида молча волновалась, но потом пришла телеграмма, два слова: «Привет с дороги», и она успокоилась. Теперь предстояло последнее и самое скучное: поговорить с ней, натаскать ее.

Почему-то не помню, как я к этому разговору приступил: память моя включается, когда уже разговор в полном ходу. Лида сидит против меня на диване и на меня смотрит в немом изумлении. Я сижу на кончике стула, изредка, как врач, трогаю ее за кисть — и ровным голосом говорю, говорю, говорю. Я рассказал ей то, чего не рассказывал никогда. Я рассказал ей о младшем моем брате. Он учился в Германии, когда началась война, был призван, сражался против России. Помню его тихим, унылым мальчиком. Меня родители били, а его баловали, но он был с ними неласков, зато ко мне относился с невероятным, более чем братским, обожанием, всюду следовал за мной, заглядывал в глаза, любил все, что меня касалось, любил нюхать и мять мой платок, надевать еще теплую мою сорочку, чистить зубы моей щеткой. Нет, — не извращенность, а сильное выражение неизъяснимого нашего единства: мы были так похожи друг на друга, что даже близкие родственники путали нас, и с годами это сходство становилось все безупречнее. Когда, помнится, я его провожал в Германию, — это было незадолго до выстрела Принципа, — бедняжка так рыдал, так рыдал, — будто предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале смотрели на нас, — смотрели на этих двоих одинаковых юношей, державшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорбным восторгом... Потом война. Томясь в далеком русском плену, я ничего о брате не слышал, но почему-то был уверен, что он убит. Душные годы, траурные годы. Я приучил себя не думать о нем, и даже потом, когда женился, ничего Лиде о нем не рассказал, — уж слишком все это было тягостно. А затем, вскоре по приезде с женой в Германию, я узнал от немецкого родственника, появившегося мимоходом, на миг, толь-

ко ради одной реплики, что Феликс мой жив, но нравственно погиб. Не знаю, что именно, какое крушение души... Должно быть, его нежная психика не выдержала бранных испытаний, — а мысль, что меня уже нет (странно, — он был тоже уверен в смерти брата), что он больше никогда не увидит обожаемого двойника, или, вернее, усовершенствованное издание собственной личности, эта мысль изуродовала его жизнь, ему показалось, что он лишился опоры и цели, — и что отныне можно жить кое-как. И он опустился. Этот человек, с душой как скрипка, занимался воровством, подлогами, нюхал кокаин и наконец совершил убийство: отравил женщину, содержавшую его. О последнем деле я узнал из его же уст; к ответственности его так и не привлекли, настолько ловко он скрыл преступление. А встретился я с ним так случайно, так неожиданно и мучительно... подавленность, которую даже Лида во мне замечала, была как раз следствием той встречи, а произошла она в Праге, в одном кафе, — он, помню, встал, увидя меня, раскрыл объятия и повалился навзничь в глубоком обмороке, длившемся восемнадцать минут.

Да, страшная встреча. Вместо нежного, маленького уваленья, я нашел говорливого безумца с резкими телодвижениями... Счастье, которое он испытал, встретив меня, дорогого Германа, внезапно, в чудном сером костюме, восставшего из мертвых, не только не поправило его душевных дел, но совсем, совсем напротив, убедило его в недопустимости и невозможности жить с убийством на совести. Между нами произошла ужасная беседа, он целовал мои руки, он прощался со мной... Я сразу же понял, что поколебать в нем решение покончить с собой уже не под силу никому, даже мне, имевшему на него такое идеальное влияние. Для меня это были нелегкие минуты. Ставя себя на его место, я отлично представлял себе, в какой изошренный застеноч превратилась его память, и понимал, увы, что выход один — смерть. Не дай Бог никому переживать такие минуты, видеть, как брат гибнет, и не иметь

морального права гибель его предотвратить... Но вот в чем сложность: его душа, не чуждая мистических устремлений, непременно жаждала искупления, жертвы, — просто пустить себе пулю в лоб казалось ему недостаточным. «Я хочу смерть мою кому-нибудь подарить, — внезапно сказал он, и глаза его налились бриллиантовым светом безумия. — Подарить мою смерть. Мы с тобой еще больше схожи, чем прежде. В этом сходстве я чувствую божественное намерение. Наложить на рояль руки еще не значит сотворить музыку, а я хочу музыки. Скажи, тебе может быть выгодно было бы исчезнуть со света?» Я сначала не понял его вопроса, мне сдавалось, что Феликс бредит, — но из его дальнейших слов выяснилось, что у него есть определенный план. Так! С одной стороны бездна страждущего духа, с другой — деловые проекты. При грозном свете его трагической судьбы и позднего геройства та часть его плана, которая касалась меня, моей выгоды, моего благополучия, казалась глуповато-материальной, как — скажем — громоотвод на здании банка, вдруг освещенный ночью молнией.

Дойдя примерно до этого места моего рассказа, я остановился, откинулся на спинку стула, сложив руки и пристально глядя на Лиду. Она как-то стекла с дивана на ковер, подползла на коленях, прижалась головой к моему бедру и заглушенным голосом принялась меня утешать: «Какой ты бедный, — бормотала она, — как мне больно за тебя, за брата... Боже мой, какие есть несчастные люди на свете. Он не должен погибнуть, всякого человека можно спасти».

«Его спасти нельзя, — сказал я с так называемой горькой усмешкой. — Он решил умереть в день своего рождения, девятого марта, то есть послезавтра, воспрепятствовать этому не может сам президент. Самоубийство есть самодурство. Все, что можно сделать, это исполнить каприз мученика, облегчить его участь сознанием, что, умирая, он творит доброе дело, приносит пользу, — грубую, материальную пользу, — но все же пользу».

Лида обхватила мою ногу и уставилась на меня своими шоколадными глазами.

«Его план таков, — продолжал я ровным тоном, — жизнь моя, скажем, застрахована в столько-то тысяч. Где-нибудь в лесу находят мой труп. Моя вдова, то есть ты...»

«Не говори таких ужасов, — крикнула Лида, вскочив с ковра. — Я только что где-то читала такую историю... Пожалуйста, замолчи...»

«...моя вдова, то есть ты, получает эти деньги. Погодя уезжает в укромное место. Погодя я инкогнито соединяюсь с нею, даже может быть снова на ней женюсь — под другим именем. Мое ведь имя умрет с моим братом. Мы с ним схожи, не перебивай меня, как две капли крови, и особенно будет он на меня похож в мертвом виде».

«Перестань, перестань! Я не верю, что его нельзя спасти... Ах, Герман, как это все нехорошо... Где он сейчас, тут, в Берлине?»

«Нет, в провинции... Ты, как дура, повторяешь: спасти, спасти... Ты забываешь, что он убийца и мистик. Я же со своей стороны не имею права отказать ему в том, что может облегчить и украсить его смерть. Ты должна понять, что тут мы вступаем в некую высшую область. Ведь я же не говорю тебе: послушай, дела мои идут плохо, я стою перед банкротством, мне все опротивело, я хочу уехать в тихое место и там предаваться созерцанию и куроводству, — давай воспользуемся редким случаем, — всего этого я не говорю, хотя я мечтаю о жизни на лоне природы, — а говорю другое, — я говорю: как это ни тяжело, как это ни страшно, но нельзя отказать родному брату в его предсмертной просьбе, нельзя помешать ему сделать добро, — хотя бы такое добро...»

Лида перемигнула, — я ее совсем заплевал, — но вопреки прыщущим словам прижалась ко мне, хватая меня, а я продолжал:

«...Такой отказ — грех, этот грех не хочу, не хочу брать на свою совесть. Ты думаешь, я не возражал ему,

не старался его образумить, ты думаешь, мне легко было согласиться на его предложение, ты думаешь, я спал все эти ночи, — милая моя, вот уже полгода, как я страдаю, страдаю так, как моему злейшему врагу не дай Бог страдать. Очень мне нужны эти тысячи! Но как мне отказаться, скажи, как могу я вконец замучить, лишиться последней радости... Э, да что говорить!»

Я отстранил ее, почти отбросил и стал шагать по комнате. Я глотал слезы, я всхлипывал. Метались малиновые тени мелодрам.

«Ты в миллион раз умнее меня, — тихо сказала Лида, ломая руки (да, читатель, дикси, ломая руки), — но все это так страшно, так ново, мне казалось, что это только в книгах... Ведь это значит... Все ведь абсолютно переменится, вся жизнь... Ведь... Ну, например, как будет с Ардалионом?»

«А ну его к чертовой матери! Тут речь идет о величайшей человеческой трагедии, а ты мне суешь...»

«Нет, я просто так спросила. Ты меня огорошил, у меня все идет кругом. Я думаю, что — ну, не сейчас, а потом, ведь можно будет с ним видиться, ему объяснить, — Герман, как ты думаешь?»

«Не заботься о пустяках, — сказал я, дернувшись, — там будет видно. Да что это в самом деле (голос мой вдруг перешел в тонкий крик), что ты вообще за колода такая...»

Она расплакалась и сделалась вдруг податливой, нежной, припала ко мне вздрагивая: «Прости меня, — лепетала она, — ах, прости... Я правда дура. Ах, прости меня. Весь этот ужас, который случился... Еще сегодня утром все было так ясно, так хорошо, так всегдашненько... Ты исстрадался, милый, я безумно жалею тебя. Я сделаю все, что ты хочешь».

«Сейчас я хочу кофе, ужасно хочу».

«Пойдем на кухню, — сказала она, утирая слезы. — Я все сделаю. Только побудь со мной, мне страшно».

На кухне, все еще потягивая носом, но уже успокоившись, она насыпала коричневых крупных зерен в горло кофейной мельницы и, сжав ее между колен,

завертела рукояткой. Сперва шло туго, с хрустом и треском, потом вдруг полегчало.

«Вообрази, Лида, — сказал я, сидя на стуле и болтая ногами, — вообрази, что все, что я тебе рассказываю — выдуманная история. Я сам, знаешь, внушил себе, что это сплошь выдуманная или где-то мной прочитанная история, — единственный способ не сойти от ужаса с ума. Итак: предприимчивый самоубийца и его застрахованный двойник... видишь ли, когда держатель полиса кончает с собой, то страховое общество платить не обязано. Поэтому...»

«Я сварила очень крепкое, — сказала Лида, — тебе понравится. Да, я слушаю тебя».

«...поэтому герой этого сенсационного романа требует следующей меры: дело должно быть обставлено так, чтобы получилось впечатление убийства. Я не хочу входить в технические подробности, но в двух словах: оружие прикреплено к дереву, от гашетки идет веревка, самоубийца, отвернувшись, дергает, бах в спину, — приблизительно так».

«Ах, подожди, — воскликнула Лида, — я что-то вспомнила: он как-то приделал револьвер к мосту... Нет, не так: он привязал к веревке камень... Позволь, как же это было? Да: к одному концу — большой камень, а к другому револьвер, и значит выстрелил в себя... А камень упал в воду, а веревка — за ним через перила, и револьвер туда же, и все в воду... Только я не помню, зачем это все нужно было...»

«Одним словом, концы в воду, — сказал я, — а на мосту мертвец. Хорошая вещь кофе. У меня безумно болела голова, теперь гораздо лучше. Ну так вот, ты, значит, понимаешь, как это происходит...»

Я пил мелкими глотками огненное кофе и думал: Ведь воображения у нее ни на грош. Через два дня меняется жизнь, неслыханное событие, землетрясение... а она со мной попивает кофе и вспоминает похождения Шерлока...

Я, однако, ошибся: Лида вздрогнула и сказала, медленно опуская чашку:

«Герман, ведь если это все так скоро, нужно начать укладываться. И знаешь, масса белья в стирке... И в чистке твой смокинг».

«Во-первых, милая моя, я вовсе не желаю быть сожженным в смокинге; во-вторых, выкинь из головы, забудь совершенно и моментально, что нужно тебе что-то делать, к чему-то готовиться и так далее. Тебе ничего не нужно делать по той причине, что ты ничего не знаешь, ровно ничего, — заруби это на носу. Никаких туманных намеков твоим знакомым, никакой суеты и покупок, — запомни это твердо, матушка, иначе будет для всех плохо. Повторяю: ты еще ничего не знаешь. Послезавтра твой муж поедет кататься на автомобиле и не вернется. Вот тогда-то, и только тогда, начнется твоя работа. Она простая, но очень ответственная. Пожалуйста, слушай меня внимательно:

Десятого утром ты позвонишь Орловиусу и скажешь ему, что я куда-то уехал, не ночевал, до сих пор не вернулся. Спросишь, как дальше быть. Исполнишь все, что он посоветует. Пускай, вообще, он берет дело в свои руки, обращается в полицию и т. д. Главное, постарайся убедить себя, что я, точно, погиб. Да в конце концов это так и будет, — брат мой часть моей души».

«Я все сделаю, — сказала она. — Все сделаю ради него и ради тебя. Но мне уже так страшно, и все у меня путается».

«Пускай не путается. Главное — естественность горя. Пускай оно будет не ахти какое, но естественное. Для облегчения твоей задачи я намекнул Орловиусу, что ты давно разлюбила меня. Итак, пусть это будет тихое, сдержанное горе. Вздыхай и молчи. Когда же ты увидишь мой труп, т. е. труп человека, неотличимого от меня, то ты, конечно, будешь потрясена».

«Ой, Герман, я не могу. Я умру со страху».

«Гораздо было бы хуже, если бы ты в мертвецкой стала пудрить себе нос. Во всяком случае, сдержись, не кричи, а то придется, после криков, повесить общее производство твоего горя, и получится плохой театр.

Теперь дальше. Предав мое тело огню, в соответствии с завещанием, выполнив все формальности, получив от Орловиуса то, что тебе причитается, и распорядившись деньгами сообразно с его указаниями, ты уедешь за границу, в Париж. Где ты в Париже остановишься?»

«Я не знаю, Герман».

«Вспомни, где мы с тобой стояли, когда были в Париже. Ну?»

«Да, конечно, знаю. Отель».

«Но какой отель?»

«Я ничего не могу вспомнить, Герман, когда ты смотришь так на меня. Я тебе говорю, что знаю. Отель что-то такое».

«Подскажу тебе: имеет отношение к траве. Как трава по-французски?»

«Сейчас. Эрб. О, вспомнила: «Малерб».

«На всякий случай, если забудешь опять: наклейка отеля есть на черном сундуке. Всегда можешь посмотреть».

«Ну, знаешь, Герман, я все-таки не такая растяпа. А сундук я с собой возьму. Черный».

«Вот ты там и остановишься. Дальше следует нечто крайне важное. Но сначала все повтори».

«Я буду печальна. Я буду стараться не очень плакать. Орловиус. Я закажу себе два черных платья».

«Погоди. Что ты сделаешь, когда увидишь труп?»

«Я упаду на колени. Я не буду кричать».

«Ну вот видишь, как все это хорошо выходит. Ну, дальше?»

«Дальше, я его похороню».

«Во-первых, не его, а меня. Пожалуйста, не спутай. Во-вторых, не похороны, а сожжение. Орловиус скажет пастору о моих достоинствах, нравственных, гражданских, супружеских. Пастор в крематорской часовне произнесет прочувствованную речь. Мой гроб под звуки органа тихо опустится в преисподнюю. Вот и все. Затем?»

«Затем — Париж. Нет, постой, сперва всякие денежные формальности. Мне, знаешь, Орловиус надо-

ест хуже горькой редьки. В Париже остановлюсь в отеле — ну вот, я знала, что забуду, — подумала, что забуду, и забыла. Ты меня как-то теснишь... Отель... отель... малерб! На всякий случай — черный сундук».

«Так. Теперь важное: как только ты приедешь в Париж, ты меня известишь. Как мне теперь сделать, чтобы ты запомнила адрес?»

«Лучше запиши, Герман. У меня голова сейчас не работает. Я ужасно боюсь все перепутать».

«Нет, милая моя, никаких записываний. Уж хотя бы потому, что записку все равно потеряешь. Адрес тебе придется запомнить, волей-неволей. Это абсолютно необходимо. Категорически запрещаю его записывать. Дошло?»

«Да, Герман. Но я же не могу запомнить...»

«Глупости. Адрес очень прост. Пострестант<sup>1</sup>. Икс». — (я назвал город).

«Это там, где прежде жила тетя Лиза? Ну да, это легко вспомнить. Я тебе говорила про нее. Она теперь живет под Ниццей. Поезжай в Ниццу».

«Вот именно. Значит, ты запомнила эти два слова. Теперь — имя. Ради простоты я тебе предлагаю написать так: Мсье Малерб».

«Она вероятно все такая же толстая и бойкая. Знаешь, Ардалион писал ей, прося денег, но конечно...»

«Все это очень интересно, но мы говорим о деле. На какое имя ты мне напишешь?»

«Ты еще не сказал, Герман».

«Нет, сказал, — я предложил тебе: Мсье Малерб».

«Но как же, ведь это гостиница, Герман?»

«Вот потому-то. Тебе будет легче запомнить по ассоциации».

«Ах, я забуду ассоциацию, Герман. Это безнадежно. Пожалуйста, не надо ассоциаций. И вообще — ужасно поздно, я устала».

«Хорошо. Придумай сама имя. Имя, которое ты наверное запомнишь. Ну, хочешь — Ардалион?»

---

<sup>1</sup> До востребования (*франц.* *poste restante*).

«Хорошо, Герман».

«Вот великолепно. Мсье Ардалион. Пострестант. Икс. А напишешь ты мне так: Дорогой друг, ты наверное слышал о моем горе и дальше в том же роде. Всего несколько слов. Письмо ты опустишь сама. Письмо ты опустишь сама. Есть?»

«Хорошо, Герман».

«Теперь, пожалуйста, повтори».

«Я, знаешь, прямо умираю от напряжения. Боже мой, половина второго. Может быть, завтра?»

«Завтра все равно придется повторить. Ну-с, пожалуйста, я вас слушаю».

«Отель Малерб. Я приехала. Я опустила письмо. Сама. Ардалион, пострестант, Икс. А что дальше, когда я напишу?»

«Это тебя не касается. Там будет видно. Ну, что же, — я могу быть уверен, что ты все это исполнишь?»

«Да, Герман. Только не заставляй меня опять повторять. Я смертельно устала».

Стоя посреди кухни, она расправила плечи, сильно затрясла откинутой головой и повторила, ероша волосы: «Ах, как я устала, ах...» — и «ах» перешло в зевоту. Мы отправились спать. Она разделась, кидая куда попало платье, чулки, разные свои дамские штучки, рухнула в постель и тотчас стала посвистывать носом. Я лег тоже и потушил свет, но спать не мог. Помню, она вдруг проснулась и тронула меня за плечо.

«Что тебе?» — спросил я с притворной сонливостью.

«Герман, — залепетала она, — Герман, послушай, — а ты не думаешь, что это... жульничество?»

«Спи, — ответил я. — Не твоего ума дело. Глубокая трагедия, — а ты — о глупостях. Спи, пожалуйста».

Она сладко вздохнула, повернулась на другой бок и засвистала опять.

Любопытная вещь: невзирая на то, что я себя ничуть не обольщал насчет способностей моей жены, тупой, забывчивой и нерасторопной, все же я был почему-то совершенно спокоен, совершенно уверен в том, что ее

преданность бессознательно поведет ее по верному пути, не даст ей оступиться и — главное — заставит ее хранить мою тайну. Я уже ясно представлял себе, как, глядя на ее наивно искусственное горе, Орловиус будет опять глубокомысленно сокрушенно качать головой, — и, Бог его знает, быть может подумает: не любовник ли уколошил бедного мужа, — но тут он вспомнит шантажное письмо от неизвестного безумца.

Весь следующий день мы просидели рядом, и снова, кропотливо и настойчиво, я заряжал жену, набивал ее моей волей, как вот гуся насильно пичкают кукурузой, чтобы набухла печень. К вечеру она едва могла ходить. Я остался доволен ее состоянием. Мне самому теперь было пора готовиться. Помню, как в тот вечер я мучительно прикидывал, сколько денег взять с собой, сколько оставить Лиде, мало было гамзы, очень мало. У меня явилась мысль прихватить с собой на всякий случай ценную вещицу, и я сказал Лиде:

«Дай-ка мне твою московскую брошку».

«Ах да, брошку», — сказала она, вяло вышла из комнаты, но тотчас вернулась, легла на диван и зарыдала, как не рыдала еще никогда.

«Что с тобой, несчастная?»

Она долго не отвечала, а потом, глупо всхлипывая и не глядя на меня, объяснила, что брошка заложена, что деньги пошли Ардалиону, ибо приятель ему денег не вернул.

«Ну, ладно, ладно, не реви, — сказал я. — Ловко устроился, но слава Богу уехал, убрался, — это главное».

Она мигом успокоилась и даже просияла, увидя, что я не сержусь, и пошла, шатаясь, в спальню, долго рылась, принесла какое-то колечко, сережки, старомодный портсигар, принадлежавший ее бабушке. Ничего из этого я не взял.

«Вот что, — сказал я, блуждая по комнате и кусая заусеницы, — вот что, Лида. Когда тебя будут спрашивать, были ли у меня враги, когда будут допытываться, кто же это мог убить меня, говори: не знаю.

И вот еще что: я беру с собой чемодан, но это конечно между нами. Не должно так казаться, что я собрался в какое-то путешествие, — это выйдет подозрительно. Впрочем...» — тут, помнится, я задумался. Странно, — почему это, когда все было так чудесно продумано и предусмотрено, вылезала торчком мелкая деталь, как при укладке вдруг замечаешь, что забыл уложить маленький, но громоздкий пустяк, — есть такие недобросовестные предметы. В мое оправдание следует сказать, что вопрос чемодана был, пожалуй, единственный пункт, который я решил изменить: все остальное шло именно так, как я замыслил давным-давно, может быть много месяцев тому назад, может быть в ту самую секунду, когда я увидел на траве спящего бродягу, точь-в-точь похожего на мой труп. Нет, — подумал я, — чемодана все-таки не следует брать, все равно кто-нибудь да увидит, как несу его вниз.

«Чемодан я не беру», — сказал я вслух и опять зашагал по комнате.

Как мне забыть утро девятого марта? Само по себе оно было бледное, холодное, ночью выпало немного снега, и швейцары подметали тротуары, вдоль которых тянулся невысокий снеговой хребет, а асфальт был уже чистый и черный, только слегка лоснился. Лида мирно спала. Все было тихо. Я приступил к одеванию. Оделся я так: две рубашки, одна на другую, — причем верхняя, уже ношенная, была для него. Кальсон — тоже две пары, и опять же верхняя предназначалась ему. Засим я сделал небольшой пакет, в который вошли маникюрный прибор и все что нужно для бритья. Этот пакетик я сразу же, боясь его забыть, сунул в карман пальто, висевшего в прихожей. Далее я надел две пары носков (верхняя с дыркой), черные башмаки, мышьиные гетры, — и в таком виде, т. е. уже изящно обутый, но еще без панталон, некоторое время стоял посреди комнаты, вспоминая, все ли так делаю, как было решено. Вспомнив, что нужна лишняя пара подвязок, я разыскал старую и присоединил ее к пакетику, для чего при-

шлось опять выходить в переднюю. Наконец выбрал любимый сиреневый галстук и плотный темно-серый костюм, который обычно носил последнее время. Разложил по карманам следующие вещи: бумажник (около полутора тысяч марок), паспорт, кое-какие незначительные бумажки с адресами, счетами... Спыхватился: паспорт было ведь решено не брать, — очень тонкий маневр: незначительные бумажки как-то художественнее устанавливали личность. Еще взял я: ключи, портсигар, зажигалку. Теперь я был одет, я хлопал себя по карманам, я отдувался, мне было жарко в двойной оболочке белья. Оставалось сделать самое главное, — это была целая церемония: медленное выдвигание ящика, где он покоился, тщательный осмотр, далеко впрочем не первый. Он был отлично смазан, он был туго набит... Мне его подарил в двадцатом году в Ревеле незнакомый офицер, — вернее, просто оставил его у меня, а сам исчез. Я не знаю, что стало потом с этим любезным поручиком.

Между тем Лида проснулась, запахла в земляничный халат, мы сели в столовой, Эльза принесла кофе. Когда Эльза ушла:

«Ну-с, — сказал я, — день настал, сейчас поеду».

Маленькое отступление литературного свойства. Ритм этот — нерусский, но он хорошо передает мое эпическое спокойствие и торжественный драматизм положения.

«Герман, пожалуйста, останься, никуда не езди», — тихо проговорила Лида и, кажется, сложила ладони.

«Ты, надеюсь, все запомнила», — продолжал я невозмутимо.

«Герман, — повторила она, — не езди никуда. Пускай он делает все, что хочет, — это его судьба, ты не вмешивайся...»

«Я рад, что ты все запомнила, — сказал я с улыбкой, — ты у меня молодец. Вот, съем еще булочку и двинусь».

Она расплакалась. Потом высморкалась, громко трубя, хотела что-то сказать, но опять принялась пла-

кать. Зрелище было довольно любопытное: я — хладнокровно мажущий маслом рогульку, Лида — сидящая против меня и вся прыгающая от плача. Я сказал с полным ртом: «По крайней мере, ты сможешь во всеуслышание — ( — пожевал, проглотил, — ) — вспомнить, что у тебя было дурное предчувствие, хотя уезжал я довольно часто и не говорил куда. А враги, сударыня, у него были? Не знаю, господин следователь».

«Но что же дальше будет?» — тихонько простонала Лида, медленно разводя руками.

«Ну, довольно, моя милая, — сказал я другим тоном. — Поплакала, и будет. И не вздумай сегодня реветь при Эльзе».

Она утрамбовала платком глаза, грустно хрюкнула и опять развела руками, но уже молча и без слез.

«Все запомнила?» — в последний раз спросил я, пристально смотря на нее.

«Да, Герман. Все. Но я так боюсь...»

Я встал, она встала тоже. Я сказал:

«До свидания, будь здорова, мне пора к пациенту».

«Герман, послушай, ты же не собираешься присутствовать?»

Я даже не понял.

«То есть как: присутствовать?»

«Ах, ты знаешь, что я хочу сказать. Когда... Ну, одним словом, когда... с этой веревочкой...»

«Вот дура, — сказал я. — А как же иначе? Кто потом все приберет? Да и нечего тебе так много думать, пойди в кинематограф сегодня. До свидания, дура».

Мы никогда не целовались, — я не терплю слякоти лобзаний. Говорят, японцы тоже — даже в минуты страсти — никогда не целуют своих женщин, — просто им чуждо и непонятно, и может быть даже немного противно это прикосновение голыми губами к эпителию ближнего. Но теперь меня вдруг потянуло жену поцеловать, она же была к этому неготова: как-то так вышло, что я всего лишь скользнул по ее волосам и уже не повторил попытки, а, щелкнув почему-то каб-

луками, только тряхнул ее вялую руку и вышел в переднюю. Там я быстро оделся, схватил перчатки, проверил, взят ли сверток, и уже идя к двери услышал, как из столовой она меня зовет плаксивым и тихим голосом, но я не обратил на это внимания, мне хотелось поскорее выбраться из дому.

Я направился во двор, где находился большой, полный автомобилей гараж. Меня приветствовали улыбками. Я сел, пустил мотор в ход. Асфальтовая поверхность двора была немного выше поверхности улицы, так что при въезде в узкий наклонный туннель, соединявший двор с улицей, автомобиль мой, сдержанный тормозами, легко и беззвучно нырнул.

## Глава IX

Сказать по правде — испытываю некоторую усталость. Я пишу чуть ли не от зари до зари, по главе в сутки, а то и больше. Великая, могучая вещь — искусство. Ведь мне, в моем положении, следовало бы действовать, волноваться, петлить... Прямой опасности нет, конечно, — и я полагаю, что такой опасности никогда не будет, — но все-таки странно — сиднем сидеть и писать, писать, писать, или же подолгу думать, думать, думать, — что в общем то же самое. И чем дальше я пишу, тем яснее становится, что я этого так не оставлю, договорюсь до главного, — и уже непременно, непременно опубликую мой труд, несмотря на риск, — а впрочем и риска-то особенного нет: как только рукопись отошлю, — смоюсь; мир достаточно велик, чтобы мог спрятаться в нем скромный, бородатый мужчина.

Решение труд мой вручить тому густо психологическому беллетристу, о котором я как будто уже упоминал, даже, кажется, обращал к нему мой рассказ (давно бросил написанное перечитывать, — некогда да и тошно...), было принято мною не сразу, — сначала я думал, не проще ли всего послать оный труд прямо какому-нибудь издателю, немецкому, французскому,

американскому, — но ведь написано-то по-русски, и не все переводимо, — а я, признаться, дорожу своей литературной колоратурой и уверен, что пропади иной выгиб, иной оттенок — все пойдет насмарку. Еще я думал послать его в СССР, — но у меня нет необходимых адресов, — да и не знаю, как это делается, пропустят ли манускрипт через границу, — ведь я по привычке пользуюсь старой орфографией, — переписывать же нет сил... Что переписывать! Не знаю, допишу ли вообще, выдержу ли напряжение, не умру ли от кровоизлияния в мозг...

Решив наконец дать рукопись мою человеку, который должен ею прельститься и приложить все старания, чтобы она увидела свет, я вполне отдаю себе отчет в том, что мой избранник (ты, мой первый читатель), — беллетрист беженский, книги которого в СССР появляться никак не могут. Но для этой книги сделают, быть может, исключение, — в конце концов, не ты ее писал. О, как я лелею надежду, что несмотря на твою эмигрантскую подпись (прозрачная подложность которой ни для кого не останется загадкой), книга моя найдет сбыт в СССР! Далеко не являясь врагом советского строя, я должно быть невольно выразил в ней иные мысли, которые вполне соответствуют диалектическим требованиям текущего момента. Мне даже представляется иногда, что основная моя тема, сходство двух людей, есть некое иносказание. Это разительное физическое подобие вероятно казалось мне (подсознательно!) залогом того идеального подобия, которое соединит людей в будущем бесклассовом обществе, — и стремясь частный случай использовать, — я, еще социально не прозревший, смутно выполнял все же некоторую социальную функцию. И опять же: неполная удача моя в смысле реализации этого сходства объяснима чисто социально-экономическими причинами, а именно тем, что мы с Феликсом принадлежали к разным, резко отграниченным классам, слияние которых не под силу одиночке, да еще ныне, в период бескомпромиссного обострения борьбы.

Правда, мать моя была из простых, а дед с отцовской стороны в молодости пас гусей, — так что мне самому-то очень даже понятно, откуда в человеке моего склада и обихода имеется это глубокое, хотя еще не вполне выявленное устремление к подлинному сознанию. Мне грезится новый мир, где все люди будут друг на друга похожи, как Герман и Феликс, — мир Геликсов и Ферманов, — мир, где рабочего, павшего у станка, заменит тотчас, с невозмутимой социальной улыбкой, его совершенный двойник. Посему думаю, что советской молодежи будет небесполезно прочесть эту книгу и проследить в ней, под руководством опытного марксиста, рудиментарное движение заложенной в ней социальной мысли. Другие же народы пущай переводят ее на свои языки, — американцы утолят, читая ее, свою жажду кровавых сенсаций, французам привидятся миражи Содомы в пристрастии моем к бродяге, немцы наслаются причудами полуславянской души. Побольше, побольше читайте ее, господа! Я всецело это приветствую.

Но писать ее нелегко. Особенно сейчас, когда приближаюсь к самому, так сказать, решительному действию, вся трудность моей задачи является мне — и вот, как видите, я отвиливаю, болтаю о вещах, место коим в предисловии к повести, а не в начале ее самой существенной, для читателя, главы. Но я уже объяснял, что, несмотря на рассудочность и лукавство подступов, не я, не разум мой пишет, а только память моя, только память. Ведь и тогда, то есть в час, на котором остановилась стрелка моего рассказа, я как бы тоже остановился, медлил, как медлю сейчас, — и тогда тоже я занят был путанными рассуждениями, не относящимися к делу, срок которого все близился. Ведь я отправился в путь утром, а свидание мое с Феликсом было назначено на пять часов пополудни; дома мне не сиделось, но куда сбить мутно-белое время, отделявшее меня от встречи? Удобно, даже сонно, сидя и управляя как бы одним пальцем, я медленно катил по Берлину, по тихим, холодным, шепчущим улицам, —

и все дальше, дальше, покуда не заметил, что я уже из Берлина выехал. День был выдержан в двух тонах, — черном (ветви деревьев, асфальт) и белесом (небо, пятна снега). Все продолжалось мое сонное перемещение. Некоторое время передо мной моталась большая, неприятная тряпка, которую ломовой, везущий что-либо длинное, нацепляет на торчащий сзади конец, — потом это исчезло, завернуло куда-то. Я не прибавил хода. На другом перекрестке выскочил мне наперерез таксомотор, со стоном затормозил и, так как было довольно склизко, закружился винтом. Я невозмутимо проехал, будто плыл по течению. Дальше, женщина в глубоком трауре наискось переходила мостовую передо мной, не видя меня; я не гукнул, не изменил тихого ровного движения, проплыл в двух вершках от ее крепа, она даже не заметила меня, — беззвучного призрака. Меня обгоняло любое колесо; долго шел вровень со мной медленный трамвай, и я уголком глаза видел пассажиров, глупо сидевших друг против друга. Раза два я проезжал плохо мощенными местами, и уже появились куры: расправив куцые крылья и вытянув шею, перебежали дорогу (а может быть это было не тогда, а летом). Потом я ехал по длинному, длинному шоссе, мимо жнивьев, испещренных снегом, и в совершенно безлюдной местности автомобиль мой как бы задремал, точно из синего сделался сизым, постепенно замер и остановился, и я склонился на руль в неизъяснимом раздумье. О чем я думал? Ни о чем или о глупостях, я путался, я почти засыпал, я в полуобмороке рассуждал сам с собой о какой-то ерунде, вспоминал какой-то спор, бывший у меня когда-то с кем-то на какой-то станции, о том, можно ли видеть солнце во сне, — и потом мне начинало казаться, что кругом много людей, и все говорят сразу и замолкают, и дав друг другу смутные поручения, беззвучно расходятся. Погодя я двинулся дальше и в полдень, влачась через какую-то деревню, решил там сделать привал, — ибо даже таким дремотным темпом я оттуда добирался до Кенигсдорфа через час не более, а у меня было еще

много времени в запасе. Я долго сидел в темном и скучном трактире, совершенно один, в задней какой-то комнате у большого стола, и на стене висела старая фотография: группа мужчин в сюртуках, с закрученными усами, причем кое-кто из передних непринужденно опустил на одно колено, а двое даже прилегли по бокам, и это напоминало русские студенческие фотографии. Я выпил много воды с лимоном и все в том же до неприличия сонном настроении поехал дальше. Помню, что через некоторое время, у какого-то моста, я снова остановился: старая женщина в синих шерстяных штанах, с мешком за плечами, хлопотала над своим поврежденным велосипедом. Я, не выходя из автомобиля, дал ей несколько советов, совершенно впрочем не прошенных и ненужных, а потом замолчал и, опершись щекой о ладонь, а локтем о руль, долго и бессмысленно смотрел на нее, — она все возилась, возилась, но наконец я перемигнул, и оказалось, что никого уже нет, — она давно уехала. Я двинулся дальше, стараясь помножить в уме два неуклюжих числа, неизвестно что означавших и откуда выплывших, но раз они появились, нужно было их стравить, — и вот они сцепились и рассыпались. Вдруг мне показалось, что я еду с бешеной скоростью, что машина прямо пожирает дорогу, как фокусник, поглощающий длинную ленту, — и тихо проходили мимо сосны, сосны, сосны. Еще помню: я встретил двух школьников, маленьких бледных мальчиков, с книжками, схваченными ремешком, и поговорил с ними; у них были неприятные птичьи физиономии, вроде как у воронят, и они как будто побаивались меня и, когда я отъехал, долгое время глядели мне вслед, разинув черные рты, — один повыше, другой пониже. И внезапно я очутился в Кенигсдорфе, взглянул на часы и увидел, что уже пять. Проезжая мимо красного здания станции, я подумал, что может быть Феликс запоздал почему-либо и еще не спускался вон по тем ступеням мимо того автомата с шоколадом, — и что нет никакой возможности установить по внешнему виду приземистого крас-

ного здания, проходил ли он уже тут. Как бы там ни было, поезд, с которым велено было ему приехать в Кенигсдорф, прибывал в без пяти три, — значит, если Феликс на него не опоздал...

Читатель, ему было сказано, выйти в Кенигсдорфе и пойти на север по шоссе до десятого километра, до желтого столба, — и вот теперь я во весь опор гнал по тому шоссе, — незабываемая минута! Оно было пустынно. Автобус ходит там зимой только дважды в день, — утром и в полдень, — на протяжении этих десяти километров мне навстречу попала только таратайка, запряженная гнедой лошастью. Наконец, вдали, желтым мизинцем выпрямился знакомый столб и увеличился, дорос до естественных своих размеров, и на нем была мурмолка снега. Я затормозил и огляделся. Никого. Желтый столб был очень желт. Справа за полем театральной декорацией плоско серел лес. Никого. Я вылез из автомобиля и со стуком сильнее всякого выстрела захлопнул за собою дверцу. И вдруг я заметил, что из-за спутанных прутьев куста, росшего в канаве, глядит на меня усатенький, восковой, довольно веселый...

Поставив одну ногу на подножку автомобиля и как разгневанный тенор хлеща себя по руке снятой перчаткой, я неподвижным взглядом уставился на Феликса. Неуверенно ухмыляясь, он вышел из канавы.

«Ах ты, негодяй, — сказал я сквозь зубы с необыкновенной, оперной силой. — Негодяй и мошенник, — повторил я уже полным голосом, все яростней хлеща себя перчаткой (в оркестре все гроыхало промеж взрывов моего голоса), — как ты смел, негодяй, разболтать? Как ты смел, как ты смел, у других просить советов, хвастать, что добился своего, что в такой-то день на таком-то месте... ведь тебя за это убить мало» — (грохот, бряцание и опять мой голос:) — «Многого ты этим достиг, идиот! Профершпилился, маху дал, не видать тебе ни гроша, болтун!» — (ким-вальная пощечина в оркестре).

Так я его ругал, с холодной жадностью следя за выражением его лица. Он был ошарашен, он был

искренне обижен. Прижав руку к груди, он качал головой. Отрывок из оперы кончился, и громко вещатель заговорил обыкновенным голосом.

«Ну уж ладно, браню тебя просто так, для проформы, на всякий случай... А вид у тебя, дорогой мой, забавный, — прямо грим!»

По моему приказу он отпустил усы; они кажется были даже нафабрены; кроме того, уже по лично-му своему почину, он устроил себе по две курчавых котлетки. Эта претенциозная растительность меня чрезвычайно развеселила.

«Ты конечно приехал тем путем, как я тебе велел?» — спросил я улыбаясь.

Он ответил:

«Да, как вы велели. А насчет того, чтобы болтать... — сами знаете, я несходчив и одинок».

«Знаю, и сокрушаюсь вместе с тобой, — сказал я. — А встречные по дороге были?»

«Если кто и проезжал, я прятался в канаву, как вы велели».

«Ладно. Наружность твоя и так хорошо спрятана. Ну-с, — нечего тут прохлаждаться. Садись в автомобиль. Оставь, оставь, — потом мешок снимешь. Садись скорее, нам нужно отъехать отсюда».

«Куда?» — любопытствовал он.

«Вон в тот лес».

«Туда?» — спросил он и указал палкой.

«Да, именно туда. Сядешь ли ты когда-нибудь, черт тебя дер!»

Он с удовольствием разглядывал автомобиль. Не спеша влез и сел рядом со мной.

Я повернул руль, медленно двинулись... ух! еще раз: ух! (съехали на поле) — под колесами зашуршал мелкий снег и дряхлые травы. Автомобиль подпрыгивал на кочках, мы с Феликсом — тоже. Он говорил:

«Я без труда с ним справлюсь (гоп). Я уж прокачусь (гоп). Вы не бойтесь, я (гоп-гоп) его не попорчу».

«Да, автомобиль будет твой. На короткое время (гоп) твой. Но ты, брат, не зевай, посматривай кругом, никого нет на шоссе?»

Он обернулся и затем отрицательно мотнул головой. Мы въехали или вернее вползли в лес. Кузов скрипел и ухал, хвойные ветви мели по крыльям.

Углубившись немного в бор, остановились и вылезли. Уже без вождения неимущего, а со спокойным удовлетворением собственника, Феликс продолжал любоваться лаково-синей машиной. Его глаза подернулись поволокой задумчивости. Вполне возможно, — заметьте, я не утверждаю, а говорю: вполне возможно, — вполне возможно, что мысль его потекла приблизительно так: а что если улизнуть на этой штучке? Ведь деньги я сейчас получу вперед. Притворюсь, что все исполню, а на самом деле укачу далеко. Ведь в полицию он обратиться не может, будет, значит, молчать. А я на собственной машине...

Я прервал течение этих приятных дум. «Ну что ж, Феликс, великая минута наступила. Ты сейчас переоденешься и останешься с автомобилем один в лесу. Через полчаса стемнеет, вряд ли кто потревожит тебя. Проночуешь здесь, — у тебя будет мое пальто, — пощупай, какое оно плотное, — то-то же! — да и в автомобиле тепло... выспишься, а как только начнет светать — впрочем, это потом; сперва давай я тебя приведу в должный вид, а то в самом деле стемнеет. Тебе нужно прежде всего побриться».

«Побриться? — с глупым удивлением переспросил Феликс. — Как же так? Бритвы у меня с собой нет, и я не знаю, чем можно бриться в лесу, разве что камнем».

«Нет, зачем камнем; такого разгильдяя как ты следует брить топором. Но я человек предусмотрительный, все с собой принес, и все сам сделаю».

«Смешно, право, — ухмыльнулся он. — Как же так будет. Вы меня еще бритвой того и гляди зарежете».

«Не бойся, дурак, — она безопасная. Ну, пожалуйста. Садись куда-нибудь, — вот сюда, на подножку, что ли».

Он сел, скинув мешок. Я вытащил пакет и разложил на подножке бритвенный прибор, мыло, кисточку.

Надо было торопиться: день осунулся, воздух становился все тусклее. И какая тишина... Тишина эта казалась врожденной тут, неотделимой от этих неподвижных ветвей, прямых стволов, от слепых пятен снега там и сям на земле.

Я снял пальто, чтобы свободнее было оперировать. Феликс с любопытством разглядывал блестящие зубчики бритвы, серебристый стерженок. Затем он осмотрел кисточку, приложил ее даже к щеке, испытывая ее мягкость, — она действительно была очень пушиста, стоила семнадцать пятьдесят. Очень заинтересовала его и тубочка с дорогой мыльной пастой.

«Итак, приступим, — сказал я. — Стрижка-брижка. Садись, пожалуйста, боком, а то мне негде примоститься».

Набрав в ладонь снегу, я выдавил туда вьющийся червяк мыла, размесил кисточкой и ледяной пеной смазал ему бачки и усы. Он морщился, ухмылялся, — опушка мыла захватила ноздрю, — он крутил носом, — было щекотно.

«Откинься, — сказал я, — еще».

Неудобно упираясь коленом в подножку, я стал сбривать ему бачки, — волоски трещали, отвратительно мешались с пеной; я слегка его порезал, пена окрасилась кровью. Когда я принялся за усы, он зажмурился, но храбро молчал, — а было должно быть не очень приятно, — я спешил, волос был жесткий, бритва дергала.

«Платок у тебя есть?» — спросил я.

Он вынул из кармана какую-то тряпку. Я тщательно стер с его лица кровь, снег и мыло. Щеки у него блестели как новые. Он был выбрит на славу, только возле уха краснела царапина с почерневшим уже рубинчиком на краю. Он провел ладонью по бритым местам.

«Постой, — сказал я. — Это не все. Нужно подправить брови, — они у тебя гуще моих».

Я взял ножницы и очень осторожно отхватил несколько волосков.

«Вот теперь отлично. А причешу я тебя, когда сменишь рубашку».

«Вашу дадите?» — спросил он и бесцеремонно пощупал мою шелковую грудь.

«Э, да у тебя ногти не первой чистоты!» — воскликнул я весело.

Я не раз делал маникюр Лиде и теперь без особого труда привел эти десять грубых ногтей в порядок, — причем все сравнивал его руки с моими, — они были крупнее и темнее, — но ничего, со временем побледнеют. Кольца обручального не ношу, так что пришлось нацепить на его руку всего только часики. Он шевелил пальцами, поворачивал так и сяк кисть, очень довольный.

«Теперь живо. Переодеемся. Сними все с себя, дружок, до последней нитки».

Феликс крикнул: холодно будет.

«Ничего. Это одна минута. Ну-с, поторапливайся».

Осклабясь, он скинул свой куцый пиджак, снял через голову мохнатую темную фуфайку. Рубашка под ней была болотно-зеленая, с галстуком из той же материи. Затем он разулся, сдернул заштопанные мужской рукой носки и жизнерадостно екнул, прикоснувшись босою ступней к зимней земле. Простой человек любит ходить босиком: летом, на травке, он первым делом разувается, но даже и зимой приятно, — напоминает, может быть, детство или что-нибудь такое.

Я стоял поодаль, развязывая галстук, и внимательно смотрел на Феликса.

«Ну, дальше, дальше!» — крикнул я, заметив, что он замешкался.

Он не без стыдливой ужимки спустил штаны с белых, безволосых ляжек. Освободился и от рубашки. В зимнем лесу стоял передо мной голый человек.

Необычайно быстро, с легкой стремительностью некоего Фреголи, я разделся, кинул ему верхнюю оболочку моего белья, — пока он ее надевал, ловко вынул из снятого с себя костюма деньги и еще кое-что и спрятал это в карманы непривычно узких штанов,

которые на себя с виртуозной живостью натянул. Его фуфайка оказалась довольно теплой, а пиджак был мне почти по мерке: я похудел за последнее время.

Феликс между тем нарядился в мое розовое белье, но был еще бос. Я дал ему носки, подвязки, но тут заметил, что и ноги его требуют отделки. Он поставил ступню на подножку автомобиля, и мы занялись торопливым педикюром. Боюсь, что он успел простудиться — в одном нижнем белье. Потом он вымыл ноги снегом, как это сделал кто-то у Мопассана, и с понятным наслаждением надел носки.

«Торопись, торопись, — приговаривал я. — Сейчас стемнеет, да и мне пора уходить. Смотри, я уже готов, — ну и башмачища у тебя. А где фуражка? А, вижу, спасибо».

Он туго затянул ремень штанов. С трудом влез в мои черные шевровые полуботинки. Я помог ему справиться с гетрами и повязать сиреневый галстук. Наконец, при помощи его грязного гребешка, я зачесал назад со лба и с висков его жирные волосы.

Теперь он был готов. Он стоял передо мной, мой двойник, в моем солидном темно-сером костюме, разглядывал себя с глупой улыбкой; обследовал карманы; квитанции и портсигар положил обратно, но бумажник раскрыл. Он был пуст.

«Вы мне обещали вперед», — заискивающим тоном сказал Феликс.

«Да, конечно, — ответил я, вынув руку из кармана штанов и разжав кулак с ассигнациями. — Вот они. Сейчас отсчитаю и дам тебе. Башмаки не жмут?»

«Жмут, — сказал он. — Здорово жмут. Но уж как-нибудь вытерплю. На ночь я их пожалуй сниму. А куда же мне завтра двинуться с машиной?»

«Сейчас, сейчас... все объясню. Тут надо прибрать, — вишь, разбросал свою рвань. Что у тебя в мешке?»

«Я как улитка. У меня дом на спине! — сказал Феликс. — С собой мешок возьмете? В нем есть колбаса, — хстите?»

«Там будет видно. Засунь-ка туда все эти вещи. Эту тряпку тоже. И ножницы. Так. Теперь надевай пальто, и давай в последний раз проверим, можешь ли ты сойти за меня».

«Вы не забудете деньги?» — поинтересовался он.

«Да нет же. Вот оболтус. Сейчас рассчитаемся. Деньги у меня здесь, в твоём бывшем кармане. Потопись, пожалуйста».

Он облачился в мое чудное бежевое пальто, осторожно надел элегантную шляпу. Последний штрих — желтые перчатки.

«Так-с. Пройдись-ка несколько шагов. Посмотрим, как на тебе все это сидит».

Он пошел мне навстречу, то суя руки в карманы, то вынимая их опять.

Близко подойдя ко мне, расправил плечи, ломаясь, прикидываясь фатом.

«Все ли, все ли? — говорил я вслух. — Погоди, дай мне хорошенько... Да, как будто все... Теперь повернись. Я хочу видеть, как сзади...»

Он повернулся, и я выстрелил ему в спину.

Я помню разные вещи: я помню, как в воздухе повис дымок, дал прозрачную складку и рассеялся; помню, как Феликс упал, — он упал не сразу, сперва закончил движение, еще относившееся к жизни, — а именно почти полный поворот, — хотел вероятно в шутку повертеться передо мной, как перед зеркалом, — и вот, по инерции доканчивая эту жалкую шутку, он, уже насквозь пробитый, ко мне обратился лицом, медленно растопырил руку, будто спрашивая: что это? — и не получив ответа, медленно повалился навзничь. Да, все это я помню, — помню: — шурша на снегу, он начал кобениться, как если б ему было тесно в новых одеждах; вскоре он замер, и тогда стало чувствительно вращение земли, и только шляпа тихо отделилась от его темени и упала назад, разинувшись, словно за него прощаясь, — или вроде того, как пишут: присутствовавшие обнажили головы. Да, все это я помню, но только

не помню одного: звука выстрела. Зато остался у меня в ушах неотвязный звон. Он обволакивал меня, он дрожал на губах. Сквозь этот звон я подошел к трупу и жадно взглянул.

Таинственное мгновение. Как писатель, тысячу раз перечитывающий свой труд, проверяющий, испытывающий каждое слово, уже не знает, хорошо ли, ибо слишком все примелькалось, так и я, так и я. Но есть тайная уверенность творца, она непогрешима. Теперь, когда в полной неподвижности застыли черты, сходство было такое, что право я не знал, кто убит — я или он. И пока я смотрел, в ровно звеневшем лесу потемнело, — и, глядя на расплывшееся, все тише звеневшее лицо передо мной, мне казалось, что я гляжу в недвижную воду.

Боясь испачкаться, я не прикоснулся к телу; не проверил, действительно ли оно совсем, совсем мертвое; я чутьем знал, что это так, что пуля моя скользнула как раз по короткой воздушной колее, проложенной волей и взглядом. Торопиться, торопиться, — кричал Иван Иванович, надевая штаны в рукава. Не будем ему подражать. Я быстро, но зорко осмотрелся, Феликс все, кроме пистолета, убрал в мешок сам, но у меня хватило самообладания посмотреть, не выронил ли он чего-нибудь, — и даже обмахнуть подножку, где стриг ему ногти. Затем я выполнил кое-что давно замышленное: а именно: выкатил автомобиль к самой опушке, с расчетом, что его утром увидят с дороги и по нему найдут мое тело.

Стремительно надвигалась ночь. Звон в ушах почти смолк. Я углубился в лес, прошел опять недалеко от трупа, но уже не остановился, только подхватил рюкзак и, шагая скоро, уверенно, не чувствуя пудовых башмаков на ногах, обогнул озеро и все лесом, в призрачном сумраке, в призрачных снегах... но как хорошо я знал направление, как правильно, как живо я представлял себе все это еще тогда, летом, когда изучал тропы, ведущие в Айхенберг!

Я пришел на станцию вовремя. Через десять минут услужливым привидением явился нужный мне поезд. Половину ночи я ехал в громыхающем, валком вагоне на твердой скамейке, и рядом со мной двое пожилых мужчин играли в карты, — и карты были необыкновенные, — большие, красно-зеленые, с желудями. За полночь была пересадка; еще два часа езды — уже на запад, — а утром я пересел в скорый. Только тогда, в уборной, я осмотрел содержимое мешка. В нем, кроме сунутого давеча, было немного белья, кусок колбасы, три больших изумрудных яблока, подошва, пять марок в дамском кошельке, паспорт и мои к Феликсу письма. Яблоки и колбасу я тут же в уборной съел, письма положил в карман, паспорт осмотрел с живейшим интересом. Странное дело, — Феликс на снимке был не так уж похож на меня, — конечно, это без труда могло сойти за мою фотографию, — но все-таки мне было странно, — и тут я подумал: вот настоящая причина тому, что он мало чувствовал наше сходство; он видел себя таким, каким был на снимке или в зеркале, то есть как бы справа налево, не так, как в действительности. Людская глупость, ненаблюдательность, небрежность — все это выражалось в том, между прочим, что даже определения в кратком перечне его черт не совсем соответствовали эпитетам в собственном моем паспорте, оставленном дома. Это пустяк, но пустяк характерный. А в рубрике профессии он, этот олух, игравший на скрипке вероятно так, как в России играли на гитарах летним вечером лакеи, был назван «музыкантом», — что сразу превращало в музыканта и меня. Вечером, в пограничном городке, я купил себе чемодан, пальто и так далее, а мешок с его вещами и моим браунингом, — нет, не скажу, что я с ними сделал, как спрятал: молчите, рейнские воды. И уже одиннадцатого марта очень небритый господин в черном пальтишке был за границей.

## Глава X

Я с детства люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был сапожник, мать — прачка. Когда сердилась, то шипела на меня по-чешски. У меня было смутное и невеселое детство. Едва возмужав, я забродяжничал. Играл на скрипке. Я левша. Лицо овальное. Женщин я всегда чуждался: нет такой, которая бы не изменила. На войне было довольно погано, но война прошла, как все проходит. У всякой мыши есть свой дом... Я люблю белок и воробьев. Пиво в Чехии дешевле. О, если б можно было подковать себе ноги в кузнице, — какая экономия! Министры все подкуплены, а поэзия — это ерунда. Однажды на ярмарке я видел двух близнецов, — предлагали приз тому, кто их различит, рыжий Фриц дал одному в ухо, оно покраснело, — вот примета! Как мы смеялись... Побои, воровство, убийство, — все это дурно или хорошо, смотря по обстоятельствам. Я присваивал деньги, если они попадались под руку: что взял — твое, ни своих, ни чужих денег не бывает, на гроше не написано: принадлежит Мюллеру. Я люблю деньги. Я всегда хотел найти верного друга, мы бы с ним музицировали, он бы в наследство мне оставил дом и цветник. Деньги, милые деньги. Милые маленькие деньги. Милые большие деньги. Я ходил по дорогам, там и сям работал. Однажды мне попался франт, утверждавший, что похож на меня. Глупости, он не был похож. Но я с ним не спорил, ибо он был богат, и всякий, кто с богачом знается, может и сам разбогатеет. Он хотел, чтобы я вместо него прокатился, а тем временем он бы обделал свои шахермахерские дела. Этого шутника я убил и ограбил. Он лежит в лесу. Лежит в лесу, кругом снег, каркают вороны, прыгают белки. Я люблю белок. Бедный господин в хорошем пальто лежит мертвый, недалеко от своего автомобиля. Я умею править автомобилем. Я люблю фиалки и музыку. Я родился в Цвикау. Мой отец был лысый

сапожник в очках, мать — краснорукая прачка. Когда она сердилась...

И опять все с начала, с новыми нелепыми подробностями. Так укрепившееся отражение предъявляло свои права. Не я искал убежища в чужой стране, не я обрастал бородой, а Феликс, убивший меня. О, если б я хорошо его знал, знал близко и давно, мне было бы даже забавно новоселье в душе, унаследованной мною. Я знал бы все ее углы, все коридоры ее прошлого, пользовался бы всеми ее удобствами. Но душу Феликса я изучил весьма поверхностно, — знал только схему его личности, две-три случайных черты.

С этими неприятными ощущениями я кое-как справился. Трудновато было забыть, например, податливость этого большого мягкого истукана, когда я готовил его для казни. Эти холодные послушные лапы. Дико вспомнить, как он слушался меня! Ноготь на большом пальце ноги был так крепок, что ножницы не сразу могли его взять, он завернулся на лезвие, как жест консервной банки на ключ. Неужто воля человека так могуча, что может обратить другого в куклу? Неужто я действительно брил его? Удивительно! Главное, что мучило меня в этом воспоминании, была покорность Феликса, нелепый, безмозглый автоматизм его покорности. Но повторяю, я с этим справился. Хуже было то, что я никак не мог привыкнуть к зеркалам. И борodu я стал отращивать не столько, чтобы скрыться от других, сколько — от себя. Ужасная вещь — повышенное воображение. Вполне понятно, что человек, как я наделенный такой обостренной чувствительностью, мучим пустяками, — отражением в темном стекле, собственной тенью, павшей убитой к его ногам, унд зо вайтер. Стоп, господа, — поднимаю огромную белую ладонь, как полицейский, стоп! Никаких, господа, сочувственных вздохов. Стоп, жалость. Я не принимаю вашего соболезнования, — а среди вас наверное найдутся такие, что пожалеют меня, — непонятого поэта. «Дым, туман, струна дрожит в тумане». Это не стишок, это из романа Достоевского «Кровь и Слюни». Пардон,

«Шульд унд Зюне». О каком-либо раскаянии не может быть никакой речи, — художник не чувствует раскаяния, даже если его произведения не понимают. Что же касается страховых тысяч...

Знаю, знаю, — оплошно с беллетристической точки зрения, что в течение всей моей повести (насколько я помню) почти не уделено внимания главному как будто двигателю моему, а именно корысти. Как же это я даже толком и не упомянул о том, на что мертвый двойник был мне нужен? Но тут меня берет сомнение, уж так ли действительно владела мною корысть, уж так ли мне было важно получить эту довольно двусмысленную сумму (цена человека в денежных знаках, посильное вознаграждение за исчезновение со света), — или напротив, память моя, пишущая за меня, не могла иначе поступить, не могла — будучи до конца правдивой — придать особое значение разговору в кабинете у Орловиуса (не помню, описал ли я этот кабинет).

И еще я хочу вот что сказать о посмертных моих настроениях: хотя в душе-то я не сомневался, что мое произведение мне удалось в совершенстве, то есть что в черно-белом лесу лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий, — я, гениальный новичок, еще не вкусивший славы, столь же самолюбивый, сколь взыскательный к себе, мучительно жаждал, чтобы скорее это мое произведение, законченное и подписанное девятого марта в глухом лесу, было оценено людьми, чтобы обман — а всякое произведение искусства обман — удался; авторские же, платимые страховым обществом, были в моем сознании делом второстепенным. О да, я был художник бескорыстный.

Что пройдет, то будет мило. В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида. Я зашел к ней в гостиницу, «тише», сказал я внушительно, когда она бросилась ко мне в объятия, «помни, что меня зовут Феликсом, что я просто твой знакомый». Траур ей очень шел, как впрочем и мне шел чёрный артистический бант и каштановая борода. Она стала рассказывать, — да, все, произошло так, как я пред-

полагал, ни одной заминки. Оказывается, она искренне плакала в крематории, когда пастор с профессиональными рыданиями в голосе говорил обо мне: «И *этот* человек, *этот* благородный человек, который... — » Я поведал ей мои дальнейшие планы и очень скоро стал за ней ухаживать.

Теперь я женился на ней, на вдовушке, живем с ней в тихом живописном месте, обзавелись домиком, часами сидим в миртовом садике, откуда вид на сапфирный залив далеко внизу, и очень часто вспоминаем моего бедного брата. Я рассказываю все новые эпизоды из его жизни. «Что ж — судьба! — говорит Лида со вздохом, — по крайней мере он в небесах утешен тем, что мы счастливы».

Да, Лида счастлива со мной, никого ей не нужно. «Как я рада, — порою говорит она, — что мы навсегда избавились от Ардалиона. Я очень жалела его, много с ним возилась, но как человек он был невыносим. Где-то он сейчас? Вероятно совсем спился, бедняга. Это тоже судьба!»

По утрам я читаю и пишу, — кое-что может быть скоро издам под новым своим именем; русский литератор, живущий поблизости, очень хвалит мой слог, яркость воображения.

Изредка Лида получает весточку от Орловиуса, поздравление к Новому Году, например; он неизменно просит ее кланяться супругу, которого не имеет чести знать, а сам думает вероятно: «Быстро, быстро утешилась вдовушка... Бедный Герман Карлович!»

Чувствуете тон этого эпилога? Он составлен по классическому рецепту. О каждом из героев повести кое-что сообщается напоследок, — причем их житье-бытье остается в правильном, хотя и суммарном соответствии с прежде выведенными характерами их, — и допускается некоторый юмор, намеки на консервативность жизни.

Лида все так же забывчива и неаккуратна...

А уж к самому концу эпилога прибегается особенно добродушная черта, относящаяся иногда к предмету

незначительному, мелькнувшему в романе только вскользь: на стене у них висит все тот же пастельный портрет, и Герман, глядя на него, все так же смеется и бранится.

Финис.

Мечты, мечты... И довольно притом пресные. Очень мне это все нужно...

Вернемся к нашему рассказу. Попробуем держать себя в руках. Опустим некоторые детали путешествия. Помню, прибыв двенадцатого в город Икс (продолжаю называть его Иксом из понятной застенчивости), я прежде всего пошел на поиски немецких газет; кое-какие нашел, но в них еще не было ничего. Я снял комнату в гостинице второго разряда, — огромную, с каменным полом и картонными на вид стенами, на которых словно была нарисована рыжеватая дверь в соседний номер и гуашевое зеркало. Было ужасно холодно, но открытый очаг бутафорского камина был непригоден для топки, и когда сгорели щепки, принесенные горничной, стало еще холоднее. Я провел там ночь, полную самых неправдоподобных, изнурительных видений, — и когда утром, весь колючий и липкий, вышел в переулок, вдохнул приторные запахи, увидел южную базарную суету, то почувствовал, что в самом городе оставаться не в силах. Дрожа от озноба, оглушенный тесным уличным гвалтом, я направился в бюро для туристов, там болтливый мужчина дал мне несколько адресов: я искал место уютное, уединенное, и когда под вечер ленивый автобус доставил меня по выбранному адресу, я подумал, что такое место нашел.

Особняком среди пробковых дубов стояла приличная с виду гостиница, наполовину еще закрытая (сезон начинался только летом). Испанский ветер трепал в саду цыплячий пух мимоз. В павильоне вроде часовни бил ключ целебной воды и висели паутины в углах темно-гранатовых окон. Жителей было немного. Был доктор, душа гостиницы и король табльдота, — он сидел во главе стола и разглагольствовал; был горбоносый старик в люстриновом пиджаке, издававший

бессмысленное хрюканье, когда с легким топотом быстрая горничная обносила нас форелью, выловленной им из соседней речки; была вульгарная молодая чета, приехавшая в это мертвое место с Мадагаскара; была старушка в кисейном воротничке, школьная инспектриса; был ювелир с большою семьей; была манерная дамочка, которая сперва оказалась виконтессой, потом контессой, а теперь, ко времени, когда я это пишу, превратилась стараниями доктора, делающего все, чтобы повысить репутацию гостиницы, в маркизу; был еще унылый коммивояжер из Парижа, представитель патентованной ветчины; был, наконец, хамоватый жирный аббат, все толковавший о красоте какого-то монастыря поблизости и при этом, для пущей выразительности, срывавший с губ, сложенных мясистым сердечком, воздушный поцелуй. Вот кажется и весь паноптикум. Жукообразный жеран<sup>1</sup> стоял у дверей, заложив руки за спину, и следил исподлобья за церемониалом обеда. На дворе бушевал сильный ветер.

Новые впечатления действовали на меня благотворно. Кормили неплохо. У меня был светлый номер, и я с интересом смотрел в окно на то, как ветер грубо приподымает и отворачивает исподнюю листву маслин. Вдали лиловато-белым конусом выделялась на беспощадной синеве гора, похожая на Фудзияму. Выходил я мало, — меня пугал этот беспрестанный, все сокрушающий, слепящий, наполняющий гулом голову мартовский ветер, убийственный горный сквозняк. На второй день я все же поехал в город за газетами, и опять ничего не было, и так как это невыносимо раздражало меня, то я решил несколько дней выждать.

За табльдотом я, кажется, прослыл нелюдимом, хотя старательно отвечал на все вопросы, обращенные ко мне. Тщетно доктор приставал ко мне, чтобы я по вечерам приходил в салон — душную комнатку с расстроенным пианино, плюшевой мебелью и проспектами на круглом столе. У доктора была козлиная

---

<sup>1</sup> Управляющий (франц. gerant).

бородка, слезящиеся голубые глаза и брюшко. Он ел деловито и неаппетитно. Он желтый зрак яичницы ловко поддевал куском хлеба и целиком с сочным присвистом отправлял в рот. Косточки от жаркого он жирными от соуса пальцами собирал с чужих тарелок, кое-как заворачивал и клал в карман просторного пиджака, и при этом разыгрывал оригинала: это, мол, для бедных собак, животные бывают лучше людей, — утверждение, вызывавшее за столом (длящиеся до сих пор) страстные споры, особенно горячился аббат. Узнав, что я немец и музыкант, доктор страшно мною заинтересовался, и, судя по взглядам, отовсюду обращенным ко мне, я заключил, что не столько обросшее мое лицо привлекает внимание, сколько национальность моя и профессия, причем и в том и в другом доктор усматривал нечто несомненно благоприятное для престижа отеля. Он ловил меня на лестнице, в длинных белых коридорах, и заводил бесконечный разговор, обсуждал социальные недостатки представителя ветчины или религиозную нетерпимость аббата. Все это становилось немного мне в тягость, но по крайней мере развлекало меня. Как только наступала ночь и по комнате начинали раскачиваться тени листы, освещенной на дворе одиноким фонарем, — у меня наполнялась бесплодным и ужасным смятением моя просторная, моя нежилая душа. О нет, мертвецов я не боюсь, как не боюсь сломанных, разбитых вещей, чего их бояться! Боялся я, в этом неверном мире отражений, не выдержать, не дожить до какой-то необыкновенной, ликующей, все разрешающей минуты, до которой следовало дожить непременно, минуты творческого торжества, гордости, избавления, блаженства.

На шестой день моего пребывания ветер усилился до того, что гостиница стала напоминать судно среди бурного моря, стекла гудели, трещали стены, тяжкая листва с шумом пятилась и, разбежавшись, осаждала дом. Я вышел было в сад, но сразу согнулся вдвое, чудом удержал шляпу и вернулся к себе. Задумавшись у окна среди волнующегося гула, я не расслы-

шал гонга, и, когда сошел вниз к завтраку и занял свое место, уже подавалось жаркое — мохнатые потроха под томатовым соусом — любимое блюдо доктора. Сначала я не вслушивался в общий разговор, умело им руководимый, но внезапно заметил, что все смотрят на меня.

«А вы что по этому поводу думаете?» — обратился ко мне доктор.

«По какому поводу?» — спросил я.

«Мы говорили, — сказал доктор, — об этом убийстве у вас в Германии. Каким нужно быть монстром, — продолжал он, предчувствуя интересный спор, — чтобы застраховать свою жизнь, убить другого...»

Не знаю, что со мной случилось, но вдруг я поднял руку и сказал: «Послушайте, остановитесь...» — и той же рукой, но сжав кулак, ударил по столу, так что подпрыгнуло кольцо от салфетки, и закричал, не узнавая своего голоса: «Остановитесь, остановитесь! Как вы смеете, какое вы имеете право? Оскорбление! Я не допущу! Как вы смеете — о моей стране, о моем народе.. Замолчать! Замолчать! — кричал я все громче. — Вы.. Сметь говорить мне, мне, в лицо, что в Германии... Замолчать!..»

Впрочем, все молчали уже давно — с тех пор, как от удара моего кулака покатилося кольцо. Оно докатилось до конца стола, и там его осторожно прихлопнул младший сын ювелира. Тишина была исключительно хорошего качества. Даже ветер перестал, кажется, гудеть. Доктор, держа в руках вилку и нож, замер; на лбу у него замерла муха. У меня заскочило что-то в горле, я бросил на стол салфетку и вышел, чувствуя, как все лица автоматически поворачиваются по мере моего прохождения.

В холле я на ходу сгреб со стола открытую газету, поднялся по лестнице и, очутившись у себя в номере, сел на кровать. Я весь дрожал, подступали рыдания, меня сотрясала ярость, рука была загажена томатовым соусом. Принимаясь за газету, я еще успел подумать: наверное — совпадение, ничего не случилось, не станут

французы этим интересоваться, — но тут мелькнуло у меня в глазах мое имя, прежнее мое имя...

Не помню в точности, что я вычитал как раз из той газеты — газет я с тех пор прочел немало, и они у меня несколько спутались, — где-то сейчас валяются здесь, но мне некогда разбирать. Помню, однако, что сразу понял две вещи: знают, кто убил, и не знают, кто жертва. Сообщение исходило не от собственного корреспондента, а было просто короткой перепечаткой из берлинских газет, и очень это подавалось небрежно и нагло, между политическим столкновением и попугайной болезнью. Тон был неслыханный, — он настолько был неприемлем и непозволителен по отношению ко мне, что я даже подумал, не идет ли речь об однофамильце, — таким тоном пишут о каком-нибудь полудиоте, вырезавшем целую семью. Теперь я, впрочем, догадываюсь, что это была уловка международной полиции, попытка меня напугать, сбить с толку, но в ту минуту я был вне себя, и каким-то пятнистым взглядом попадал то в одно место столбца, то в другое, — когда вдруг раздался сильный стук. Бросил газету под кровать и сказал: «Войдите!»

Вошел доктор. Он что-то дожевывал.

«Послушайте, — сказал он, едва переступив порог, — тут какая-то ошибка, вы меня неверно поняли. Я бы очень хотел...»

«Вон, — заорал я, — моментально вон».

Он изменился в лице и вышел, не затворив двери. Я вскочил и с невероятным грохотом ее захлопнул. Вытащил из-под кровати газету, — но уже не мог найти в ней то, что читал только что. Я ее просмотрел всю: ничего! Неужели мне приснилось? Я сызнова начал ее просматривать, — это было как в кошмаре, — теряется, и нельзя найти, и нет тех природных законов, которые вносят некоторую логику в поиски, — а все безобразно и бессмысленно произвольно. Нет, ничего в газете не было. Ни слова. Должно быть, я был страшно возбужден и бестолков, ибо только через несколько секунд заметил, что газета старая, немецкая, а не парижская,

которую только что держал. Заглянув опять под кровать, я вытащил нужную и перечел плоское и даже пасквильное известие. Мне вдруг стало ясно, что именно больше всего поражало, оскорбительно поражало, меня: ни звука о сходстве, — сходство не только не оценивалось (ну, сказали бы, по крайней мере: да, — превосходное сходство, но все-таки по тем-то и тем-то приметам это не он), но вообще не упоминалось вовсе, — выходило так, что это человек совершенно другого вида, чем я, а между тем не мог же он ведь за одну ночь разложиться, — напротив, его физиономия должна была стать еще мраморнее, сходство еще резче, — но если бы даже срок был больший, и смерть позабылась бы им, все равно стадии его распада совпадали бы с моими, — опрометью выражаясь, черт, мне сейчас не до изящества. В этом игнорировании самого ценного и важного для меня было нечто умышленное и чрезвычайно подлое, — получалось так, что с первой минуты все будто бы отлично знали, что это не я, что никому в голову не могло прийти, что это мой труп, и в самой ноншалантности<sup>1</sup> изложения было как бы подчеркивание моей оплошности, — оплошности, которую я, конечно, ни в коем случае не мог допустить, — а между тем, прикрыв рот и отвернув рыло, молча, но содрогаюсь и лопаюсь от наслаждения, злорадствовали, мстительно измывались, мстительно, подло, непереносимо...

Тут опять постучались, я, задохнувшись, вскочил, вошли доктор и жеран. «Вот, — с глубокой обидой сказал доктор, обращаясь к жерану и указывая на меня, — вот — этот господин не только на меня зря обиделся, но теперь оскорбляет меня, не желает слушать и весьма груб. Пожалуйста, поговорите с ним, я не привык к таким манерам».

«Надо объясниться, — сказал жеран, глядя на меня исподлобья. — Я уверен, что вы сами...»

«Уходите! — закричал я, топая. — То, что вы делаете со мной. Это не поддается... Вы не смеете

---

<sup>1</sup> Небрежность (*франц. nonchalance*).

унижать и мстить... Я требую, вы понимаете, я требую...»

Доктор и жеран, вскидывая ладони и как заводные переступая на прямых ногах, затараторили, тесня меня, — я не выдержал, мое бешенство прошло, но зато я почувствовал напор слез и вдруг, — желаящим предоставляю победу, — пал на постель и разрыдался.

«Это все нервы, все нервы», — сказал доктор, как по волшебству смягчаясь.

Жеран улыбнулся и вышел, нежно прикрыв за собой дверь. Доктор налил мне воды, предлагал бром, гладил меня по плечу, — а я рыдал и, сознавая отлично, даже холодно и с усмешкой сознавая, постыдность моего положения, но вместе с тем чувствуя в нем всю прелесть надрывчика и какую-то смутную выгоду, продолжал трястись, вытирая щеки большим, грязным, пахнувшим говядиной платком доктора, который, поглаживая меня, бормотал:

«Какое недоразумение! Я, который всегда говорю, что довольно войны... У вас есть свои недостатки, и у нас есть свои. Политику нужно забыть. Вы вообще просто не поняли, о чем шла речь. Я просто спрашивал ваше мнение об одном убийстве».

«О каком убийстве?» — спросил я всхлипывая.

«Ах, грязное дело, — переодел и убил, — но успокойтесь, друг мой, — не в одной Германии убийцы, у нас есть свои Ландрю, слава Богу, так что вы не единственный. Успокойтесь, все это нервы, здешняя вода отлично действует на нервы, вернее на желудок, что сводится к тому же».

Он поговорил еще немного и встал. Я отдал ему платок.

«Знаете что? — сказал он, уже стоя в дверях. — А ведь маленькая графиня к вам равнодушна. Вы бы сыграли сегодня вечером что-нибудь на рояле (он произвел пальцами трель), уверяю вас, вы бы имели ее у себя в постели».

Он был уже в коридоре, но вдруг передумал и вернулся.

«В молодые безумные годы, — сказал он, — мы, студенты, однажды кутили, особенно надрызгался самый безбожный из нас, и когда он совсем был готов, мы нарядили его в рясу, выбрали круглую плешь, и вот поздно ночью стучимся в женский монастырь, отпирает монахиня, и один из нас говорит: «Ах, сестра моя, поглядите, в какое грустное состояние привел себя этот бедный аббат, возьмите его, пускай он у вас выпится». И представьте себе, — они его взяли. Как мы смеялись!» — Доктор слегка присел и хлопнул себя по ляжкам. Мне вдруг показалось — а не говорит ли он об этом (переодели... сошел за другого...) с известным умыслом, не подослан ли он, и меня опять обуяла злоба, но, посмотрев на его глупо сиявшие морщины, я сдержался, сделал вид, что смеюсь, он, очень довольный, помахал мне ручкой и наконец, наконец, оставил меня в покое.

Несмотря на карикатурное сходство с Раскольниковым... — Нет, не то. Отставить. Что было дальше? Да: я решил, что в первую голову следует добыть как можно больше газет. Я побежал вниз. На лестнице мне попался толстый аббат, который посмотрел на меня с сочувствием, — я понял по его маслянистой улыбке, что доктор успел всем рассказать о нашем примирении. На дворе меня сразу оглушил ветер, но я не сдался, нетерпеливо прилип к воротам, и вот показался автобус, я замахал и влез, мы покатили по шоссе, где с ума сходила белая пыль. В городе я достал несколько номеров немецких газет и заодно справлялся на почтамте, нет ли письма. Письма не оказалось, но зато в газетах было очень много, слишком много... Теперь, после недели всепоглощающей литературной работы, я исцелился и чувствую только презрение, но тогда холодный издевательский тон газет доводил меня почти до обморока. В конце концов картина получается такая: в воскресенье, десятого марта, в полдень, парикмахер из Кенигсдорфа нашел в лесу мертвое тело; отчего он оказался в этом лесу, где и летом никто не бывал, и отчего он только вечером сообщил о своей

находке, осталось неясным. Далее следует тот замечательно смешной анекдот, который я уже приводил: автомобиль, умышленно оставленный мной возле опушки, исчез. По следам в виде повторяющейся буквы «т» полиция установила марку шин, какие-то кенигсдорфцы, наделенные феноменальной памятью, вспомнили, как проехал синий двухместный кабриолет «Икар» на тангентных колесах с большими втулками, а любезные молодцы из гаража на моей улице дали все дополнительные сведения, — число сил и цилиндров, и не только полицейский номер, а даже фабричные номера мотора и шасси. Все думают, что я вот сейчас на этой машине где-то катаюсь, — это упоительно смешно. Для меня же очевидно, что автомобиль мой кто-то увидел с шоссе и, не долго думая, присвоил, а труп-то не приметил, — спешил. Напротив — парикмахер, труп нашедший, утверждает, что никакого автомобиля не видал. Он подозрителен, полиции бы, казалось, тут-то его и зацапать, — ведь и не таким рубили головы, — но как бы не так, его и не думают считать возможным убийцей, — вину свалили на меня сразу, безоговорочно, с холодной и грубой поспешностью, словно были рады меня уличить, словно мстили мне, словно я был давно виноват перед ними, и давно жаждали они меня покарать. Едва ли не загодя решив, что найденный труп не я, никакого сходства со мной не заметив, вернее исключив априори возможность сходства (ибо человек не видит того, что не хочет видеть), полиция с блестящей последовательностью удивилась тому, что я думал обмануть мир, просто одев в свое платье человека, ничуть на меня не похожего. Глупость и явная пристрастность этого рассуждения уморительны. Основываясь на нем, они усомнились в моих умственных способностях. Было даже предположение, что я ненормальный, это подтвердили некоторые лица, знавшие меня, между прочим болван Орловиус (кто еще, — интересно), рассказавший, что я сам себе писал письма (вот это неожиданно!). Что, однако, совершенно озадачило полицию, это то, каким

образом моя жертва (слово «жертва» особенно смаковалось газетами) очутилась в моих одеждах, или точнее, как удалось мне заставить живого человека надеть не только мой костюм, но даже носки и слишком тесные для него полуботинки (обуть-то его я мог и постфактум, умники!). Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который, при одном виде книги неприятного ему писателя, решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они с жадностью накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка. Была упомянута грубость рук, выискали даже какую-то многозначительную мозоль, но отметили все же аккуратность ногтей на всех четырех конечностях, причем кто-то, чуть ли не парикмахер, нашедший труп, обратил внимание сыщиков на то, что в силу некоторых обстоятельств, ясных профессионалу (подумаешь!), ногти подрезал не сам человек, а другой.

Я никак не могу выяснить, как держалась Лида, когда вызвали ее. Так как, повторяю, ни у кого не было сомнения, что убитый не я, ее, наверное, заподозрили в сообщничестве, — сама виновата, могла понять, что страховые денежки тютю, и нечего соваться с вдовьими слезами. В конце концов она, вероятно, не удержится и, веря в мою невинность и желая спасти меня, разболтает о трагедии моего брата, что будет, впрочем, совершенно зря, так как без особого труда можно установить, что никакого брата у меня никогда не было, — а что касается самоубийства, то вряд ли фантазия полиции осилит пресловутую веревочку.

Для меня, в смысле моей безопасности, важно следующее: убитый не опознан и не может быть опознан. Меж тем я живу под его именем, кое-где следы этого имени уже оставил, так что найти меня можно было бы в два счета, если бы выяснилось, кого я, как говорится,

угробил. Но выяснить это нельзя, что весьма для меня выгодно, так как я слишком устал, чтобы принимать новые меры. Да и как я могу отрешиться от имени, которое с таким искусством присвоил? Ведь я же похож на мое имя, господи, и оно подходит мне так же, как подходило ему. Нужно быть дураком, чтобы этого не понимать.

А вот автомобиль рано или поздно найдут, но это им не поможет, ибо я и хотел, чтобы его нашли. Как это смешно! Они думают, что я услужливо сижу за рулем, а на самом деле они найдут самого простого и очень напуганного вора.

Я не упоминаю здесь ни о чудовищных эпитетах, которыми досужие борзописцы, поставщики сенсаций, негодяи, строящие свои балаганы на крови, считают нужным меня награждать, ни о глубокомысленных рассуждениях психоаналитического характера, до которых охочи фельетонисты. Вся эта мерзость и грязь сначала бесили меня, особенно уподобления каким-то олухам с вампирными наклонностями, проступки которых в свое время поднимали тираж газет. Был например, такой, который сжег свой автомобиль с чужим трупом, мудро отрезав ему ступни, так как он оказался не по мерке владельца. Да, впрочем, черт с ними! Ничего общего между нами нет. Бесило меня и то, что печатали мою паспортную фотографию, на которой я действительно похож на преступника, такая уж злостная ретушовка, а совершенно непохож на себя самого. Право, могли взять другую, например, ту, где гляжу в книгу, дорогой нежно-шоколадный снимок; тот же фотограф снял меня и в другой позе, гляжу исподлобья, серьезные глаза, палец у виска, — так снимаются немецкие беллетристы. Вообще, выбор большой. Есть и любительские снимки: одна фоточка очень удачная, в купальном костюме на участке Ардалиона. Кстати, кстати, чуть не забыл: полиция, тщательно производя розыски, осматривая каждый куст и даже роясь в земле, ничего не нашла, кроме одной замечательной штучки, а именно: бутылки с самодельной

водкой. Водка пролежала там с июня, — я кажется описал, как Лида спрятала ее... Жалею, что я не запрятал где-нибудь и балалайку, чтобы доставить им удовольствие вообразить славянское убийство под чокание рюмочек и пение «Пожалей же меня, дорогая...»

Но довольно, довольно... Вся эта гнусная путаница и чепуха происходит оттого, что по косности своей и тупости и предвзятости люди не узнали меня в трупe безупречного моего двойника. Принимаю с горечью и презрением самый факт непризнания (чье мастерство им не было омрачено?) и продолжаю верить в безупречность. Обвинять себя мне не в чем. Ошибки — мнимые — мне навязали задним числом, голословно решив, что самая концепция моя неправильна, и уже тогда найдя пустяшные недочеты, о которых я сам отлично знаю, и которые никакого значения не имеют при свете творческой удачи. Я утверждаю, что все было задумано и выполнено с предельным искусством, что совершенство всего дела было в некотором смысле неизбежно, слагалось как бы помимо моей воли, интуитивно, вдохновенно. И вот, для того, чтобы добиться признания, оправдать и спасти мое детище, пояснить миру всю глубину моего творения, я и затеял писание сего труда.

Ибо, измыв и отбросив последнюю газету, все высосав, все узнав, сжигаемый неотвязным зудом, изощреннейшим желанием тотчас же принять какие-то мне одному понятные меры, я сел за стол и начал писать. Если бы не абсолютная вера в свои литературные силы, в чудный дар... Сперва шло трудно, в гору, я останавливался и затем снова писал. Мой труд, мощно изнуряя меня, давал мне отраду. Это мучительное средство, жестокое средневековое промывание, но оно действует.

С тех пор как я начал, прошла неделя, и вот труд мой подходит к концу. Я спокоен. В гостинице со мной все любезны и предупредительны. Ем я теперь не за табльдотом, а за маленьким столом у окна. Доктор одобрил мой уход и всем объясняет чуть ли не в моем присутствии, что нервному человеку нужен покой и что музыканты вообще нервные люди. Во время обеда он

часто ко мне обращается со своего места, рекомендуя какое-нибудь кушание или шутливо спрашивая меня, не присоединюсь ли сегодня в виде исключения к общей трапезе, и тогда все смотрят на меня с большим добродушием.

Но как я устал, как я смертельно устал... Бывали дни, — третьего дня, например, — когда я писал с двумя небольшими перерывами девятнадцать часов подряд, а потом, вы думаете, я заснул? Нет, я заснуть не мог, и все мое тело тянулось и ломалось, как на дыбе. Но теперь, когда я кончаю, когда мне, в общем, нечего больше рассказать, мне так жалко с этой исписанной бумагой расстаться, — а расстаться нужно, перечесть, исправить, запечатать в конверт и отважно отослать, — а самому двинуться дальше, в Африку, в Азию, все равно куда, но как мне не хочется двигаться, как я жажду покоя... Ведь в самом деле: пускай читатель представит себе положение человека, живущего под таким-то именем не потому, что другого паспорта...

## Глава XI

30 марта 1931 г.

Я на новом месте: приключилась беда. Думал, что будет всего десять глав, — ан нет! Теперь вспоминаю, как уверенно, как спокойно, несмотря ни на что, я дописывал десятую, — и не дописал: горничная пришла убирать номер, я от нечего делать вышел в сад, — и меня обдало чем-то тихим, райским. Я даже сначала не понял, в чем дело, — но встряхнулся, и вдруг меня осенило: ураганный ветер, дувший все эти дни, прекратился.

Воздух был дивный, летал шелковистый ивовый пух, вечнозеленая листва прикидывалась обновленной, отливали смуглой краснотой обнаженные наполовину, атлетические торсы пробковых дубов. Я пошел вдоль шоссе, мимо покатых бурых виноградников, где правильными рядами стояли голые еще лозы, похожие на

приземистые корявые кресты, а потом сел на траву и, глядя через виноградники на золотую от цветущих кустов макушку холма, стоящего по пояс в густой дубовой листве, и на глубокое-глубокое, голубое-голубое небо, подумал с млеющей нежностью (ибо, может быть, главная, хоть и тайная, черта моей души — нежность), что начинается новая простая жизнь, тяжелые творческие сны миновали... Вдали, со стороны гостиницы, показался автобус, и я решил в последний раз позабавиться чтением берлинских газет. В автобусе я сперва притворялся спящим (и даже улыбался во сне), заметя среди пассажиров представителя ветчины, но вскоре заснул по-настоящему.

Добыв в Иксе газету, я раскрыл ее только по возвращении домой и начал читать, благодушно посмеиваясь. И вдруг расхохотался вовсю: автомобиль мой был найден.

Его исчезновение объяснилось так: трое молодцов, шедших десятого марта утром по шоссе, — безработный монтер, знакомый нам уже парикмахер и брат парикмахера, юноша без определенных занятий, — завидели на дальней опушке леса блеск радиатора и тотчас подошли. Парикмахер, человек положительный, чтивший закон, сказал, что надобно дожждаться владельца, а если такового не окажется, отвести машину в Кенигсдорф, но его брат и монтер, оба озорники, предложили другое. Парикмахер возразил, что этого не допустит, и углубился в лес, посматривая по сторонам. Вскоре он нашел труп. Он поспешил обратно к опушке, зовя товарищей, но с ужасом увидел, что ни их, ни машины нет: умчались. Некоторое время он валандался кругом да около, дожидаясь их. Они не вернулись. Вечером он наконец решился рассказать полиции о своей находке, но из братолюбия скрыл историю с машиной.

Теперь же оказывалось, что те двое, сломав машину, спрятали ее, сами притаились было, но погода благо-разумно объявились. «В автомобиле, — добавляла

газета, — найден предмет, устанавливающий личность убитого».

Сперва я по ошибке прочел «убийцы» и еще пуще развеселился, ибо ведь с самого начала было известно, что автомобиль принадлежит мне, — но перечел и задумался. Эта фраза раздражала меня. В ней была какая-то глупая таинственность. Конечно, я сразу сказал себе, что это либо новая уловка, либо нашли что-нибудь такое же важное, как пресловутая водка. Но все-таки мне стало неприятно, — и некоторое время я даже перебирал в памяти все предметы, участвовавшие в деле (вспомнил и тряпку и гнусную голубую гребенку), и так как я действовал тогда отчетливо, уверенно, то без труда все проследил, и нашел в порядке. Квод эрат демонстрандум.

Но покою у меня не было. Надо было дописать последнюю главу, а вместо того, чтобы писать, я опять вышел, бродил до позднего времени и, придя восвояси, утомленный до последней степени, тотчас заснул, не смотря на смутное мое беспокойство. Мне приснилось, что после долгих, не показанных во сне, подразумеваемых розысков, я нашел наконец скрывавшуюся от меня Лиду, которая спокойно сказала мне, что все хорошо, наследство она получила и выходит замуж за другого, ибо меня нет, я мертв. Проснулся я в сильнейшем гневе, с безумно бьющимся сердцем, — одурачен! бессилен! — не может ведь мертвец обратиться в суд, — да, бессилен, и она знает это! Очухавшись, я рассмеялся, — приснится же такая чепуха, — но вдруг почувствовал, что и в самом деле есть что-то чрезвычайно неприятное, что смехом стряхнуть нельзя, — и не в сне дело, а в загадочности вчерашнего известия: обнаружен предмет... Если действительно удалось подыскать убитому имя, и если имя это правильное — тут было слишком много «если», — я вспомнил, как вчера тщательно проверил плавные, планетные пути всех предметов, — мог бы начертить пунктиром их орбиты, — а все-таки не успокоился.

Ища способа отвлечься от расплывчатых, невыносимых предчувствий, я собрал страницы моей рукописи, взвесил пачку на ладони, игриво сказал «ого!» и решил, что прежде чем дописать последние строки, все перечесть сначала. Я подумал внезапно, что предстоит мне огромное удовольствие. В ночной рубашке, стоя у стола, я любовно утряхивал в руках шуршащую толщу исписанных страниц. Затем лег опять в постель, закурил папиросу, удобно устроил подушку под лопатками, — заметил, что рукопись оставил на столе, хотя казалось мне, что все время держу ее в руках; спокойно, не выругавшись, встал и взял ее с собой в постель, опять устроил подушку, посмотрел на дверь, спросил себя, заперта ли она на ключ или нет, — мне не хотелось прерывать чтение, чтобы впускать горничную, когда в девять часов она принесет кофе; встал еще раз — и опять спокойно, — дверь оказалась отпертой, так что можно было и не вставать; кашлянул, лег, удобно устроился, уже хотел приступить к чтению, но тут оказалось, что у меня потухла папираса, — не в пример немецким, французские требуют к себе внимания; куда делись спички? Только что были у меня. Я встал в третий раз, уже с легкой дрожью в руках, нашел спички за чернильницей, а вернувшись в постель, раздавил бедром другой, полный, коробок, спрятавшийся в простынях, — значит опять вставал зря. Тут я вспылил, поднял с пола рассыпавшиеся страницы рукописи, и приятное предвкушение, только что наполнившее меня, сменилось страданием, ужасным чувством, что кто-то хитрый обещает мне раскрыть еще и еще промахи, и только промахи. Все же, заново закулив и оглушив ударом кулака строптивую подушку, я обратился к рукописи. Меня поразило, что сверху не выставлено никакого заглавия, — мне казалось, что я какое-то заглавие в свое время придумал, что-то, начинавшееся на «Записки...», — но чьи записки — не помнил, — и вообще «Записки» ужасно банально и скучно. Как же назвать? «Двойник»? Но это уже имеется. «Зеркало»? «Портрет автора в зеркале»? Же-

манно, приторно... «Сходство»? «Непризнанное сходство»? «Оправдание сходства»? — Суховато, с уклоном в философию... Может быть: «Ответ критикам»? или «Поэт и чернь»? Это не так плохо — надо подумать. Сперва перечтем, сказал я вслух, а потом придумаем заглавие.

Я стал читать, — и вскоре уже не знал, читаю ли или вспоминаю, — даже более того — преображенная память моя дышала двойной порцией кислорода, в комнате было еще светлее оттого, что вымыли стекла, прошлое мое было живее оттого, что было дважды озарено искусством. Снова я взбирался на холм под Прагой, слышал жаворонка, видел круглый, красный газоем; снова в невероятном волнении стоял над спящим бродягой, и снова он потягивался и зевал, и снова из его петлицы висела головкой вниз вялая фиалка. Я читал дальше, и появлялась моя розовая жена, Ардалион, Орловиус, — и все они были живы, но в каком-то смысле жизнь их я держал в своих руках. Снова я видел желтый столб и ходил по лесу, уже обдумывая свою фабулу; снова в осенний день мы смотрели с женой, как падает лист навстречу своему отражению, — и вот я и сам плавно упал в саксонский городок, полный странных повторений, и навстречу мне плавно поднялся двойник. И снова я обволакивал его, овладевал им, и он от меня ускользал, и я делал вид, что отказываюсь от замысла, и с неожиданной силой фабула разгоралась опять, требуя от своего творца продолжения и окончания. И снова, в мартовский день, я сонно ехал по шоссе, и там, в кустах, у столба, он меня уже дожидался:

«...Садись, скорее, нам нужно отъехать отсюда».

«Куда?» — любопытствовал он.

«Вон в тот лес».

«Туда?» — спросил он и указал...

Палкой, читатель, палкой. Палкой, дорогой читатель, палкой. Самодельной палкой с выжженным на ней именем: Феликс такой-то из Цвикау. Палкой указал, дорогой и почтенный читатель, — палкой, — ты

знаешь, что такое «палка»? Ну вот — палкой, — указал ею, сел в автомобиль и потом палку в нем и оставил, когда вылез: ведь автомобиль временно принадлежал ему, я отметил это «спокойное удовлетворение собственника». Вот какая вещь — художественная память! Почтище всякой другой. «Туда?» — спросил он и указал палкой. Никогда в жизни я не был так удивлен...

Я сидел в постели, выпученными глазами глядя на страницу, на мною же — нет, не мной, а диковинной моей союзницей, — написанную фразу, и уже понимал, как это непоправимо. Ах, совсем не то, что нашли палку в автомобиле и теперь знают имя, и уже неизбежно это общее наше имя приведет к моей поимке, — ах, совсем не это пронзало меня, — а сознание, что все мое произведение, так тщательно продуманное, так тщательно выполненное, теперь в самом себе, в сущности своей, уничтожено, обращено в труху, допущенною мною ошибкой. Слушайте, слушайте! Ведь даже если бы его труп сошел за мой, все равно обнаружили бы палку и затем поймали бы меня, думая, что берут его, — вот что самое позорное! Ведь все было построено именно на невозможности промаха, а теперь оказывается, промах был, да еще какой, — самый пошлый, смешной и грубый. Слушайте, слушайте! Я стоял над прахом дивного своего произведения, и мерзкий голос вопил в ухо, что меня не признавшая чернь может быть и права... Да, я усомнился во всем, усомнился в главном, — и понял, что весь небольшой остаток жизни будет посвящен одной лишь бесплодной борьбе с этим сомнением, и я улыбнулся улыбкой смертника и тупым, кричащим от боли карандашом быстро и твердо написал на первой странице слово «Отчаяние» — лучшего заглавия не сыскать.

Мне принесли кофе, я выпил его, но оставил гренки. Затем я наскоро оделся, уложился и сам снес вниз чемодан. Доктор, к счастью, не видел меня. Зато жеран удивился внезапности моего отъезда и очень дорого взял за номер, но мне было это уже все равно. Я уезжал просто потому, что так принято в моем положении.

Я следовал некой традиции. При этом я предполагал, что французская полиция уже напала на мой след.

По дороге в город я из автобуса увидел двух ажанов в быстром, словно мукой обсыпанном автомобиле, — мы скрестились, они оставили облако пыли, — но мчались ли они именно затем, чтобы меня арестовать, не знаю, — да и может быть это вовсе не были ажаны, — не знаю, — они мелькнули слишком быстро. В городе я зашел на почтамт, так, на всякий случай, — и теперь жалею, что зашел, — я бы вполне обошелся без письма, которое мне там выдали. В тот же день я выбрал наудачу пейзаж в щегольской брошюрке и поздно вечером прибыл сюда, в горную деревню. А насчет полученного письма... Нет, пожалуй, я все-таки его приведу, как пример человеческой низости.

«Вот что. Пишу Вам, господин хороший, по трем причинам: 1) Она просила, 2) Собираюсь непременно Вам сказать, что я о Вас думаю, 3) Искренне хочу посоветовать Вам отдаться в руки правосудия, чтобы разъяснить кровавую путаницу и гнусную тайну, от которой больше всего, конечно, страдает она, терроризированная, невиноватая. Предупреждаю Вас, что я с большим сомнением отношусь к мрачной достоевщине, которую Вы изволили ей рассказать. Думаю, мягко говоря, что это вранье. Подлое при этом вранье, так как Вы играли на ее чувствах.

Она просила написать, думая, что Вы еще ничего не знаете, совсем растерялась и говорит, что Вы рассердитесь, если Вам написать. Желал бы я посмотреть, как Вы будете сердиться: это должно быть зверски занятно.

Стало быть, так. Но мало убить человека и одеть в подходящее платье. Нужна еще одна деталь, а именно сходство, но схожих людей нет на свете и не может быть, как бы Вы их ни наряжали. Впрочем, до таких тонкостей не дошло, да и началось-то с того, что добрая душа честно ее предупредила: нашли труп с документами Вашего мужа, но это не он. А страшно вот что: наученная подлецом, она, бедняжка, еще прежде —

понимаете ли Вы? — еще прежде, чем ей показали тело, утверждала вопреки всему, что это именно ее муж. Я просто не понимаю, каким образом Вы сумели вселить в нее, в женщину совсем чуждую Вам, такой священный ужас. Для этого надо быть действительно незаурядным чудовищем. Бог знает, что ей еще придется испытать. Нет, — Вы обязаны снять с нее тень сообщничества. Дело же само по себе ясно всем. Эти шуточки, господин хороший, со страховыми обществами давным-давно известны. Я бы даже сказал, что это халтура, банальщина, давно набившая оскомину.

Теперь — что я думаю о Вас. Первое известие мне попало в городе, где я застрял. До Италии не доехал и слава Богу. И вот, прочтя это известие, я знаете что? не удивился! Я всегда ведь знал, что Вы грубое и злое животное, и не скрыл от следователя всего, что сам видел. Особенно, что касается Вашего с ней обращения, этого Вашего высокомерного презрения, и вечных насмешек, и мелочной жестокости, и всех угнетавшего холода. Вы очень похожи на большого страшного кабана с гнилыми клыками, напрасно не нарядили такого в свой костюм. И еще в одном должен признаться Вам: я, слабовольный, я, пьяный, я, ради искусства готовый продать свою честь, я Вам говорю: мне стыдно, что я от Вас принимал подачки, и этот стыд я готов обнародовать, кричать о нем на улице, только бы отделаться от него.

Вот что, кабан! Такое положение длиться не может. Я желаю Вашей гибели не потому, что Вы убийца, а потому, что Вы подлеший подлец, воспользовавшийся наивностью доверчивой молодой женщины, и так истерзанной и оглушенной десятилетним адом жизни с Вами. Но если в Вас еще не все померкло: объявитесь!»

Следовало бы оставить это письмо без комментариев. Беспристрастный читатель предыдущих глав видел, с каким добродушием и доброхотством я относился к Ардалиону, а вот как он мне отплатил. Но все равно, все равно... Я хочу думать, что писал он эту мерзость в пьяном виде, уж слишком все это безобразно, бьет

мимо цели, полно клеветнических утверждений, абсурдность которых тот же внимательный читатель поймет без труда. Назвать веселую, пустую, недалекую мою Лиду запуганной или как там еще — истерзанной, — намекать на какой-то раздор между нами, доходящий чуть ли не до мордобоя, это уже извините, это уже я не знаю, какими словами охарактеризовать. Нет этих слов. Корреспондент мой все их уже использовал, в другом, правда, применении. Я, перед тем полагавший, что уже перевалил за последнюю черту возможных страданий, обид, недоумений, пришел в такое состояние, перечитывая это письмо, меня такая одолела дрожь, что все кругом затряслось, — стол, стакан на столе, даже мышеловка в углу новой моей комнаты.

Но вдруг я хлопнул себя по лбу и расхохотался. Как это было просто! Как просто разгадывалось таинственное неистовство этого письма. Это — неистовство собственника: Ардалион не может мне простить, что я шифром взял его имя, и что убийство произошло как раз на его участке земли. Он ошибается, все давно обанкротились, неизвестно кому принадлежит эта земля, и вообще — довольно, довольно о шуте Ардалионе! Последний мазок на его портрет наложен, последним движением кисти я наискось в углу подписал его. Он получше будет той подкрашенной дохлятины, которую этот шут сотворил из моей физиономии. Баста! Он хорош, господа.

Но все-таки, как он смеет... Ах, к черту, к черту, все к черту!

31 марта, ночью.

Увы, моя повесть вырождается в дневник. Но ничего не поделаешь: я уже не могу обойтись без писания. Дневник, правда, самая низкая форма литературы. Знатоки оценят это прелестное, будто бы многозначительное «ночью», — ах ты — «ночью», смотри какой, писал ночью, не спал, какой интересный и томный! Но все-таки я пишу это ночью.

Деревня, где я скучаю, лежит в люльке долины, среди высоких и тесных гор. Я снял большую, похожую на сарай, комнату в доме у смуглой старухи, держащей внизу бакалейную. В деревне одна всего улица. Я бы долго мог описывать местные красоты, — облака, например, которые проползают через дом из окна в окно, — но описывать все это чрезвычайно скучно. Меня забавляет, что я здесь единственный турист, да еще иностранец, а так как успели как-то разнюхать (впрочем, я сам сказал хозяйке), что я из Германии, то возбуждаю большое любопытство. Мне бы скрываться, а я лезу на самое, так сказать, видное место, трудно было лучше выбрать. Но я устал: чем скорее все это кончится, тем лучше.

Сегодня, кстати, познакомился я с местным жандармом, — совершенно опереточный персонаж! Это довольно пухлый розовый мужчина, ноги хером, фатоватые черные усики. Я сидел на конце улицы на скамейке, и кругом поселяне занимались своим делом, т. е. притворялись, что занимаются своим делом, а в сущности с неистовым любопытством в каких бы позах они ни находились, из-за плеча, из-под мышки, из-под колена следили за мной, — я это отлично видел. Жандарм нерешительно подошел ко мне, заговорил о дожде, потом о политике. Он кое-чем напомнил мне покойного Феликса, — солидным тоном, мудростью самоучки. Я спросил, когда тут последний раз арестовали кого-нибудь. Он подумал и ответил, что это было шесть лет тому назад — задержали испанца, который с кем-то повздорил не без мокрых последствий и скрылся в горах. Далее он счел нужным сообщить мне, что в горах есть медведи, которых искусственно там поселили для борьбы с волками, — что показалось мне очень смешным. Но он не смеялся, он стоял, меланхолично покручивая левый ус правой рукой и рассуждал о современном образовании: «Вот, например, я, — говорил он, — я знаю географию, арифметику, военное дело,

пишу красивым почерком...» Я спросил: «А на скрипке играете?» Он грустно покачал головой.

Сейчас, дрожа в студеной комнате, проклиная лающих собак, ожидая, что в углу с треском хлопнет мышеловка, отхватив мыши голову, машинально попивая вербеновую настойку, которую хозяйка, считая, что у меня хворый вид и боясь, вероятно, что умру до суда, вздумала мне принести, я сижу, и вот пишу на этой клетчатой школьной бумаге, другой было здесь не найти, — и задумываюсь, и опять посматриваю на мышеловку. Зеркала, слава Богу, в комнате нет, как нет и Бога, которого славлю. Все темно, все страшно, и нет особых причин медлить мне в этом темном, зря выдуманном мире. Убить себя я не хочу, это было бы неэкономно, — почти в каждой стране есть лицо, оплачиваемое государством, для исполнения смертной услуги. И затем — раковинный гул вечного небытия. А самое замечательное, что все это может еще продлиться, — т. е. не убьют, а сошлют на каторгу, и еще может случиться, что через пять лет подойду под какую-нибудь амнистию и вернусь в Берлин, и буду опять торговать шоколадом. Не знаю, почему, — но это страшно смешно.

Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что это обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это — обезьяна нового вида, говорящая, голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить их, и никто тебя не тронет, — так как все делалось постепенно, неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо.

Лают собаки. Холодно. Какая смертельная, невылазная мука. Указал палкой. Палка, — какие слова можно выжать из палки? Пал, лак, кал, лапка. Ужасно холодно. Лают — одна начнет, и тогда подхватывают все. Идет дождь. Электричество хилое, желтое. Чего я, собственно говоря, натворил?

1-го апреля.

Опасность обращения моей повести в худосочный дневник к счастью рассеяна. Вот сейчас заходил мой опереточный жандарм, деловитый, при сабле, и не глядя мне в глаза, учтиво попросил мои бумаги. Я ответил, что все равно намерен на днях прописаться, а что сейчас не хочу вылезать из постели. Он настаивал — был вежлив, извинялся, но настаивал. Я вылез и дал ему паспорт. Уходя, он в дверях обернулся и все тем же вежливым голосом попросил меня сидеть дома. Скажите, пожалуйста!

Я подкрался к окну и осторожно отвел занавеску. На улице стоят зеваки, человек сто; и смотрят на мое окно. В толпе пробирается мой жандарм, его о чем-то рьяно спрашивает господин в котелке набекрень, любопытные их затеснили. Лучше не видеть.

Может быть, все это — лжебытие, дурной сон, и я сейчас проснусь где-нибудь — на травке под Прагой. Хорошо по крайней мере, что затравили так скоро.

Я опять отвел занавеску. Стоят и смотрят. Их сотни, тысячи, миллионы. Но полное молчание, только слышно, как дышат. Отворить окно, пожалуй, и произнести небольшую речь.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### КАМЕРА ОБСКУРА

Впервые — «Современные записки», Париж, 1932—1933, №№ 49—52. Отд. изд. — Париж: Современ. записки, 1932; Берлин: Парабола-Петрополис, 1933; Анн Арбор: Ардис, 1978. Печатается по этому изданию.

С. 7. ...размножилось по всему свету милое, забавное существо... — «Прототипом» морской свинки Чипи послужил, вероятно, знаменитый мышонок Мики Маус, начавший, с легкой руки американцев У. Диснея и А. Айверкса, свой триумфальный путь в 1928 году.

С. 8. ...с этикеткой: *Cavia sobaja*... — морская свинка (лат.). Меланизм — биологический термин для обозначения черной или темно-коричневой окраски наружных покровов животного.

С. 9. ...портрет ...Дорианны Карениной... — контаминация названия романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890) и имени толстовской героини Анны Карениной.

С. 10. Аннелиза. — Жену, которой изменял герой повести Л. Толстого «Дьявол» (1889), в девичестве звали Лиза Анненская.

С. 15. ...одетая в тютю... — Тютя — курица, вообще дворовая птица; здесь — пародируется исполнение свинкой Чипи балета «Лебединое озеро».

С. 17. ...к бюргерскому республиканству отца... — Действие романа происходит в Веймарской республике, установленной в Германии в результате буржуазно-демократической революции 1918 года.

С. 18. ...глаза, как у Файты... — По-видимому, речь идет о А.А. Файте (1903—1976), русском советском острохарактерном актере; снимался в кино с 1922 года, с особым успехом играя отрицательных персонажей.

С. 21. Господин Мюллер. — Müller (нем.) — мельник. См. с. 30 «Магда с раздражением подумала: «Везет мне на мельников».

С. 22. ...о... певце, который в «Лоэнгрине» не успел сесть на лебедя... — В романтической опере Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1850) лебедь привозит в ладье на сцену рыцаря Лоэнгрина. Имеется в виду известный театральный анекдот о Леониде Собинове.

С. 27. Грета Гарбо — известная американская актриса (р. 1905), успех которой принес фильм «Похоть и дьявол» (1927).

С. 30. Шиффермюллер. — От нем. Schiffer — лодочник и Müller — мельник (см. коммент. к с. 91).



## ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

Впервые — «Современные записки», Париж, 1935, 1936, №№ 58, 59, 60. Отд. изд. — Париж, 1938. Воспроизведено репринтным способом — Анн Арбор, 1979. Печатается по этому изданию.

Стр. 169. *Delalande* — В предисловии к английскому изданию романа Набоков утверждал, что он выдумал Пьера Делалянда. «Прототипом» цитируемого автора мог послужить Андре Лаланд (1867—1963) — французский философ, считавший, что глубинный закон действительности — стремление к смерти.

*Цинциннат* Люций Квинций (V в. до н. э.) — политический деятель, образец республиканских добродетелей, в трудные для Рима периоды дважды избирался диктатором. Набоков имеет в виду его сына Цинцинната Кезона, славившегося красноречием, обвиненного плебеями в чрезмерной гордости. Был вынужден уйти в изгнание. Его отец уплатил за него столь большой штраф, что сам оказался нищим. Черты исторического Цинцинната обыгрываются в судьбе и характере набоковского героя. Красноречие оборачивается косноязычием и трудностями в письменной и устной речи. Знаменитый отец превращается в случайного, почти несуществующего и т. д.

Стр. 214. ...пахнет... *карбурином*... — Карбурин — пары углеродных соединений: бензина, нафталина и др.

Стр. 224. *Циццо* — крупный типографский шрифт.

Стр. 249. ...с коней — *изабелловой масти*... — Изабелловый (от франц. *isabelle*) — буланый, светло-коричневый.

Стр. 251. *Тит* — сподвижник апостола Павла, адресат его Послания.

*Пуд* — один из первых христиан, упоминается во Втором послании апостола Павла к Тимофею.

Стр. 260. *Полишинель* — французский Петрушка, персонаж кукольного театра.

Стр. 262. *Приап* — древнегреческий бог оплодотворения.

Стр. 280. ...*венецианской ярью вспыхнул ...холм*... — Венецианская ярь — сине-зеленая краска.

Стр. 282. ...*зеленое, с антимакассаром, кресло*... — Антимакассар — накидка на сиденье или спинку кресла.

Стр. 300. ...*о, как на склоне... и суеверней!* — Имеются в виду строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1854): «О, как на склоне наших лет // Нежней мы любим и суеверней...»

Стр. 302. *Ватерпруф* (англ. *waterproofer*) — непромокаемое пальто, плащ.

## ОТЧАЯНИЕ

Впервые — «Современные записки», Париж, 1930—1931, №№ 44—46. Отд. изд. — Берлин, 1936. Репринтное воспроизведение — Анн Арбор, 1978. Печатается по этому изданию.

Олег Дарк

# СОДЕРЖАНИЕ

КАМЕРА ОБСКУРА .....	7
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ .....	169
ОТЧАЯНИЕ .....	325
Примечания .....	477

ISBN 5-237-02776-8



*Литературно-художественное издание*

**Набоков Владимир Владимирович**

## **Приглашение на казнь**

**Р о м а н ы**

Главный редактор В.И. Галий  
Ответственный за выпуск В.В. Гладнева  
Художественный редактор О.Н. Адашкина  
Технический редактор Е.В. Триско  
Корректор М.В. Весновская

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.05.99. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,20.

Тираж 6000 экз. Заказ 1501.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-00-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры.

Гигиенический сертификат № 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98. от 01.09.98 г.

ООО «Фирма «Издательство АСТ». ЛР № 066236 от 22.12.98.  
366720, РФ, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 13а.  
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

«Фолио». 310002, Харьков, ул. Артема, 8.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.  
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика  
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».  
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.





امینہ  
صالحہ

